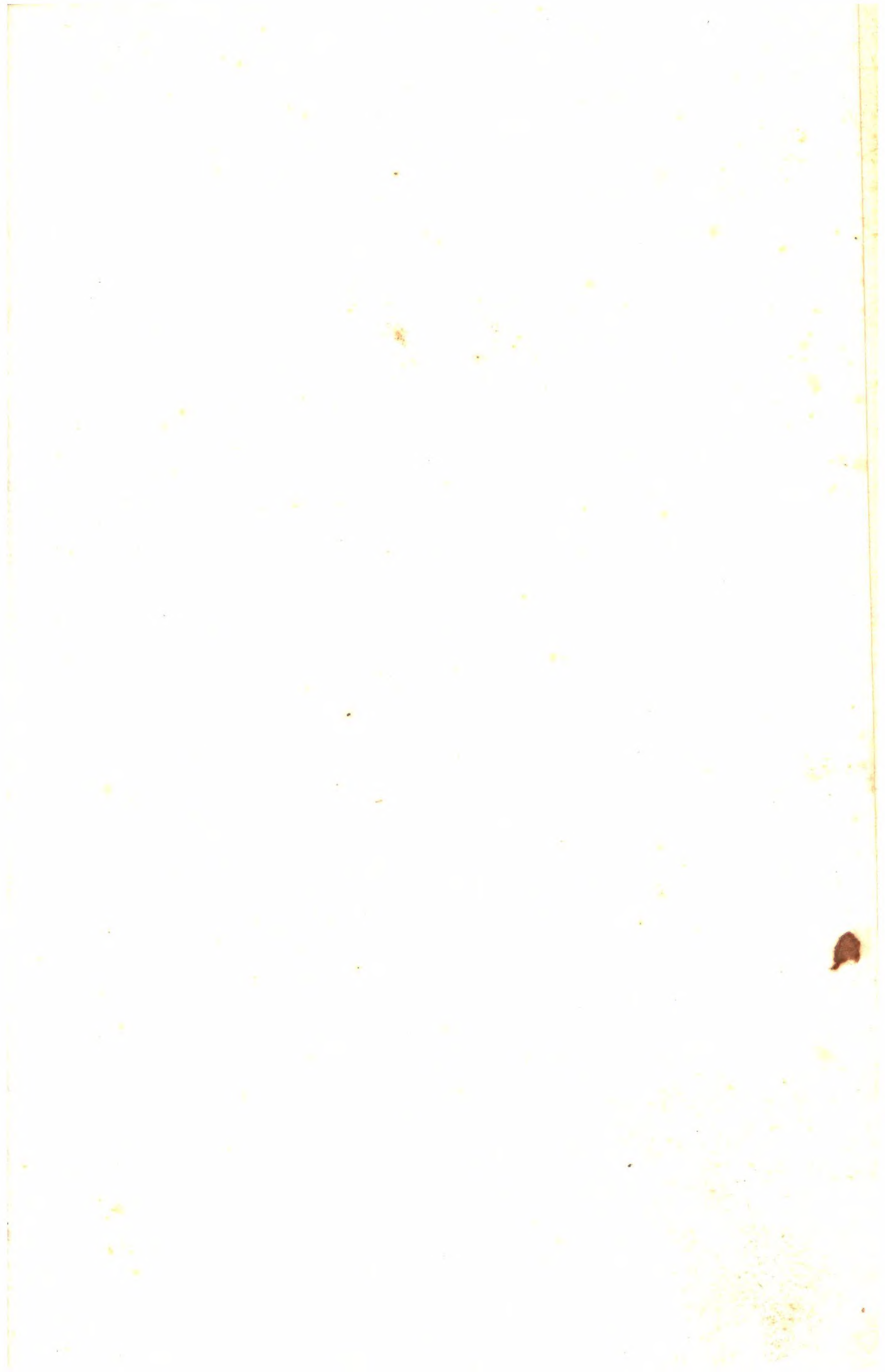
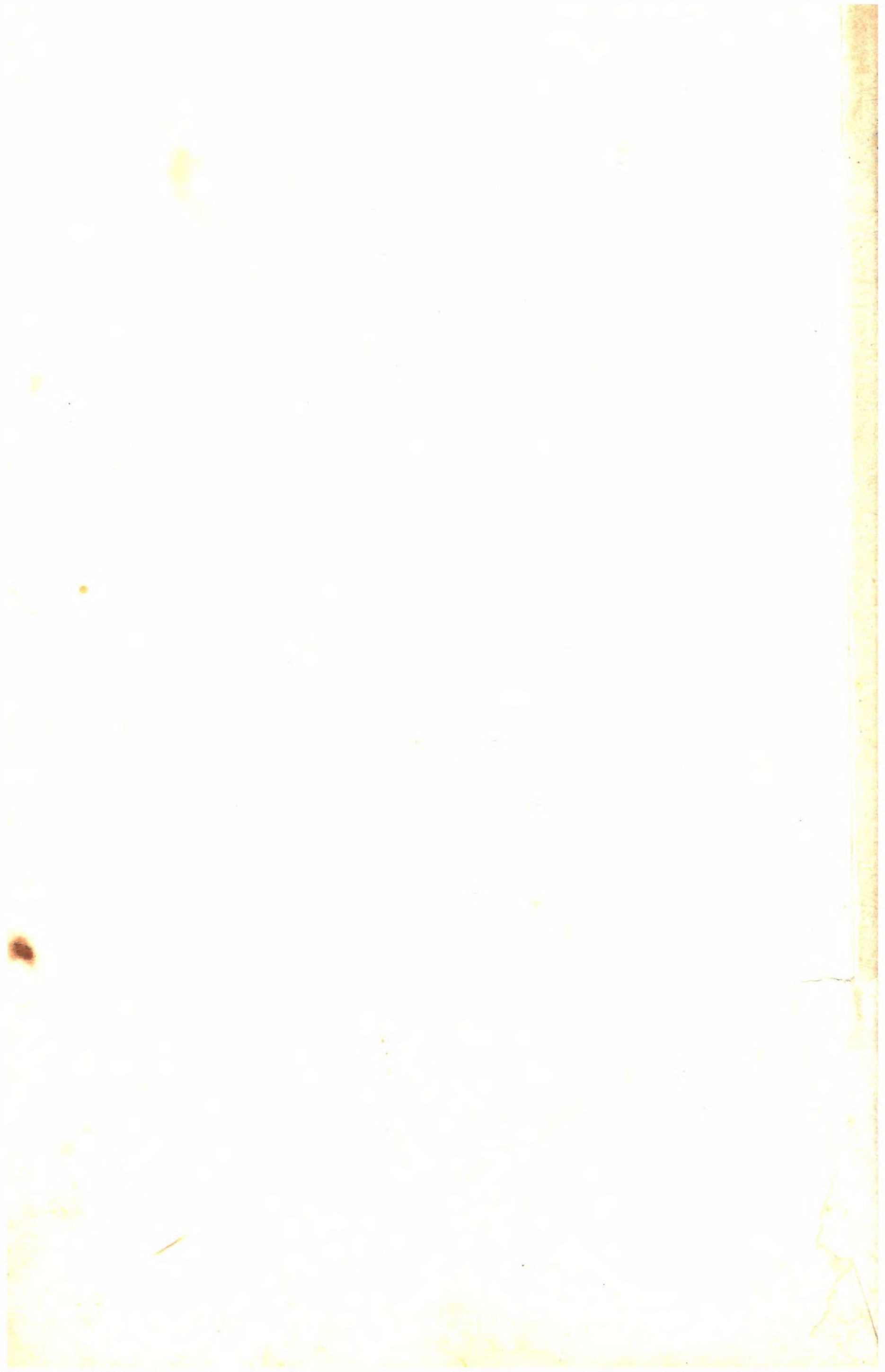
Л. ПОЛОНСКИЙ

ИМЕ-
НЕМ
РЕС-
ПУБ-
ЛИКИ

ГЯНДЖЛИК
1968

Книга
интересная
[illegible]ных Н.В
и Р.В.





Лев Полонский

Име-нем рес-пуб-лики

7—3—3
273—68М

Полонски Лев Адолфович

РЕСПУБЛИКА АДЫНДАН

Роман

Редактор *Светлана Ма...*
Художник *Ю...*



ГЛАВА I

Низкий, приземистый «Бенц» с выпученными, сверкающими на солнце фарами катил по набережной. Жались к тротуару тихоходные, с цветными узорами арбы, сторонились встречные казалаки, «у-у, шайтан», ругались подпоясанные кушаками извозчики. И только верблюды, монотонно позвякивая колокольчиками, шли, не сворачивая, своей дорогой. Бесстрастные, полные достоинства, они медленно, словно нехотя, жевали на ходу колючки, неся среди горбов пыльные связки веников.

— Полегче. Не на пожар едем, — проворчал пассажир. Это был технический директор «Азнефти» Сумбат Геворкович Татевосов.

У Павла были свои причины спешить в Сураханы. Подобно многим шоферам и охранникам управления «Азнефти» он жил в общежитии, в белом одноэтажном доме, сразу же за трестом. Но в Сураханах оставался родительский дом, там были друзья. Ему не терпелось передать приятелю Юсифу новость: ночью пришел эшелон с трубами. Об этом Павлу сказал шофер самого управляющего «Азнефти» Серебровского. В глубине

души Павел надеялся, что Татевосов задержится в Сураханах и тогда можно будет, оставив машину в гараже, подольше побыть на буровой с Юсифом.

Была у него и другая причина спешить...

Мощеная дорога служила границей между промыслами и степью.

Северный ветер — хазри — приносил с собой запах курая и дыханье соленых озер, южный — гилавар—испарения нефтяных амбаров и мазутных луж. Было что-то зловещее в черных деревянных вышках, похожих на обронившие свои крылья ветряки. Еще темнее их были нефтяные озера, казавшиеся бездонными, застывшими невесть когда, — они отражали перевернутые, обшитые тесом пирамиды.

— Поверни к девятнадцатой! — сказал Татевосов. — И потише, не испачкай машину... — Сумбат Геворкович беспокоился за свой темносерый, без единой морщинки костюм и накрахмаленную пикейную сорочку.

— Мне повезло... — отметил про себя Павел. — На девятнадцатой Юсиф и Кудрат...

Пока Сумбат Геворкович говорил с подтянутым, сухопарым мастером — обрусевшим шведом, Павел заглянул внутрь вышки. В полумраке он не нашел ни Юсифа, ни его отца Кудрата.

— Пашка! — раздался сверху радостный возглас и тяжелые ботинки застучали по маршевой лестнице.

Запыхавшийся Юсиф на ходу протянул ему пятерню:

— Читал в газетах, какая в Париже забастовка?! Дадут они своему Пуанкарэ по шапке! А в Югославии — восстание... До конца года везде будут Советы...

Павел понимающе улыбнулся: Юсиф Ахмедов бредил мировой революцией.

— Не спорю: ты, верховой, на самой макушке вышки стоишь, тебе виднее, — согласился он. И спросил, чтобы вернуть Юсифа на землю.

— Как в бригаде дела?

— Дела? Как у Нобеля:* труба пониже, дым пожиже... Коптим. Две сажени еле-еле за неделю пробурили, — нахмурился Юсиф.

И стал выкладывать Павлу бригадные беды: со стан-

---

* Нобель — крупнейший в дореволюционной России нефтепромышленник.

ком «Ойлвелл» одна мука, его на буровой прозвали «Ой-вай», насос день работает, два стоит, долота и ключи ломаются, как спички, труб мало, да и те изношенные, вот-вот резьба сорвется, и вся колонна рухнет на дно. Так уже было на двух буровых.

— Трубы скоро получите. Из Мариуполя состав пришел, — прервал его Павел.

Юсиф поднял на него глаза:

— Клянись, что не врешь! Правда?! Тогда — стой, я ребятам скажу...

Только скрылся Юсиф, как Татевосов сказал Павлу:

— Мы кончаем. Заводи машину...

А от мастера Татевосов потребовал:

— Представите на мое имя докладную. Напишите, что с этим оборудованием бурить опасно, что технический уровень рабочих низок и применять вращательный способ нам пока нельзя. Отметьте про состояние ствола...

Лицо шведа было непроницаемо:

— Исполню, гражданин директор, исполню.

* * *

День был на исходе, и Татевосов не застал главного инженера в управлении. Пришлось поехать к нему домой. Пожалуй, это устраивало Сумбата Геворковича: домашняя обстановка располагала к интимности.

На пригорке, в самом центре Сураханов стоял квадратный трехэтажный дом с застекленными галереями — верандами и покатой черепичной крышей. Прежде он был собственностью нефтепромышленника Бенкендорфа, теперь в нем жили рабочие и служащие промыслов. Две угловые комнаты на втором этаже занимал со своей семьей главный инженер района Аслан Алиевич Алибеков.

Судьба Аслана Алиевича сложилась любопытно: сын родовитого, но обедневшего помещика-бека, он не захотел, по примеру отца, служить в Сальянской уездной канцелярии и сдавать крохотные наделы земли в аренду крестьянам; заработал, переписав груды казенных бумаг, денег на дорогу и уехал учиться в Петербург. Выросший на природе, среди тенистых рощ, вставших по берегам Куры, Аслан не любил серый, выжженный солнцем Баку, однако другой промышленности, кроме неф-

тяной, в Азербайджане почти не было, и Алибеков решил стать горным инженером. На первой же лекции в технологическом институте он познакомился с сыном шушинского врача Сумбатом Татевосовым. Вскоре они подружились.

Из Петербурга молодые инженеры вместе приехали в Баку. Алибекова позвал к себе миллионер Муса Нагиев, Татевосова пригласил миллионер Леон Манташев. Оба дослужились до управляющих промыслами, считались людьми обеспеченными, солидными. От политики старались держаться подальше, заявляя, что разбираются в технике, а не в программах партий. Сумбат Геворкович в большей, Аслан Алиевич в меньшей мере дорожили своим положением. От близости студенческих лет у них осталось немного, но встречи Алибекова и Татевосова были радушными. Лишь в последнее время в их отношениях возникла трещина.

...Медленно поднимаясь по лестнице, Сумбат Геворкович думал о предстоящем объяснении. Из головы не шел разговор с чопорным, безукоризненно одетым англичанином, по сравнению с которым лоск и светские манеры Татевосова выглядели жалко. Небрежно спросив своего собеседника, какие машины хотела бы получить «Азнефть», иностранец вдруг в упор посмотрел на Татевосова:

— Все в мире изменчиво, кроме британской короны. У вас было неплохое прошлое, вы не за бортом сейчас. А что будет дальше? Вы умный человек и должны понимать, что все это продержится недолго. С чем придете вы к тем, кто вернется?

— Я инженер, и политика — не мое дело, — ответил Сумбат Геворкович.

— Именно, как специалист, вы и могли бы отговорить большевиков от кое-каких ненужных затей. Это, я думаю, вам бы зачлось. — Англичанин встал, учтиво кивнул и направился к двери.

После него в комнате долго держался запах крепкого табака, смешанного с ароматом дорогих духов. Татевосову стало душно и он открыл окно. Сам по себе визит англичанина его вначале не напугал. Тот был официальным гостем и поочередно обходил всех руководителей «Азнефти». Ни у кого не должно было вызвать подозрения и то, что, зайдя к Сумбату Геворковичу, он отпустил

переводчика, — всем известно, как хорошо говорит по-английски технический директор.

Беседа продолжалась не больше получаса, но с нею пришли беспокойство, тревога за будущее. Скорее всего, этот холодный, надменный человек прав, и новая власть, многое доверившая Татевосову, но оставшаяся ему чужой, продержится недолго. А если вдруг случится чудо, и она утвердится... Где найти ту спасительную середину, которая обезопасит его в обоих случаях?!

Месяца через два после отъезда англичанина, из вновь созданного Государственного банка Сумбата Геворковича известили, что на его имя поступил гонорар за статью в иностранном журнале. Деньги были слишком большими для статьи в семь страничек, посланной им еще в феврале двадцатого года. Их почему-то перевели именно теперь на счет Персидского банка, ведущего операции с Азербайджаном, а оттуда деньги поступили в Баку.

Татевосов понял, что это не простое совпадение с визитом англичанина. Что это, — напоминание или аванс? Желание скомпрометировать его?..

Прямо из банка, с портфелем, набитым серебром, Сумбат Геворкович зашел к Серебровскому.

— Как быть с гонораром? — переспросил управляющий «Азнефти». — Получили, ну и ладно, что тут особенного? А, в общем, располагайте им, как хотите.

На душе после этого легче не стало, и Татевосов позвонил председателю Совнаркома Нариманову.

— Совнарком не распоряжается вашими деньгами, — ответил ему мягкий, чуть усталый голос. — Не совсем понимаю, что вы от меня хотите.

— Скажите, что бы вы сделали на моем месте? — не отставал Сумбат Геворкович.

— Отдал бы деньги в фонд помощи голодающим. Извините, мне пора на совещание, — закончил разговор Нариманов.

Трудно было расставаться Татевосову с деньгами. Будь это еще тоненькие бумажки—боны, которые вечером стоят дешевле, чем днем, а то — серебро! В первый момент он собирался было сдать лишь половину серебряных монет, потом спохватился и написал заявление на всю сумму, а после долгих колебаний, решил оставить себе четвертую часть.

Англичанин заронил в его душу проклятое сомнение. Не слишком ли легкомысленно кинулся он в гущу новой жизни, не напрасно ли был чересчур активным? Отступать, отступать, пока не поздно! «Сукин сын, прохвост, большевистский блюдолиз!» — наверное, честит его сейчас Манташев в какой-нибудь парижской гостиной.

У Сумбата Геворковича вскоре созрел план действий. Успех его должен был оправдать инженера в глазах бывших, а, возможно, и будущих хозяев.

Татевосов, ранее поддерживавший идею вращательного бурения на апшеронских промыслах, стал осторожно высказывать мысль, что на первых порах лучше целиком опираться на испытанный ударный способ. А еще правильней было бы полностью свернуть буровые работы, и все средства бросить на восстановление заброшенных и разрушенных скважин.

Обвинений в саботаже Татевосов не опасался: часть видных инженеров и геологов, ничем себя не запятнавших, и даже иные из выдвиженцев-рабочих поддерживали его. Наконец, на службе технический директор не сидел сложа руки, часто выезжал в нефтяные районы и давал промысловикам немало дельных советов.

Но Киров и Серебровский твердо стояли за вращательное бурение. Вот почему Сумбат Геворкович так стремился получить поддержку от главного инженера сураханских промыслов, куда направлялось большинство бурильных станков.

...Дверь открыла жена Алибекова. Сумбат Геворкович улыбнулся, галантно поцеловал ручку:

— Рад видеть вас, дорогая, в добром здравии!

Аслан Алиевич поднялся ему навстречу, усадил в свое любимое кресло у окна, — единственное, что он перевез в Сураханы из своей прежней, просторной и красиво обставленной квартиры.

— Будем чай пить. Ханум, пожалуйста... Шахматы или нарды пожелаешь?

Нелегко было угадать, доволен ли Алибеков его приходом, — любезность и обходительность были в крови Аслана Алиевича.

— Ты, конечно, останешься у нас ночевать, а завтра мы пройдем по промыслам, — предложил Алибеков.

— Если не стесню хозяев... — Татевосов из окна сделал знак шоферу, что тот свободен.

— Что ж, сыграем в шахматы. Одну партию... Я что-то устал сегодня, — пожаловался Татевосов.

На тринадцатом ходу Сумбат Геворкович уже проиграл качество, затем потерял пешку и, вытирая вспотевший лоб, красноречиво поднял руки, — «сдаюсь».

А в нарды он выигрывал пятую партию подряд. Под конец стал кидать кости небрежно, не задумываясь, передвигал шашки, однако фортуна не покидала его. Это было совсем некстати. Во-первых, потому, что у Алибекова (каждый имеет свои слабости) заметно портилось настроение от проигрыша, во-вторых, Сумбат Геворкович верил в приметы: раз везет в игре, то удача покинет в делах. Он не переставал играть, надеясь, что проклятое везение оставит его.

Вмешалась хозяйка дома, позвав их к столу.

— Пожалуйста, чай, — Аслан Алиевич пододвинул стакан к гостю. — Извини, что с сахарином.

— Пустяки. Все мы сейчас можем фигурировать в анекдоте на месте Мусы Нагиева. Ох, и скупердяй же был твой бывший патрон! Памятник надо тебе при жизни поставить за выдержку и терпение.

— Какой анекдот сочинили про миллионера? — полюбопытствовала жена Алибекова.

— Раз Багия-ханум не слышала, я охотно расскажу, — повернулся к ней Сумбат Геворкович. — Итак, собрались у миллионера гости, подают чай, но сахарницы нет. Все думают, что сахар на дне стакана, берут ложечки, мешают. Подносят ко рту, — в чае ни намека на сладость. А Муса Нагиев, нисколько не смутившись, сидит во главе стола и, перебирая четки, говорит:

— Мешайте, мешайте, клянусь, сахар внизу.

Гости водят ложечками, но чай не становится сладким. Спускаются по лестнице сконфуженные, а хозяин провожает их с усмешкой:

— Это правда, что Муса Нагиев жадный человек, но он никогда никому не врал. Смотрите, сахар внизу! — И показывает вход в подвал, где лежат мешки с сахаром.

— А про вашего хозяина анекдоты не ходили? — спросила Багия-ханум.

— Анекдотов не слыхал. А вот вам быль! Лично явился очевидцем, — откликнулся Татевосов.

Случилось это в Кисловодске, в разгар дачного сезона. Исполненный достоинства, прогуливался Манташев по нижней аллее парка. Неожиданно миллионера нагоняет плохо одетый, в дырявых башмаках человек, услужливо кланяется и что-то ему подает.

Конфуз. Нарядная публика косится на Манташева, дамы шушукаются, а он замедляет шаги, и вразумляет оборванца:

— Дурак! В моем бумажнике, который ты подобрал, целое состояние. Счастье свое, хинмар*, упустил... Мог стать человеком, а будешь до гроба сторожем.

Ударил сторожа бумажником по лбу, брезгливо сунул ему десятирублевку: «На, выпьешь...».

Отпив два-три глотка чая, Татевосов повертел таблетку сахарина в пальцах.

— Похожа на подслащенную пилюлю, — сказал он, вздохнув. — Мне не хотелось бы говорить тебе этого, дорогой Аслан, но придется. «Тьмы горьких истин нам дороже нас обольщающий обман».

Сумбат Геворкович сделал долгую паузу.

— Боюсь, что ты слишком большие надежды возлагаешь на вращательное бурение. Твое последнее письмо в газете...

— Чем оно тебе не понравилось?

— Резкостью, не свойственной тебе, категоричностью суждений. Утверждаешь, что нужно смелее переводить бригады на ротор. Помилуй, но у нас на всех буровых с новым способом провал. Аварии, остановки... В твоей ли натуре отмахиваться от фактов?!

— Факты? Изволь! Девятнадцатую скважину скоро доведем до пласта, следом за ней пойдут другие... В Америке, ты прекрасно это знаешь, ротор утвердился, — возразил Алибеков.

— Америка — американцам... Доктрина Монро, — по-моему, применима и к технике. Пенсильванию и Оклахому не сравнить с Апшероном, там совсем иные геологические условия. Их рабочий перед нашим — профессор, а с техникой мы отстали на добрых полвека.

---

* Хинмар — по-армянски дурак.

Алибеков вовсе не злился на него, он скорее настроился спорить:

— Отчасти ты прав. С машинами и трубами у нас плохо. Пласты, верно, сложнее и коварнее американских. Люди полуграмотные работают. Это верно, и неверно! Я смотрю на них, Сумбат, и удивляюсь. Одержимые они. Сутками стоят у скважин, в выходной, их не зовешь, а они бесплатно, ты слышишь, бесплатно, выходят строить дороги и расчищать промыслы. Из Сураханов толпой мчатся на помощь в Биби-Эйбат. Иногда я возвращаюсь домой по гудку и чувствую себя неловко,— ведь они остаются. Такие своего добьются.

Татевосов улыбнулся, опустил руки на подлокотники кресла:

— Милый мой, ты всегда был немножко сентиментален. Помнишь, ездил на каникулы в Германию, вернулся в восторге: «Ах, до чего дисциплинированны, щепетильны и аккуратны немцы!» А настала мировая война, и эти аккуратисты себя показали...

— Совсем не то, — нахмурился Аслан Алиевич.

— Допустим. Вот тебе другой аргумент. У Бенкендорфа была голова на плечах, согласен? Он единственный из промышленников сообразил проложить из Сураханов на Зых трубопровод, поставил на берегу резервуары, наполнял свои шхуны нефтью, и — прямым ходом на Астрахань! Начальную школу на свои деньги открыл, чтобы рабочих ублажить. Умный, в общем, был хозяин. Выписал бурильный станок из-за границы, тысячи потратил ради прогресса, а чем эта затея кончилась? Обвал ствола, обрыв труб, деньги — в трубу.

— Пример некстати, — покачал головой Алибеков.— Бенкендорф ошибся, он шел слишком широким стволом.

— И все-таки, переводить полтора десятка буровых в Сураханах на ротор рискованно, опасно, если хочешь, безумно.

— Разрушить дом легче, чем его построить, разбить сосуд проще, чем его починить, — говорят в народе.

— Я все же рассчитываю на тебя. Во имя старой дружбы. К тебе почему-то благоволит Киров. Твое слово имело бы вес, — Сумбат Геворкович шел уже напролом.

— Платон мне друг, но истина дороже, — примирительно сказал Алибеков. — Уже поздно, ложимся спать.

Татевосов пошел в кухню умываться на ночь. Во рту был горький привкус, но то от сахарина, не то от неприятного разговора. Худшие его опасения оправдались.

* * *

Ключ, как обычно, висел за рукомойником. На тумбочке в беспорядке лежали пудра, крем и приколки, утюг стоял посреди заставленного посудой стола. Скорее всего, сестра уехала в город.

Сверкали золотом корешки книг, — два шкафа были заполнены ими. Лермонтов, Гоголь, Толстой, Успенский... Отец был книголюбом, и под его началом Павел рано пристрастился к чтению.

С фотографии под стеклом на Павла смотрел отец, — улыбка у него была застенчивая, грустная. Павел представил себе робкие и тихие отцовские шаги, волосы, падавшие на лоб, густую сетку морщин у глаз... Трагически сложилась жизнь у отца: жена, в которой он души не чаял, бросила семью, оставив под одежной щеткой коротенькую, в две строчки записку. Павлу тогда шел девятый год, Лида была на год моложе. Он и сестра быстро забыли мать и стали называть отца, стиравшего им после работы белье и варившего обед, «папа-мама». Но Григорий Петрович так и не мог ее забыть.

Где теперь их мать, с тех пор ни разу не напомнившая о себе? Живет ли тихо-сытно в домике с геранью на окнах, уцелела ли в военные годы, не занесла ли ее судьба на чужбину? Хотя, не все ли равно?!

Около двух лет назад отец покончил с собой. Одна ли безутешная любовь толкнула его на это? Почему он, справедливый, честный, пошел не к большевикам, а к эсерам? Ведь сражался отец в восемнадцатом году против турок и мусаватистов за Бакинскую Коммуну... А летом двадцатого года, уже после установления Советской власти в Баку, внезапно застрелился.

...Гудки автомобильного рожка вызвали Павла на улицу. «Бенц» был взят в кольцо смуглыми, голосистыми мальчишками. Они трогали руль и фары, щупали шины, подпрыгивали на сиденьях. Шофер, встреченный восторженными возгласами, с трудом пробрался к машине.

— Покатай, да!

— Менюлюм!*

— Хотя бы до угла, — набросилась на него ватага.

— Ладно, — сдался Павел. — Садись, сколько поместится. Но, чур, сидеть смирно!

Вмиг машина была заполнена доотказа; кому не хватило места на сиденьях, уселись в ногах счастливцев.

Павел включал зажигание, когда у машины появилась Фатьма.

— А меня не возьмешь? — спросила она.

Павел вспыхнул, окинул растерянным взглядом пацанов. Они потеснились и место рядом с шофером оказалось свободным. Фатьма откинула косы, опустилась на сиденье:

— Поеду и на край света...

— Бензина не хватит, — в тон ей произнес Павел.

— А желания?

Фатьма, как и Юсиф, была соседкой Павла по коридору. Когда-то он часто дергал ее за косы, она в отместку рвала его воздушные змеи, а Юсиф грудью вставал на защиту девчонки. Фатьма давно уже стала взрослой, но Павел почему-то любил вспоминать былые игры и размолвки с ней. И сейчас он поймал себя на мысли, что хочет дотронуться до ее косы.

Мальчишкам повезло. Благодаря Фатьме, они прокатились не до угла, а до самых Амираджан, и слезли у гаража, куда Павел загнал на ночь машину.

Вечер выдался безветренный, лунный, и Фатьма сама предложила: «Пройдемся, расскажешь, как живешь».

Садов и скверов в нефтяных районах не было. Гуляли в Сураханах вдоль железнодорожного полотна, ступая по гравию и щебню, лузгали семечки на маленькой, залитой киром площадке у вокзала.

— Я хотела бы идти по берегу и слушать море, — сказала Фатьма. — Ты умеешь слушать море?

— Перестал любить его после того, как тонул.

— А Юсиф говорит, что в ясный день он с вышки видит Говсаны, море и ему тогда лучше работается.

— Юсиф любит фантазировать...

— А ты бы хотел, чтобы здесь совсем не было грязных вышек и мазутных луж, а цвели бы сады?

---

* Менюлюм — умоляю.

— И в бассейнах плескались бы гурии?..

— Но ты не ответил мне.

— Нет, промысел на сад я бы не променял. Нефть для коммуны нужнее.

— Юсиф тоже так думает, — подтвердила Фатьма.

Они свернули к одиночным промазученным домикам, сгрудившимся напротив станции.

— Все-таки сады на промыслах будут, — задумчиво сказал Павел. — Через десять, двадцать, пятьдесят лет, но будут.

Дальше дороги не было, под ногами скрипел песок, нанесенный к ограде храма огнепоклонников.

— Тут мы играли в прятки. Я тебя дразнила «Паша— турецкий паша́!», ты злился и грозил, что заставишь меня до вечера вадить, — вспомнила Фатьма.

Они вошли во двор храма, отвесив поклон безмолвным каменным львам-стражам, восседающим на воротах. Лунный свет плавал на плитах с высеченными надписями, бросал тени на окна — ниши келий. Павел поднял с земли осколки светильника, протянул черепки Фатьме.

— Представь, что по счету «три» снова вспыхнет огонь от газа и появятся огнепоклонники-индусы, — сказала она.

— И с нами заговорит Марко Поло, венецианец. Знаешь, что он писал о наших местах? «На грузинской границе есть источник нефти, и много его, до сотни пудов можно зараз погрузить тем маслом. Есть его нельзя, а можно жечь и мазать им верблюдов, у которых чесотка и короста. Издалека приходят за тем маслом и во всей стране его только и жгут...».

— Ну и память у тебя, Павел! Прочти стихи!

— Стихи, так стихи, — согласился он. — Послушай Маяковского:

У каждой реки на истоке,
Лежа с дырой в боку,
Пароходы провыли доки:
Дайте нефть из Баку!

К стихам Маяковского Фатьма осталась равнодушной.

— Начитанный ты, — сказала она. — А Юсиф мало книг читал, зато он сам умеет сочинять.

— Юсиф в облаках витает...

— Скажи, что ты знаешь о нашей сураханской нефти?! — сдвинула брови Фатьма.

— Ну, залегает она на разных горизонтах, сверху светлая, внизу — темная.

— А Юсиф рассказывает о ней по-другому. — Почему у сураханской нефти цвет меняется? Подарила природа человеку белую и светлую, как ключевая вода, нефть, и лежала она у него под ногами. Прорыл колодец, и бери ее! Хороша белая нефть — сураханка! — сказал человек, но заберусь-ка я поглубже. — Стал долбить землю, добрался до горючего масла. Только была уже нефть желтой и мутной.

Снова пожадничал человек: а что там за богатства прячутся от меня еще ниже? Долго пробивал он дорогу, много крови стоила ему эта затея. И нефть, которую он увидел, была светло-красная, окрашенная его кровью. Угомониться бы человеку, — так нет, опять проникает в самую глубь земли. И добыл он нефть, черную, как жизнь, на которую обрек себя мазутчик, липкую, как его пот.

— Но черная жизнь мазутчика светлеет, — возразил Павел.

— Юсиф про старое время говорил...

Луна спряталась за тучей, темень поглотила храм «Атешга», и Фатьма дотронулась до руки Павла:

— В домах уже лампы тушат. Пошли.

Павел задержал ее тонкую загорелую руку в своих ладонях, прижался губами к ее косе.

— Зачем это? — отодвинулась Фатьма.

Вырвалась из укрытия луна, плеснув в лицо холодным светом, и тень легла между Павлом и Фатьмой.

Всю обратную дорогу они шла молча. Вблизи от дома Фатьма оставила Павла и одна вошла в коридор.

ГЛАВА II

Между промыслами и мусульманским кладбищем — старое селение Сураханы. Низкие, плоскокрышие дома из камня, дворики, узкие и тесные как глиняные горшки, заметенные пылью инжирники с толстыми шершавыми листьями-ладонями... Сколько домов, столько и заборов. Редкие кривые улочки, где встречным не разойтись,

и множество глухих тупиков. На воротах ни номеров, ни табличек с именами, лишь кое-где прибиты черные железные молоточки-кулаки с ясно различимыми пальцами. Постучись ими по звонким, сухим доскам и услышишь, как заскрипят засовы.

Выше всех домов — мечеть, только к ней и ведет единственная на все село мощеная улица. Этой мечети далеко до той, что стоит возле озера в Бюль-Бюлях, где и стройные резные минареты, и огромный купол, но в соседнем селении и святости больше. Позор, позор, позор... — твердит мулла. — В Сураханах нашлись мусульмане, выдавшие милиции Саттар-хана, истинного сына веры, который тайно приезжал из Пехлеви, чтобы увезти свое добро.

— Пять кувшинов с золотом были зарыты у него под деревом, — шепчутся верующие.

— Аллах акбар! Велик аллах! — провозглашает мулла.

Ага Салим касается лбом холодного сырого пола и внимает словом корана:

— Мы — люди, которые следуют, а не те, которые измышляют, — говорит мулла.

Он негодует, что иные магометане отворачивают лицо от корана и заодно с безбожниками отбирают чужое добро, хотя сказано пророком: «Нищие да не глядят на богатства, которыми аллах одаряет избранников». Будь проклят женский клуб, куда дочери и жены мусульман ходят без чадры, раскрытые, словно лошадь, ибо записано в коране: «Пусть ниже опускают они на себя покрывала свои, да не будут они узнаваемы».

Этот упрек относится к Ага Салиму, грешен он за Фатьму перед богом. Бегает, сломя голову, по Сураханам его родная дочь, плоть и кровь его, с открытым лицом, будто русская или армянка, в чужие дома стучится, книжки разносит, на собраниях вечерами сидит, называет себя комсомолкой.

Старательно повторяет он молитву, тяжелыми каплями падает на темя проповедь муллы, но нет у Ага Салима слов, чтобы отступиться от своей дочери. Дал ей при рождении имя Фатьмы, так звали дочь самого пророка Мухаммеда, жену халифа Али, а она пошла чужой дорогой.

Может, во всем виноват он сам, Ага Салим... Трех сыновей и дочь послал ему аллах. Двое сыновей умерли, остался Аждар, «сон бешик», последний в люльке. Его и должен был, как положено азербайджанцу, сильнее жизни любить Ага Салим, но он отдал свое отцовское сердце Фатьме. Аждар не принес ему радости, только огорчения. А Фатьма...

Как случилось, что у него, безграмотного тартальщика, ставящего вместо подписи крестик, образованная дочь?

Было это девять лет назад. Владелец промысла спросил у инженера, сколько нефти набралось в открытых амбарах. Ученый человек вытащил из кармана книжечку в кожаной обложке и сказал: «Сто тысяч пудов».

Ага Салим насторожился, — наверное, инженер оговорился.

— Сколько? — неожиданно обратился к нему тартальщик.

Инженер взглянул на него с удивлением, пожал плечами, но повторил: «Сто тысяч».

— Ошибку дал. Сто тысяч, и еще половина будет, — заявил Ага Салим.

У хозяина брови полезли вверх, круглые глаза с любопытством уставились на измазанного мазутом рабочего.

— Моя правда, хозяин... Нет мне пользы обманывать, — твердо сказал тартальщик.

— Докажешь?

— Сам судить будешь, — ответил Ага Салим.

— Смотри, если твоя правда — щедро награжу, а нет, — с промысла вон! — объявил свою волю хозяин.

Ага Салим спустил вниз небольшой плот, поднял с земли длинную тонкую палку, оттолкнулся ею от почерневших камней и стал промерять озеро-амбар. Шевелил губами, запоминая, где какая отметка на шесте, складывал в уме аршины, снова прикидывал на глаз расстояние от берега до берега. Перебрался на второе, третье озеро...

— К тому, что я сказал, еще семь тысяч пудов прибавь, — доложил он хозяину.

Тот выслушал расчеты Ага Салима, повеселел, окинул с ног до головы насмешливым взглядом своего ин-

2904—2

женера и приказал, чтобы послали за человеком с нефтеперекачки.

Рыжий, веснушчатый товарный контролер долго возился с подсчетами и подтвердил: «Чуть больше ста пятидесяти тысяч пудов».

Хозяин смачно сплюнул в сторону инженера, покровительственно похлопал по плечу Ага Салима. Глаза его заблестели от восхищения: под скользкой, пропитанной нефтью курткой он почувствовал крепкие мускулистые плечи. Бывший амбал, сказочно разбогатевший на нефтяном фонтане, умел ценить физическую силу.

— Вон тот шалман поднимешь? — выдохнул он в ухо Ага Салима. — Тогда — двойная награда.

Тартальщик прикинул, — деревянный брусок, приготовленный для закладки вышки, имел не меньше десяти пудов веса. Обычно его тянули двое рабочих. Боязно надорваться, но и случай жалко упустить.

— Подниму! — решился Ага Салим. А про себя подумал: милостив аллах, не допустит он, чтобы кормилец надорвался и навсегда потерял кусок хлеба.

Вздулись, посинели жилы на руках, ноги слились с землей. Сильный рывок, и шалман уже у пояса. Еще усилие — и он на груди.

— Молодец! — похлопывая себя по жирному животу, крикнул хозяин. — Пехлеван!*

Достал из бумажника сотенную, протянул Ага Салиму. И назвал, какой будет вторая милость:

— Незачем такому силачу с грязной желонкой возиться. Будешь под началом Саттар-хана, хозяина будешь охранять.

Ага Салим опешил: Саттар-хан — известный головорез, его люди — телохранители у богатых, они неугодных хозяевам рабочих избивают, в казармы врываются.

— Спасибо, хозяин. Большое спасибо. Но я без желонки не могу. Какой из меня нукер...

Благодетель насупился, — он не привык, чтобы от его наград отказывались. Раз он обещал две милости, то паршивый мазутчик, кланяясь до земли, обязан их принять.

---

* Пехлеван — богатырь.

— Ладно. Вот тебе вторая моя награда. Присылай сына, будет учиться. — И про себя подумал: вырастет, верный служащий у меня прибавится.

Тартальщик долго благодарил хозяина, а домой пришел в смущении. Радовали большие деньги, свалившиеся с неба, и пугало то, что надо отдать Аждара в учение. Сын и слышать не хотел о школе, — где там ему было до занятий, когда водился он с дурной компанией, курил анашу.* Зато Фатьма, затаив дыхание, слушала Ага Салима.

— Хочу учиться. Пусти, — попросила она.

— Молчи, востроглазая. Это иблис** внушил тебе такие мысли, — цыкнул на нее Ага Салим. А выходя на улицу, вздохнул, — жалко было видеть, как скисла девчонка.

Хозяин промысла сам окликнул Ага Салима:

— Эй, желонщик, где твой наследник?

Тартальщик понимал, как рискованно вторично отказываться от хозяйского благодеяния, представил себе умоляющий взгляд Фатьмы, и, собравшись с духом, выложил:

— Неспособен учиться сын. На то воля аллаха. Дочь могу послать...

Хозяин на минуту задумался, поиграл цепочкой от часов и опустил в знак согласия веки.

— Ты мне нравишься, джульфинец. Посылай дочь, будет рядом с моей в гимназии сидеть.

...Ага Салим и сердится на Фатьму, и гордится, что девчонка через год кончит школу. Умница она, все знает. Но иногда слишком много на себя берет, — накануне рамазана вздумала отговаривать отца от поста, пыталась внушить ему, что бога нет. Вот тебе, и все знает... Разве не аллах подсказал хозяину промысла, который никому ничего даром не делал, чтобы он послал Фатьму в школу?!

Из мечети Ага Салим выходит не один. Привязался

---

* Анаша — наркотическое вещество.

** Иблис — дьявол.

к нему хуже репея кривобокий кечаль*, торговавший около промысла ячменными лепешками и сакисом**.

— А Саттар-хан, которого забрали, был не один. Его человек успел по крышам убежать, — говорит кечаль, и, прищурившись, смотрит на тартальщика.

Однако Ага Салима это мало интересует.

— Я не все сказал, — не отстает от него надоедливый торговец. — С ним встречался твой Аждар.

Ага Салим хмурится, — это похоже на правду. У сына в последнее время завелись деньги, он похвастал перед отцом золотым кольцом.

Сплетник-кечаль удовлетворен: стрела попала в цель. Теперь он начинает действовать, как сват.

— Будь сегодня моим гостем, — зовет он Ага Салима.

Тартальщику очень не хочется заходить к нему в дом, однако неловко обидеть отказом того, кто старше тебя годами.

Кечаль-Гасан живет в покосившемся каменном доме с крышей из самана. Двор здесь такой же голый, как голова Гасана.

На пороге вырастает длинная фигура женщины в белых холщевых штанах, курящей трубку. Она с вожделением смотрит на Ага Салима и, не спеша, скрывается.

— Сестра моя. Вдова. Дочерей замуж выдала, скучно ей одной, — глухим голосом сообщает кечаль-Гасан.

Он ставит на стол ячменные лепешки, жиденький дошаб*** и халву, для голодного года — царское угощение.

— Много к сестре сватов ходило, видная она женщина, но, по-моему, ты ей больше всех подходишь, — продолжает свою речь Гасан.

— После смерти жены мои глаза на женщин не смотрят, — сдержанно отвечает Ага Салим. — Ее памяти буду верен.

— Чудак ты, — смеется кечаль, дергаясь кривым плечом. — Сам себя хисаром, обездоленным делаешь. — Одну жену и то не хочешь иметь. А у меня их две... Третью бы взял, будь времена другие.

Ага Салим словно и не слышит его.

---

* Кечаль — плешивый.

** Сакис — тянучка.

*** Дошаб — виноградный сироп.

— Вижу, не одобряешь, — тычет пальцем перед его носом кечаль. — Но я от закона — ни на шаг. Четыре жены дозволено иметь мусульманину кораном. А сиге* разрешается заключать хоть каждую луну.

Глаза тщедушного Гасана становятся маслянымi, а на впалых щеках выступают красные пятна, когда он рассказывает историю знаменитого красильщика из Багдада. Великую и сладкую жизнь прожил человек, — только и знал, что женился и разводился. Были у него молоденькие и стройные, были средних лет и полные, неопытные и прошедшие сквозь огонь и воду. Примерно через месяц красильщик вкушал прелесть от новой, ниспосланной ему свыше жены. Багдадец умер на 88-м году жизни. Близкие ему люди подсчитали, что состоял он в браке с девятью сотнями женщин.

Торговец лепешками судорожно гогочет, а тартальщик сидит неподвижный, хмурый. Не развеселил его кечаль-Гасан своим рассказом.

— Еще встретимся, снова поговорим, — не теряет надежды Гасан, провожая Ага Салима до ворот. Отдергивается на окне занавеска, и женщина с кальяном в руке, не скрывая своего разочарования, смотрит ему вслед.

...Дорога домой лежит через промысел. Чем ближе к нему, тем чернее камни мостовой. Сонная одурь старого селения Сураханы сменяется пронзительным гулом мастерских. Одинаковые, побеленные известкой корпуса с впалыми глазницами окон выстроились по обе стороны улицы без тротуаров. Чудно́е, непонятное название у измазанной киром казармы — общежития «Новый быт». Половину всех домишек родного села Ага Салима, что прижалось к шумному Араксу, надо поставить в ряд, чтобы получилась эта длинная одноэтажная казарма, которую занимают казанские татары. За нею — компрессорная и башни вышек.

...В тот год, когда обмелел Аракс, и горячий сухой ветер спалил все колосья, старший брат уговорил Ага Салима бросить деревню и уехать в Баку. Вдвоем пошли они наниматься на промысел. Приказчику было не до них: из нефтяной шахты извлекали задохнувшегося в

---

* Сиге — временный брак у магометан.

чаду рабочего. Брат оробел, на последние деньги купил щетки и крем, стал чистильщиком. Здоровяк Ага Салим рискнул наняться в тартальщики. Долго бедствовал брат, жил под лестницей в парадной. Ага Салим звал его к себе, но он и слышать не хотел: кто станет в Сураханах чистить ботинки, если кругом непролазная грязь?! Брат и после работы все равно мотает головой из стороны в сторону, будто ищет клиентов или щетку, бегающую по сапогу. А тартальщик замечает за собой, что он все чаще, и дома, и на улице, поднимает и опускает голову. Привык провожать глазами желонку — бадью, которая то взлетает кверху, то нырнет вглубь скважины. Отвернешься, замечтаешься, и она застрянет на дне, или сорвется с высоты, разрывая канат, обдавая тебя потоком нефти. Бывало, желонкой убивало неосторожных. Достается тартальщику... Тяжелый кусок хлеба... Зато верный хлеб.

Промысловая лавка открыта, выдают план-паек. Кассир находит в списках имя Ага Салима, просит его приложить палец и пододвигает ярлыки на продукты и тридцать пять миллионов рублей. Машаллах! Ага Салим может чувствовать себя миллионером. Столько денег не было ни у его прежнего хозяина, ни у более богатого нефтепромышленника Шамси Асадуллаева. Наверное, только сам Гаджи Зейналабдин Тагиев, да Муса Нагиев обладали таким богатством.

Но всех миллионов Ага Салима не хватит, чтобы купить в частном магазине ситцевое платьице для Фатьмы.

Ардебильцам, тавризцам, тем, кто из персидских подданных, лучше — им выплачивают не бумажками, а по три—четыре рубля серебром, чтобы тартальщикам было что посылать семьям в Южный Азербайджан.

— Вода, сладкая, как мармелад! Лучше меда! — подбегает к Ага Салиму мальчишка с ведром, в котором плавает оловянная кружка.

По сравнению с безвкусной — опресненной или солоноватой колодезной, эта, привезенная из города, вода и вправду кажется сладкой. Если бы такую воду постоянно иметь в обмазанных цементом бочках, что стоят в комнатах и коридорах сураханских домов...

Ага Салим выпивает две кружки холодной шолларской воды и его миллионное состояние уменьшается на десять тысяч рублей.

— У тебя есть дочь, Ага Салим, — гляди! — Тартальщик, приехавший из Шемахи, разворачивает платок. Шемахинские келагаи славятся, они — шелковые и с узорами. Ага Салим не отрывает глаз от платка, — нравится он ему.

— Почем? — спрашивает Ага Салим.

Тартальщик называет цену, и Ага Салим мрачнеет. Давно уже у него протерлась папаха, и он собирался купить себе новую. Какой у киши вид в рваной папахе?! Лучше босым ходить, чем с дырами на голове! Если он выложит деньги за келагай, прощай папаха. Но этот платок будет к лицу Фатьме, принесет ей радость.

— Беру келагай. На, считай деньги! — решается Ага Салим.

В лавке за продавца стоит масленщик с их промысла, большевик. Объявляли, что платы за это он не получает, рабочее собрание его послало, чтобы с пайками было по-честному.

— Туго, брат. Придется животы подтянуть... Дальше будет легче, — говорит он Ага Салиму.

Тартальщик заглядывает в кульки: полкаравая хлеба, немного риса и муки, тухлые селедки и пригоршня орехов. Это на неделю, и еще неделю.

— Совсем мало, — жалуется Ага Салим. — Обсчитал?

— Смотри, ты, как все, подписывался... Договаривались, — для голодающих Поволжья с каждого рабочего-сураханца — три фунта хлеба, треть фунта риса, треть сахара, — поясняет ему масленщик.

— С таким пайком и сами свалимся, — бормочет тартальщик.

Недоволен не один Ага Салим. Возбужденные желонщики, человек десять-пятнадцать, собрались у старой, остановленной на ремонт скважины.

— Обещали вам комиссары-узурпаторы золотые горы, а дали фигу с маслом, — слышит Ага Салим визгливый голос незнакомого человека.—Вас утешают тем, что потом обретете рай на земле... Это — наглый обман. Не верьте! Наша партия социалистов-революционеров

предупреждала народ, что коммунисты толкают его в пропасть!

Ага Салим с трудом улавливает суть сказанного. Чем этот говорун лучше большевиков?

Но то, что, переходя на шепот, сообщает незнакомец, вселяет в Ага Салима тревогу.

— Они уберут желонки и поставят качалки с насосами. Взамен тартальщика будет работать «красный тартальщик», машина, а желонщика выгонят на улицу! Кто сомневается, пускай идет на склад, — туда уже доставили качалки.

Плохо будет, если Ага Салиму скажут: «Уходи, ты больше не нужен...». Совсем плохо... Куда он денется? Станет в очередь на Биржу труда? Грузчики в порту сидят без дела, — торговля упала. Амбалить рабочему человеку стыдно.

У Ага Салима отгульный день, и он спешит домой, как ни пугает его дурная весть.

Домой тартальщик возвращается подавленный, с камнем на сердце. Аждар в одежде, в нечищенных сапогах лежит на дырявом паласе. Лицо у него бледное, покрытое капельками пота. «Опять накурился и страшные сны видит...» — вздыхает Ага Салим. Сколько раз из-за сына было стыдно ему: то стекла кому-то побьет, то девушку заденет, то с ножом полезет в драку.

— Выгони негодника, зачем тебе отвечать за шального? — советовали тартальщику. А он, не питая добрых чувств к Аждару, все же говорил:

— Плохой сын. Мой сын...

...Скрипнула дверь. Это — Фатьма. Удивительная у нее походка, легкая, красивая, совсем как у покойной матери. Только шаги дочери уверенней и быстрее. Торопится Фатьма, а зачем, и куда... Будто во власти смертного удлинить или сократить путь, уготованный ему аллахом.

— У нас в ячейке сказали, что скоро тартальщики не будут мучиться с желонкой, — весело сообщает она отцу.

Выходит, чистую правду говорил человек, ругавший комиссаров. Чему радуется Фатьма?

— Для тебя, отец, наступит хорошая жизнь. Перестанешь ходить черным, как трубочист. И голова не бу-

дет гудеть от усталости. При царе на промысле Европейской корпорации работали две качалки, держали их хозяева больше для хвастовства, а у нас они заменят все желонки, — увлеченно рассказывает девушка.

— Молчи! — ударяет кулаком по столу Ага Салим.— Поставят насос, а тартальщика — в шею!

От шума просыпается Аждар. Отсутствующими глазами обводит стены, задерживает свой взор на Фатьме, и зрачки его суживаются, темнеют.

— Гулящая! — кричит он сестре.

Ага Салим уже не помнит, за что гневался на дочь, его рука занесена над Аждаром:

— Душу вытрясу из тебя за Фатьму! Ее — не смей трогать!

Аждар полон злобы, зубы его сжаты, рот искривила гримаса.

— С русским гуляла она! Гони ее, а то убью, — еще больше свирепеет он.

Рука Ага Салима сдавливает ему подбородок, губы. Аждар вырывается, хрипит.

— Кого защищаешь? Верные люди видели ее и Савельева ночью. Спроси, она сама скажет!

Отец оборачивается в сторону Фатьмы, их взгляды встречаются.

— Да, мы шли с ним вечером по Сураханам. Разговаривали. Павел и я — друзья. Это все, — с достоинством отвечает Фатьма.

— Оба хороши, — что сын, что дочь, — роняет огорченный Ага Салим.

Аждар, ободренный этим, приближается к сестре, вытаскивая из-за голенища нож.

— Еще раз пойдешь с русским, своей рукой прирежу. А урус пускай убирается из нашей земли в свой Тамбов!

— Дурак! — бросает Аждару в лицо Фатьма. — Не боюсь тебя. Анашист, картежник!

— Что, отомстишь мне? Обольешь себя керосином и зажжешь? — насмехается Аждар.

— Не надейся. Страшиться тебе надо. За моей спиной — комсомол. У тебя — кучка поганых кочи*.

---

* Кочи — наемный бандит.

Ага Салим вырывает из рук Аждара финку:

— Волос упадет с головы Фатьмы, тебе не сдобровать!

. . . .

На вахту Аждар приходит раньше обычного. Усаживается на трубе около буровой, поджидая Юсифа.

— Дело есть, — говорит он Юсифу и тянет его за рукав к сложенному из камней забору.

ГЛАВА III

Вести переговоры с русскими поручили Бойлю. У полковника была мертвая хватка, умение маневрировать и нюх на полезных людей. Аристократ по происхождению, для которого даже основатель и глава «Ройял-Детч-шелла» Генри Детердинг оставался всего-навсего выскочкой, он не чурался черновой работы. Впрочем, Детердинга мало волновало, что думает о нем Бойль. Сэр Генри, которого льстиво называли «Наполеоном по смелости и Кромвелем по глубине» интересовался лишь доходами нефтяного концерна.

В октябре 1921 года Министерство иностранных дел Англии направило в Москву на имя Народного Комиссара внешней торговли официальное письмо:

«Господину Л. Красину.

Сэр! Маркиз Керзон оф Кедльстон получил сведения от полковника Дж. Бойля, что группа «Ройял-Детч-шелл» желает приобрести концессию от советского правительства на добычу нефти из принадлежащих ей владений в Южной России и на Кавказе.

Мне поручили уведомить вас, что полковник Бойль обратился к вам по этому поводу с полного согласия и одобрения правительства его величества. Правительство его величества надеется, что переговоры эти приведут к быстрому и удовлетворительному соглашению.

Ваш покорный слуга Эсмонд Овей».

Перед отъездом из Лондона Дж. Бойль, благодаря общим знакомым, добился приглашения на вечер к чле-

ну Пенклуба писателю Герберту Уэллсу. Его меньше всего интересовало мнение Уэллса о стране большевиков, где тот был год с лишним назад. К человеку, которого обворожил Ленин, полковник не питал ни малейшего доверия. Однако в сейфе у Уэллса хранилась копия хроникального фильма о съезде народов Востока в Баку, подаренная английскому писателю большевиками. Эти кадры и хотел посмотреть Бойль.

Когда в разгар приема полковник попросил Уэллса показать привезенную из России ленту, писатель был явно застигнут врасплох:

— Стоит ли портить настроение гостям? Среди нас дамы...

— После вашей «Борьбы миров» фильм о восточном съезде не столь уж страшен, — жеманно промолвила одна из дам.

— Как сказать... — уклончиво заметил Уэллс.

Ленту писатель крутил и комментировал сам. Поезд с делегацией Коминтерна, медленно тащившийся на юг России и бесконечные станционные митинги, где разутые мужики и женщины в ситцевых платочках, вытаращив глаза, слушали ораторов, не занимали полковника. Массовая демонстрация на бакинских улицах и толпа, потрясающая оружием, насторожили его. Следя за выражением лица и скупыми жестами выступавшего на съезде Нариманова, Бойль старался разгадать характер председателя азербайджанского Совнаркома. От него, по-видимому, тоже зависит успех миссии посланца «Ройял-Детч-шелла».

При виде чучел Мильерана, Ллойд-Джорджа и Вильсона, которые публично сжигались на площади, как символ империализма, пожилая леди упала в обморок. Полковник мягко настоял на дальнейшем показе фильма. Панорама застывших, безлюдных промыслов и заводов без единой дымки над трубами порадовала его. Это — объекты для приложения сил. А клятва над свежими могилами двадцати шести комиссаров, замученных англичанами, испортила ему настроение. Слишком свежа еще в нефтяной столице память о недавних событиях.

В зале снова зажегся свет. Полковник подошел к Уэллсу.

— Мистер Бойль едет в Россию отвоевывать для Англии бакинскую нефть, — сказал кто-то хозяину дома.

— Я напишу об этом фантастический роман, — улыбнулся писатель.

«Слизняк-либерал», — отчитал его про себя полковник.

Около месяца провел Бойль в глухих, как казематы, кабинетах «Интеллидженс Сервиса». Несмотря на то, что Бойль был кавалерийским полковником в отставке, а не офицером разведки, перед ним открыли все двери. Сказались влияние сэра Генри и особая заинтересованность правительства в его предприятии.

Начальники отделов предоставили в распоряжение Бойля кипы материалов с грифом «Совершенно секретно», показали ему фотографии людей, которые будут искать встречи с полковником в Грозном и Баку.

До границы Финляндии с Россией Бойля сопровождал моложавый, с тонким нервным лицом мужчина, которого Генри Детердинг лично назначил к полковнику. Секретный сотрудник «Ройял-Детч-шелла» Джордж Хилл в совершенстве владел русским языком и знал петроградские, московские и бакинские улицы и площади не хуже старожилов. Он сослужил бы неоценимую службу Бойлю, будучи его спутником в Советской России. Однако оформить визу для Хилла — значило бы раскрыть карты Детердинга и Бойля. Имя капитана Джорджа Хилла было слишком хорошо известно русским.

Не случайно сэр Генри, бредивший бакинской нефтью, остановил свой выбор на нем. Лучшего консультанта по русским делам вряд ли можно было найти во всей Европе. Ведомство разведки не без сожаления рассталось с талантливым агентом. Но переход Хилла к Детердингу был в интересах империи.

Спутник пришелся по душе необщительному Бойлю. Полковнику не нужно было задавать вопросов капитану, Хилл сам охотно рассказывал о русских событиях и о своей карьере... Он был агентом номер «1.К.8.», правой рукой легендарного разведчика Сиднея Рейли. Весной восемнадцатого года Хилл менял русскую валюту на векселя лондонских банков, держал связь с эсерами, снабжал их оружием, по заданию Рейли присутствовал

на тайных сходках савинковского «Союза возрождения России».

Тайные явки и глубокое подполье, взрывы адских машин и провокационные слушки, ползущие по длинным хвостам очередей, лихие анархистские налеты на винные подвалы и секретные переговоры с комендатурой Кремля, — все это было родной стихией для Хилла. Игрок по натуре, он с головою погружался в опасные рискованные затеи, искренне симпатизировал отчаянным заговорщикам, с которыми его сводил жребий, не унывал при неудачах и, веря в свою звезду, смело шел на новые авантюры.

Шестое чувство часто предупреждало его об опасности, однако капитан любил искушать судьбу и, случалось, сознательно подставлял себя под удар, чтобы в какое-то последнее, неуловимое мгновение, когда петля уже туго затягивалась вокруг шеи, успеть выскользнуть и появиться в другом обличьи. Мелкий судебный чиновник, слесарь-водопроводчик, доцент-языковед, портовый грузчик, — Хилл потерял счет своим маскам.

В начале августа он получил шифровку: «Отправляйтесь в занятый нашими войсками Баку в распоряжение генерала Денстервилля». Маршрут следования на Кавказ им был уже тщательно составлен, но ЧК, арестовав многих эсеров-террористов, добралась и до Хилла. К счастью для него, капитан был выслан из России в обмен на большевиков, задержанных в Лондоне английскими властями.

— С Майкопом и Баку я познакомился близко позднее, в девятнадцатом году, — сказал капитан. — Едва вернулся домой, как меня прикомандировали к Деникину. Из его штаба я трижды выезжал на Кавказ.

Хилл наклонил голову, и наискось от виска среди поредевших волос обозначился багровый рубец.

— Память о Баку, — пояснил капитан.

— Была перестрелка? — осведомился Бойль.

— Хуже, дорогой полковник. Удар веслом, я — за бортом шхуны и двенадцать миль от берега. Подробности вас не утомят?

Бойль вдруг четко представил себя, одинокого, с залитым кровью лицом среди бесконечного ночного моря, и холодок пополз по его спине. Дерзость Хилла граничила с безумием. От имени Деникина и союзников он

сделал энергичные представления премьеру мусаватского правительства Хан-Хойскому: пора положить конец нелегальным морским экспедициям большевиков с нефтью. Надутый, как индюк, председатель Совета Министров заверил, что теперь и мышь без контроля его полиции не проскочит ни на одно судно, и поспешил лишний раз засвидетельствовать свое почтение доблестной Антанте и генералу — освободителю России. Но шхуны и киржимы, налитые нефтью, по-прежнему под носом одураченной мусаватской стражи уходили на Астрахань. Словно заговоренные, они незаметно проплывали рядом с крейсировавшими в море деникинскими канонерками и катерами.

Хилл снова бросил вызов судьбе. Между Биби-Эйбатом и Шихово он разыскал подозрительный парусник и неделю следил за ним. Спрятавшись в лодке с продырявленным днищем, брошенной поблизости от шхуны, Хилл услышал пароль, которым обменивались моряки и ходившие на парусник рабочие. Он принял облик нефтяника и, запасшись карманным фонарем, ступил на борт шхуны. При сгустившихся сумерках парусник поднял якорь. На палубе его для отвода глаз лежали дыни.

Джордж Хилл рассчитывал, что запомнит секретный маршрут нефтевозов, а, проходя мимо деникинских морских патрулей, подаст световой сигнал. Все было взвешено, учтено. Однако в самом начале пути его разоблачили, и детина-рулевой сбросил Хилла в море. Ему еще повезло, что моряки не знали, кто именно затесался в их группу. Холодная вода вернула сознание обмякшему от сильного удара Хиллу, а уверенность, что удача и на этот раз не покинет его, придала силы, погнала к далеким береговым огням.

О похождениях Хилла уже на службе у «Ройял-Детчшелла» Бойлю было известно. Капитан вместе с контрабандистами перебирался из Персии в Советский Азербайджан, под видом старьевщика обходил бакинские дворы и возвратился с багажом ценных бумаг. Рейс советского парохода «Полония» из Батума в Константинополь с первым грузом бакинского бензина и керосина застал его врасплох, и Хилл получил нагоняй от шефа. Зато, когда в Босфор входил танкер «Джорджиа», на борту которого находился управляющий «Азнефти» Александр Серебровский, капитан уже был начеку. За-

мешавшись среди турецких таможенников, он точно выяснил, сколько бочек машинного масла доставили большевики, какие итальянские и французские фирмы польстились на товары русских.

Инструкция сэра Генри была недвусмысленной: любой ценой сорвать экспорт красной России, «Ройял-Детчшеллу» вполне достаточно иметь на мировом рынке такого могущественного соперника, как американский «Стандарт-ойл». Детердингу отнюдь не улыбалось и то, что вырученные от продажи нефти деньги Советы собирались пустить на восстановление разрушенных промыслов. Запретить стоянку «Джорджии» в константинопольском порту Хиллу не удалось, но итальянский пароход, груженный бакинскими маслами, загорелся в пути.

Это было серьезное предупреждение неразборчивым покупателям.

Бойль захотел узнать подробности поездки Хилла на греческий остров Лемнос.

— Картина была удручающая,—насупился капитан.— Генералы Покровский и Кутепов в отчаянии метались по зловонным баракам, кричали, проклинали, грозили. Они формировали отряды для нового крестового похода, а Ленин сорвал их планы. Кто мог думать, что пять тысяч солдат бежавшей армии Врангеля клюнут на удочку большевиков и согласятся вернуться в Россию? Они с радостью подписали контракты на работу в «Азнефти».

— Мелочность и тупость рано или поздно наказываются, — вставил Бойль. — Наш либерал Ллойд-Джордж додумался держать эмигрантов за колючей проволокой лагерей!

— Близорукость обходится дорого, — согласился с полковником Хилл. — Но мне, как всегда, повезло и на Лемносе. Французы верно говорят, что судьба все устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует. На острове я встретил старого знакомого по деникинской контрразведке.

Полковник сделал выразительное движение рукой.

— Да, да, того самого, чью карточку вы видели, — опередил его вопрос Джордж Хилл.

— Что вы можете о нем сказать?

— Ротмистр Линевич — человек без предрассудков. Находчив, безжалостен, тверд. В его ненависти к Сове-

там сомневаться не приходится. Он сделал слишком много, чтобы рассчитывать у них на прощение. Ротмистр жаждал отомстить, и мы быстро нашли общий язык.

— Дальше...

— Ему удалось попасть в число пяти тысяч. В Баку Линевич еще по-настоящему не развернулся, но сумел проявить себя. Смело распоряжайтесь им...

На Карельском перешейке поезд остановился. Лондон долго слал им вдогонку нудный мелкий дождь, в Стокгольме было морозно, а к пограничному столбу Бойль шел, по колено проваливаясь в сугробах. Советский пограничный командир в островерхой буденовке и шинели с большими алыми петлицами-ромбами отдал полковнику честь и проводил его к жарко натопленному международному вагону, стоявшему по ту сторону границы.

Бойль обернулся. На пустынном финском вокзале вслед ему смотрел Джордж Хилл.

* * *

Нарком Красин удивил Бойля. Подтянутый, статный, он был модно и со вкусом одет, держался легко, свободно говорил по-английски.

— Рад видеть вас в Москве, дорогой полковник, — с обаятельной улыбкой сказал он. — Худой мир лучше доброй ссоры.

— Я всегда питал самые теплые чувства к России, — кивнул полковник.

— Мы с вами люди дела, и не будем говорить о бескорыстной любви. — Красин смотрел на него своими лучистыми серыми глазами.

Без хитростей и уверток он изложил советский проект. Правительство готово рассмотреть вопрос о сдаче отдельных нефтяных участков в концессию. Разумеется, на взаимно выгодных условиях. Иностранные компании будут иметь бесспорную прибыль. Они должны вести разведочное и глубокое бурение, оснащать промыслы современным оборудованием. Господин Бойль хочет уточнить, какие именно районы намечены предоставить концессионерам? Часть Биби-Эйбата... Возможно, Балаханы. В Грозном — участки вдоль реки Сунжи.

Бойль покачал головой:

— Господин Красин — опытный инженер. Он, говорят, долго жил в Баку, кажется, строил там электрические станции. Ему хорошо известно, что Биби-Эйбат и Балаханы — старые, малоперспективные площади. Туда пришлось бы вложить весьма крупные средства. Где гарантия, что они окупятся?

— Это зависит и от «Шелла». Вы могли бы, в пику «Стандарт-ойлу», блеснуть высокой организацией и технической культурой. Золотого дождя мы вам не обещаем, но умеренные прибыли обеспечены.

— У нас другие планы... — уклонился Бойль.

— Каким районом интересуется концерн?

— Прежде всего, Сураханами.

— Почитатели Заратустры тоже облюбовали Сураханы. Еще не так давно там жили огнепоклонники-индусы, они молились горящему газу. У Сураханов — прелюбопытное прошлое: на этой земле был построен первый в России керосиновый завод. Купец Кокорев, сбитый с толку немцами, вздумал получать фотоген из асфальта. И это на Апшероне с его богатейшими нефтяными колодцами! К счастью, Менделеев вразумил его.

Бойль слушал, не перебивая, а Красин уже увлеченно рассказывал о нефтяной лихорадке в Сураханах. Геологи представили Горному департаменту план сураханского нефтерайона, указали границы участков. Ожидали, что их сдадут в аренду с торгов. Но, «по высочайшему повелению», участки, без всяких отчислений казне, раздали придворным чинам, сановникам, генералам, а те перепродали землю нефтепромышленникам. Обер-егермейстер двора граф Голенищев-Кутузов умудрился взимать деньги за каждую десятину, да еще отхватил проценты с добычи.

— Как видите, старый режим был прогнивший, и революция оказалась неизбежной!

Красин говорил горячо и, обезоруженный, Бойль не сразу посмел возразить.

— Наш концерн быстро возродит Сураханы, обеспечит верный доход России, — заявил он.

— Похвальное намерение, но мы были бы плохими хозяевами, расставшись и на время с Сураханами. Согласитесь, — это самое молодое и самое богатое месторождение в Баку. Сураханские промыслы оснащены лучше остальных, — сочувственным тоном сказал Красин.

Обсуждая сроки сдачи промыслов в концессии, полковник напустил туману. Пять, десять, пятнадцать лет его не устраивали.

— Бессрочное пользование? — подался вперед Красин.

Бойль жестом выразил благородное негодование, — его не так поняли. Однако следует учесть, что Детердинг является законным владельцем акций ряда бакинских и грозненских промыслов. Он готов поступиться частью своих привилегий, но и Советское правительство пусть пойдет ему навстречу.

— Акции — сомнительное доказательство. Вольтер брался доказать и не такое. Он находил причину смерти короля Генриха IV в том, что некто, живший за сто лет до него в Индии, однажды поднялся с левой ноги. Мы не признаем прав бывших владельцев. Единственный владелец промыслов — народ. — Красин изящным жестом протянул гостю портсигар.

— Надеюсь, вы еще передумаете, — заметил Бойль.

— О Сураханах забудем, — твердо сказал Красин. — Срок сдачи участков в концессии, в любом случае, будет невелик.

Дальнейшие переговоры в наркомате не дали ничего нового. Бойль выразил пожелание выехать на Кавказ, чтобы на месте ознакомиться с расположением и состоянием промыслов, уточнить детали будущего договора в Совнаркоме Азербайджана и «Азнефти».

Красин не возражал:

— Мы дадим вам такую возможность.

...Спальный вагон, прицепленный в конце состава, сильно качало на перегонах. Прыгали бутылки содовой на полированном столике, стучали на полке чемоданы. В прямоугольнике окна дрожали темнеющие вдали леса, одетая в белую пелену степь, крытые соломой деревенские избы. Бойль ехал на юг по той самой дороге, что и поезд Коминтерна на ленте, показанной у Герберта Уэллса. Та же загадочная, окостеневшая, погрязшая в нищете и смуте Русь открывалась перед ним. Разве только вместо поддевок были овчинные тулупы, а лапти сменили валенки. На каком-то захолустном разъезде паровоз стоял три часа в ожидании дров. Полковник вышел

глотнуть свежего воздуха и попал в объятия пьяного мужика, уговаривавшего его задарма купить самогона.

Это, казалось, была знакомая лапотная, тараканья, обалдевшая от церковного перезвона Россия. Очень хотелось видеть ее именно такой. Но Бойль сознавал, что перед ним — другая страна. Уже дымили трубы заводов, оживали рудники и навстречу московскому поезду катили цистерны с жирными языками нефти на вздувшихся боках. Полковник имел точные сведения, — сормовские, петроградские, екатеринославские, харьковские, таганрогские заводы работают на Баку, Грозный и Майкоп, вновь действует керосинопровод Баку—Батуми, а на нефтяное топливо перешли линии Николаевской и Казанско-Златоустовской железных дорог.

— Раны заживают не сразу. Следов разрухи у нас еще много. Но падение добычи нефти на Апшероне прекратилось уже с октября, — говорил ему Красин. И Бойль не сомневался, что так оно и есть.

Концессиями их не задушишь... Детердинг прав, — нужно заставить большевиков вернуть нефтяную собственность подлинным владельцам. Несколько лет назад, продавая концерну свои бакинские акции, Лианозов* пытался убедить Бойля, что рано или поздно иностранным державам придется опять вмешаться в русские дела, как вмешался бы всякий, чтобы вылечить больного ребенка и научить его ходить. Чувства Лианозова понять нетрудно, но «ребенок» сам становится на ноги, и шаги его начинают пугать...

Зима оборвалась за Петровском, а в Баку было солнечно и тепло. Бойля поместили в гостинице «Новая Европа», в которой он останавливался лет восемь назад, представляя «Ройял-Детч-шелл» на съезде бакинских нефтепромышленников. Его наперебой приглашали тогда в свои особняки и дворцы Тагиев, Манташев, Лианозов, Нобель. Полковник вежливо отказывался, уверяя, что не хочет никого обидеть и вполне обойдется двухкомнатным номером с видом на бухту.

...Председатель Совнаркома Нариманов принимал Бойля в присутствии управляющего «Азнефти» Серебровского.

---

* Лианозов — один из крупнейших бакинских нефтепромышленников.

— Как житель дождливого Лондона, я завидую вам... Бронзовый загар лица в январе... — любезно сказал Бойль невысокому, медлительному в движениях человеку. А про себя отметил: синева под глазами, набухшие веки, слишком много работает.

— С чем пожаловал к нам английский гость? — спросил Нариманов, указывая полковнику на кресло.

— Мы готовы забыть былые недоразумения и обиды и протягиваем вам руку дружбы, — заявил Бойль.

— Наша Советская республика стремится жить в мире со всеми странами, — приветливо сказал Нариманов.

— Азербайджан будет получать отчисления с доходов концерна от концессий. Уважая ваш суверенитет, концессионеры, в свою очередь, желают быть самостоятельными в рамках промыслов.

— И вывозить нефть намерены сами?

Бойль ответил поклоном.

— Кто будет работать на взятых в аренду участках?— спросил председатель Совнаркома.

— Мы пришлем своих инженеров и техников. Рабочие, понятно, найдутся в Баку.

— Пойдет ли фирма на открытие школ и курсов для рабочих? Чтобы они изучали новую технику и технологию... — обратился к полковнику Серебровский.

Посланец Детердинга недовольно поднял брови:

— Этого нет в мировой практике.

— Государства рабочих и крестьян тоже не было прежде, — поправил полковника Нариманов.

— Наш концерн не занимается филантропией...

— В английской печати было сообщение, что вы намерены заключить договор только на девяносто девять лет. Это — не вымысел корреспондентов?

— Обычный, общепринятый срок, — подтвердил Бойль.

— Для колоний, да.

— Акционеры рассчитывают на возмещение убытков из-за национализации бакинских промыслов, — внушительно произнес полковник.

— Кровь, которую пролили наши люди по милости акционеров, не имеет цены, — тихо сказал Нариманов, и Бойль вспомнил, что его собеседник был одним из бакинских комиссаров, избежавший смерти в песках Закаспия лишь благодаря случайности.

— Вы принимаете все слишком близко к сердцу, но дело есть дело, — заметил англичанин.

— Поскольку речь зашла о материальных потерях, то и мы готовы предъявить претензии. Прямые убытки от оккупации англичанами Баку составляют 600 миллионов рублей золотом, — повысил голос Нариманов. — Разве вы не вывозили нефть, машины, продукты? Разве не угнали наши суда? Разве не английские офицеры и эксперты хозяйничали в наших банках?

— Но без концессий вам не подняться, — перевел разговор полковник,—у России нет ни технической базы, ни опытных кадров. Нэп, видимо, не от сладкой жизни?

— Ленин, и все мы вместе с ним верим, что из России нэповской будет Россия социалистическая!

— Факты, господин председатель, — упрямая вещь. У вас повсюду запустение, разруха.

— Нам есть на кого опереться. Вчера на механическом заводе в Сабунчах я говорил с молодыми инженерами и мастерами. Они приехали к нам из Петрограда. Мы ждем мастеров из Сормова, которые привезут станки для бурения, трубы.

— Возрождение промыслов из пепла мистер Бойль увидит сам, — разъяснил Серебровский. — Он, как мы условились, посетит нефтяные районы.

— Буду рад услышать о его впечатлениях, — поднялся из-за стола Нариманов.

...Этажом ниже полковника в «Новой Европе» жил американец Фрэнк Стоун. Несколько раз вечером Бойль стучал к нему в номер, но Стоуна не было.

— Они тут редко ночуют, все по промыслам ездят, — сказал англичанину портье.

Фрэнк Стоун был непоседлив, деятелен, неугомонен. Сверкая лаком, его новенький «Форд», доставленный в Баку прямо из США, днем и ночью носился по Сураханам, Забрату, Биби-Эйбату, Бинагадам. За полгода Фрэнк выучился говорить немного по-русски, немного по-азербайджански. Он обижался, если его величали господином. Портсигар американца был открыт для всех, Стоун часто брал с собой на промысла фотоаппарат, снимал тартальщиков и буровиков, никогда не забывая раздать фотокарточки.

Случайно попав в Сураханский рабочий клуб, он полез на сцену исполнять шуточный ковбойский танец, а

затем, под овации переполненного зала, сплясал «Камаринского».

— Буржуй, а здорово отчебучивает! — с явной симпатией говорили о нем нефтяники.

— Какой я капиталист?! — отмахивался Фрэнк. — У отца дырявая ферма в Техасе, я окончил колледж, был на разведке в горах, потом — работы нет, кризис...

— Кризис — скверная штука, — свидетельствовали прибывшие с ним мастера-американцы. В отличие от Стоуна, они чувствовали себя неловко, старались не попадаться людям на глаза.

Свой в доску. Рубаха-парень, — эта репутация утвердилась за инженером.

Фрэнк Стоун представлял в Баку «Барнсдальскую корпорацию». Фирма взяла у «Азнефти» подряд на бурение скважин вращательным способом и обязалась сдавать в эксплуатацию готовые буровые. «Форд» для личных нужд своего инженера компания выслала на Кавказ без задержки, а отправка бурильных станков и труб переносилась из месяца в месяц.

— Сам атакую их телеграммами. Ума не приложу, в чем загвоздка, — в тон возмущавшимся руководителям «Азнефти» говорил Стоун.

Безработица погнала мастеров-американцев из Калифорнии и Пенсильвании в далекий Азербайджан и, хотя им выплачивали за простой, они томились от вынужденного безделья. А Фрэнк Стоун жил двойной жизнью. Он был способным инженером и опытным, несмотря на свою молодость, разведчиком. Фрэнк по-своему любил воздух промыслов, и нефтяник порою брал в нем верх над агентом. Вряд ли на руку его хозяевам был тот порыв, с каким он ринулся спускать тяжелую обсадную колонну в глубокую скважину в Сураханах. Стоун применил там эффектный метод, разработанный американской фирмой и державшийся в строгом секрете. Другой раз, на его глазах, при смене ротора едва не произошла авария, и Фрэнк, став свидетелем усилий рабочих, не смог остаться равнодушным.

Однако эти короткие увлечения не мешали ему участвовать в комедии — саботаже, разыгрываемой корпорацией, и постепенно собирать информацию для своих хозяев.

С американцем Бойль столкнулся возле лифта. Не поднимаясь наверх, они прошли в ресторан. Зал был полупустой, плохенький оркестр играл попурри из венских оперетт, и, несмотря на раскатистый бас Фрэнка, иностранцы могли быть спокойны, что их не услышат.

— Покушаетесь на трон? — закуривая сигарету, небрежно спросил широкоплечий краснощекий Стоун худощавого сухого полковника.

— Не понимаю... — пожал плечами Бойль.

— Цитирую английский журнал: «Если нефть — королева, то Баку ее трон», — рассмеялся американец.

— Отрадно, что в этой обстановке вы сохранили юмор.

— Оптимизм я прихватил с собой из Штатов. Обошлось, представьте, без акклиматизации. Жара в Баку та же, что в Техасе, ветры, как в доброй Атлантике. У большевиков, простите, никакого этикета и церемоний. Страдаю только от того, что кончилось виски, — непринужденно выкладывал Стоун.

— И не тоскуете по Западу? — Бойль старался быть обходительным.

— Начинаю думать, что вы приехали на Кавказ ради меня. Дабы составить приятное общество, — весело сказал американец.

— Счел бы за честь, но мой вояж непродолжителен,— полковник сделал вид, что не замечает развязности Стоуна. Он был выше этого.

Бойль угостил инженера ароматной сигарой и заговорил о жокеях — победителях последнего дерби в Лондоне и подробностях трагической гибели молодого виконта — наследника крупного состояния, врезавшегося на своем спортивном самолете в заводскую трубу. Вскользь упомянув о недавней выставке мод, он нелестно отозвался о нравах послевоенной Европы.

— Почему же, бурлески и герлс, — не так плохо, — искренне заметил Фрэнк. — Я, признаться, томлюсь здесь... Вас, между прочим, не сопровождает пикантная секретарша?

Шокированный полковник поджал губу.

— Молчу, молчу... — усмехнулся Стоун. — Но, скажите, по совести, о чем вы договариваетесь с русскими?

После недолгой паузы Бойль вяло произнес:

— Хотим знать условия сдачи промыслов в концессии, и только.

— В общем, пожаловали инспектировать захапанную большевиками собственность, — подмигнул Бойлю инженер.

Беседа принимала неприятный для полковника оборот. Его всегда коробили манеры американцев. Пришлось отбросить деликатность:

— А вы, конечно, постарались нас опередить... — поморщился Бойль.

— Помилуй бог! Маленькая фирма, маленький подряд на бурение.

— У невинной овечки есть покровитель—волк. «Барнсдальская корпорация» — филиал «Стандарт-ойла», — бесстрастно сказал Бойль.

— Пусть так. Но мы — не чета «Шеллу», и ни на что не претендуем, — чуть сбавил тон Фрэнк.

— А восемьдесят процентов акций, купленных у Нобеля? — не отступал полковник.

— Вы заграбастали все девяносто — у Ротшильда. И прихватили заодно манташевские и лианозовские...

Бойль не остался в долгу. Он сознавал, что нелепо, смешно спорить с человеком, который всего лишь пружинка в гигантском механизме «Стандарт-ойла». Но вся желчь, накопившаяся в нем из-за постоянных каверз и подвохов, чинимых рокфеллеровским трестом, непроизвольно вылилась на Стоуна.

— Скажите, а зачем в девятнадцатом году сюда приезжал ваш соотечественник генерал Харборд? Председатель «АРА» Гувер, если не ошибаюсь, по профессии, горный инженер и вложил капитал в кавказскую нефть? Кто, ответьте мне, пробовал скупить здесь за бесценок сто тысяч тонн нефти? А в Шуше американцы любовались альпийскими лугами и целебными источниками? От скуки хотели прошлой зимой взять концессию на все резервуары в Батуме?!

— Хватит! — добродушно протянул Стоун, разливая вино в бокалы. — Лучше выпьем за нашу солидарность.

— Поддерживаю ваш тост. — Бойль шел на мировую.

После третьего бокала Фрэнк пристально взглянул на англичанина:

— На кой черт я вам сдался, полковник? Намерены просить, чтобы я не усердствовал с вращательным бурением?

Бойль усмехнулся:

— Вы не станете спешить и без моих пожеланий.

— Тогда зачем же?

— Конкурентами мы останемся, будем сталкиваться на мировом рынке, но здесь у нас — общие интересы. Чтобы согнуть в бараний рог большевиков, нужно действовать вместе, — убежденно сказал Бойль.

— Точнее!

— С эсерами у вас отличные отношения. Подключите их к нашим людям...

Американец не спешил с ответом, он смотрел на свет сквозь янтарь налитого бокала.

* * *

Комендант общежития для одиночек в Раманах начинал свой день с просмотра газет. Пробежав глазами первые страницы, он упивался последней:

— Еще один умер на трудовом посту, — делился он с уборщицей новостями, почерпнутыми среди объявлений.

— Слышь, Афанасьевна, постоялый двор «Ханум» открылся. Оборудован просторными и чистыми конюшнями. Своих орловских рысаков туда не поставишь?

— А в «Бани московские» не желаешь? Цены, пишут, ниже всех, поступили свежие веники.

— Или вот в «Ампире» идет салонно-трюковой фильм «Авантюристка из Монте-Карло».

Афанасьевна дулась: «Будет вам смеяться», а комендант уже про себя читал остальные объявления. Загнанное в угол, набранное мелким убористым шрифтом сообщение заинтересовало его: «По случаю продается несгораемый французский шкаф с секретным четырехалфавитным замком. Видеть с 7 до 8».

Комендант, конечно, не собирался покупать для общежития несгораемую кассу, — она заняла бы всю каморку-контору. Объявление о продаже сейфа означало, что важный гость-иностранец, о котором был ранее предупрежден комендант, появится в Раманах седьмого или восьмого января.

— Пыль с потолка не забудь смахнуть, Афанасьевна! — закрывая с улицы дверь, крикнул комендант.

Одетый в потрепанную, из грубого сукна шинель, нахлобучив на лоб потертую, с коротким глянцевым козырьком фуражку, он внешне ничем не отличался от общей массы бурильщиков, масленщиков, монтеров. На работу в общежитие его послали потому, что рана в ноге мешала стоять у скважин. Никто в Раманах не знал, что помилованный Советской властью бывший солдат-врангелевец Бабанов в действительности был ротмистром Линевичем.

Слегка припадая на левую ногу, комендант шел посредине шоссе к промысловому управлению: он хотел выбрать надежное место для встречи с гостем, обдумывал, как устроить разговор наедине.

— Матвей Федорович, наше вам с кисточкой, — поздоровался с ним на повороте дороги слесарь насосной станции. — Поздравь, брат, второй ствол очистили. Чего они, окаянные, туда только не понабросали...

Бабанов сочувственно поохал и попрощался с рабочим. «Мертвая» скважина была на его счету: как-то ночью он вывел ее из строя. Комендант сделал это на свой страх и риск. Зарубежные хозяева Бабанова очень редко беспокоили его, берегли для большего.

Человек, с которым Бабанов обычно держал связь, жил и работал возле бульвара, но подавал о себе вести лишь через газету. Всего два раза встречался с ним комендант. Не одна осторожность удерживала Бабанова от частых поездок в город, — бухта, фиолетово-желтый мыс, гладь моря поднимали в нем острую, мучительную боль. Каспий, распростертый под безоблачным голубым небом, напоминал Эгейское море, а Наргин и Песчаный вызывали в памяти островки, окружавшие Лемнос.

...Потомственный дворянин, некогда блестящий гвардейский офицер, он до крови стер себе руки, работая на каменоломнях, был ночным сторожем в порту Мудроса, охранял корзины с виноградом и оливками. От осколка, сидевшего в ступне, распухала нога и, простояв девять часов в сторожевой будке, он утром, обессиленный, добирался до койки, снятой в чужом, пахнущем сыростью доме. Изумрудные шелковистые холмы и дымчатые причудливые скалы, грядой уходившие в лазурное море, были не для него.

И все же это было лучше, чем жидкая похлебка в ржавых котелках и вонючие нары в лагерях для солдат, бежавших из Крыма. Линевич ненавидел всех, — рыбаков, с песней подымавших паруса, смуглых коренастых гречанок, соливших маслины, генералов, клявшихся, что они поведут доблестные войска освобождать священную отчизну. Больше всех он ненавидел коммунистов. Само провидение столкнуло его с Джорджем Хиллом.

В Батуме ротмистр чудом избежал провала. Его опознал солдат, которого в Джанкое почему-то вызывали на допрос в комендатуру Врангеля. Произошло это, когда они сходили по трапу. Линевич бесшумно последовал за солдатом, в темноте ударил его камнем в затылок и сбросил с набережной. Убийцу в порту не искали: решили, что солдат был пьян и, упав в воду, расшибся о гранитные плиты.

...Иностранец приехал в Раманы во второй половине дня. Он заглянул в ближайшую котельную и мастерскую, постоял на буровой площадке, где железная штанга-игла медленно долбила землю.

— Старинная башня вас интересует? — будто между прочим спросил Бабанов, показывая рукой на полуразрушенный каменный бастион.

Бойль оживился:

— О, да, замечательная башня. Памятник средневековья? Древние века? — Он узнал Линевича, — оригинал немногим отличался от фотографии.

— Желаете осмотреть ее внутри? — предложил комендант и стал взбираться на горку. Полковник, в молодости увлекавшийся альпинизмом, опередил его. Переводчик нерешительно сделал шаг в сторону Бойля, но тот дружески улыбнулся: стоит ли еще одному немолодому человеку карабкаться по крутому склону...

Наверху не было ни души. Высокие толстые стены скрыли Бабанова и Бойля от посторонних глаз.

— Я вас слушаю,—по-французски сказал ротмистр.— Извините за столь экзотическое место свидания.

Бойль неплохо владел французским:

— Вам доставят деньги, взрывчатку, запалы... Отдельные случайные диверсии отставьте! Готовьтесь к массовым взрывам и пожарам. Свяжитесь с эсерами и мусаватистами. Дату выступления сообщит знакомый

вам санитарный врач. Он приедет проверять состояние общежития.

— Хаос, хаос и снова хаос — вот что нам нужно в Баку. Весь мир, все население России должны осознать, к чему ведет революция! Пускай убедятся, что большевики не способны управлять и строить. Внешнюю блокаду нужно подкрепить блокадой изнутри, — торопливо объяснял полковник.

Он успел назвать Бабанову имена Татевосова и Алибекова.

ГЛАВА IV

Улица дохнула в лицо туманом, на углах, окруженные рассеянным ореолом, светились фонари. В такую рань тоскливо идти одной, не узнавая в серой мгле никого и ничего вокруг. Условились, что Юсиф подождет ее на углу, а он подвел.

Ушел, не дождался... Воздушные замки строит, мечтатель! Забыл обо всем на свете... Или характер показывает? Ну и пусть! Фатьма старалась думать о субботнике, но мысли возвращались к Юсифу. Шла неторопливо, отбрасывая носком туфли камешек. Выросли они с Юсифом вместе... А близкий сосед, говорят, что родной человек. Сколько она помнит себя, столько помнит и Юсифа. Наверное, он привык к ней, и только.

Ближе к райкому туманом прибило пыль, начали таять предутренние сумерки.

— Опять, черноглазая, с непокрытой головой явилась. Затянет косу в мотор, лысой будешь! — крикнули ей.

— У меня глаза на макушке, замечу, — отозвалась Фатьма.

Райкомовский секретарь разбивал комсомольцев на группы. Задержав свой взгляд на Фатьме, недовольно сказал:

— Вроде рабочая кость, а тонкая ты и хрупкая...

Но железный лом ей все-таки дал:

— Валяй с ребятами заборы снимать.

Мальчишки откровенно сияли, и от волнения переминались с ноги на ногу. Они впервые вышли на суб-

ботник. Тут были люди, которые годились Фатьме и в деды, были и щуплые безусые юнцы.

Фатьма крепко, словно винтовку, сжимала лом, который больно давил ключицу.

Взмыли над рядами лозунги и транспаранты, четко скандируя, повторяли комсомольцы: «Бить разруху должен каждый, в ком горит победы жажда!».

С плаката, нарисованного тушью, на Фатьму смотрел мускулистый рабочий-великан, поднимавший над землей вышку и завод. Ему это было нипочем, а у Фатьмы уже ныло плечо.

Длинными цепочками растягивались по промыслам отряды добровольцев. Это был тот же фронт, хотя над бойцами не рвались снаряды и не свистели пули. Кочегарки, которые еще не дымили, компрессорные станции, разбитые параличом, нефтепроводы, покрытые глиной и песком, опрокинутые резервуары ждали участников аврала.

Напрасно переживала Фатьма, что ей досталась легкая работа. Местами заборы были разобраны, кое-где в них зияли бреши. Но чаще всего, они редутами тянулись среди промыслов, закрывая подходы к вышкам. Сложенная из камня, затянутая бетоном, ограда держалась крепко. Фатьма старалась не смотреть на свои покрытые волдырями ладони.

Лом со звоном ударился о что-то твердое. К ногам Фатьмы упала серебряная пластинка.

«Сураханский нефтяной участок фон-Гарбера. Личная собственность», — прочла она.

Табличка переходила из рук в руки.

— Увековечить себя хотел. Думал, из рода в род его владения переходить будут, — оживленно заговорили парни.

— Богачи и на верхушках труб свои имена писали. Чтобы издали видели, чья котельная, чей промысел... — сказала Фатьма.

И стала перебирать в уме прежних сураханских владельцев: Каспийско-Черноморское общество и Каспийское товарищество, Баку-Тифлисский участок и русское товарищество «Нефть», общество «Сураханы», участки братьев Нобель, наследников Рыльских, Махмурова, Асадуллаева, Меликова, Мирзоева... Насчитала пятнадцать, и не была уверена, что припомнила всех. А теперь хо-

зяин один — народ. Обидно, что этого не хочет понять отец — Ага Салим.

Ради отца живет она в родном, но опостылевшем из-за Аждара доме. Любя отца, закрывает глаза на делишки брата и его дружков. Звали же ее девчата в общежитие...

Послушать Юсифа, так все на свете ясно: кто с нами, тот друг, кто против — враг. А как же быть с Ага Салимом? Редко бывает он доволен новой властью, все чаще клянет ее. Лишний час не поработает, — сердится: «Кричат, что дали свободу, а зачем тартальщика обирают?».

Фатьма хочет стать учительницей, воспитывать людей, а велико ли ее влияние на отца, — сумеет ли она его вывести на свет?!

— Чем занимаетесь, молодежь?! — К Фатьме подошел долговязый, с копной нечесаных волос счетовод. — Камешки, забавы ради, сбиваете? Римляне стены Карфагена сокрушали! Фригийские колпаки Бастилию штурмовали... А вы с забором возитесь.

— Пустяки, говорите, забава? Нет, товарищ, снять эти стены поважнее, чем потрясти Бастилию, — услышала Фатьма знакомый голос.

— Сергей Миронович! — воскликнула она.

— Здорово, ребята! — весело сказал Киров. — В свою честную компанию меня возьмете?

Пожал всем руки, взял у Фатьмы лом, и край стены, над которым она билась с час, полетел вниз.

Киров подобрал с земли камешки-осколки, подкинул на своей ладони:

— Штурмовал народ Бастилию (и что же!), одни эксплуататоры сменили других. А стенам, которые мы снимем, никогда уже не подняться среди промыслов. На веки вечные здесь править рабочему человеку!

Человек, как человек, самый обыкновенный, ростом не вышел, пожалуй, слишком широк в плечах и поясе, совсем не похож на атлета — пролетария с плаката. А стоило ему скинуть брезентовый плащ, и бетонная стена будто сделалась податливее. Где уж ей, Фатьме, было поспеть за Кировым?..

— Точный у вас глаз, Сергей Миронович! — восхитился один из парней.

— На Эльбрусе выучился. Был молодым, экспедицию вел. А там без ледоруба пропадешь... — Киров поднял плащ, стряхнул с него каменную пыль.

Киров поспевал всюду. Вместе с плотниками тянул старый чан, помогал масленщикам выкапывать трубы, менял в кочегарке котел. Сверкали белки глаз на черном от сажи лице, надувалась на ветру холщевая, с застиранными пятнами рубаха.

Вокруг покосившейся вышки сновали люди. Разбирали доски, грузили на дроги мешки с цементом.

— Восьмая скважина? Ликвидируете?—спросил Алибекова Киров.

— Полгода возились. Обвалы, каверна...

— Что, бурильный станок подвел?

— Трудно сказать, — уклончиво ответил Алибеков.— Заключение комиссии, приказ по «Азнефти»...

— А ваше мнение?

— Возможно, мы поспешили.

— Кто входил в комиссию?

— Акт подписал и я. Бестактно противопоставлять себя коллегам.

— О такте думали и поступили беспринципно. — Взгляд Кирова был жестким.

Аслан Алиевич не стал оправдываться и обещать, что учтет ошибки. Он хотел быть откровенным до конца. И в готовности столкнуть лбами его и инакомыслящих интеллигентов, и в фанатичной непримиримости большевиков ко всем другим партиям, и в безжалостном отношении к тем, кто был «всем и стал ничем» он видел звенья одной цепи. От разговоров на эту тему Алибеков уходил, встречаясь со старыми и новыми друзьями, но Кирову должен был все сказать начистоту:

— Я понимаю, была революция, кровопролития, экспроприация, жестокость... Война кончилась, — у вас добрые и светлые идеалы. Но почему вы не проявите великодушия к поверженным? Кара за зло — то же самое зло. Я слышал, что в эмиграции бедствуют люди, на чьи деньги были созданы эти промыслы. Азчека выслала из Баку акционера Салаева, и он, известный в прошлом благотворитель, умер в Твери под забором. Это не вяжется с гуманизмом. Отдайте бывшим промышленни-

кам хотя бы малую компенсацию за собственность, которой их лишили.

Киров слушал внимательно, не перебивая, только резче обозначились складки на лбу:

— Когда мусаватисты бежали из Баку, в банках и кассах оставалось всего 80 тысяч рублей. Ваши подзащитные ушли не с пустыми руками. И прихватили с собой не свое, награбленное. Напоминаете о гуманизме... Наши рабочие пока еще волокут бревна под «Дубинушку», живут на осьмушке хлеба и тухлой селедке, а вы хотите последнее вырвать у них изо рта и отдать «страдающим» богатеям! Я думал, что порвав со старым, вы смотрите глубже, товарищ главный инженер.

— Как волка ни корми, все в лес смотрит... — В голосе Алибекова была и легкая ирония, и затаенная грусть.

— Волк? Наговариваете на себя. Заблудшая овца? Тоже нет. Я уверен, что вы честный и сильный человек, и пойдете с нами и дальше.

Алибеков молчал, а Сергея Мироновича уже окружили заводские рабочие, разбиравшие старую воздушную магистраль. Они обижались на промысловиков: выделили им маловажный участок. Киров посмеивался и обещал наказать «виновных».

...На 19-й буровой Сергей Миронович приветливо обнял Кудрата, — бурильщик двумя руками держал тормозную ручку лебедки: шел подъем труб.

— Ходят слухи, что Аслан Алиевич тебя по технике натаскивает. Ну, а ты его политграмоте подучи. Услуга за услугу. Заметано?

Вытянутые из глубины, свинченные в огромный макарон трубы встали в углу буровой.

— А-ну, взяли! — подбадривал рабочих плечистый, с оспинками на лице ключник.

Труба вздрогнула, медленно пошла вокруг оси, обнажая спирали резьбы.

— Гляди, Мироныч, какие у нас ключи! — меченый оспинками бурильщик дал Кирову согнутый, со ржавой цепью инструмент.

— Новенькие, американские, вон, в ящиках лежат, — сказал Кудрат. — Надула нас фирма «Люсей», бракованные прислала.

— А правду говорят, Мироныч, что ты на промыслах работал? — спросил Кирова пожилой слесарь.

— Брехня. Но чуть было приказчиком у Нобеля не стал. Такое было...

И Киров рассказал, как тринадцать лет назад, скрываясь от полиции, попал в Грозный. За городом — зеленые рощи, луга, а промыслы — страшные и грязные, словно живодерни. Травинка нигде не пробьется, — черной коростой обросла земля.

В конторе фирмы «Русский стандарт» его встретили недоверчиво:

— Казанское механо-техническое училище кончали? На промысле не работали? Возьмем в чертежники с испытательным сроком.

Киров заглянул в отгороженный фанерой закуток, где, посасывая монпансье, сидели за доской старичок и лопоухий недоучка-гимназист:

— Мне бы работу поживее, чтобы среди людей быть,— сказал он управляющему.

Тот опасливо покосился на незнакомца:

— Больше ничего предложить не имеем.

В отделении «Товарищества бр. Нобель» его приняли охотно:

— Авторитетное училище... У нас есть вакансия. Зачисляем приказчиком на промысел.

Киров в душе рассмеялся: в начальники берут. Зато с рабочими он будет общаться, сколотит актив. Для вида задумался, осведомился о жалованьи и казенной квартире, и небрежно бросил:

— Ну, я не против...

Однако ему не суждено было стать нефтяником. Кончая беседу, управляющий вспомнил:

— Зарегистрируйтесь в полиции. Таков порядок.

Пришлось уезжать из Грозного.

— Все равно, Мироныч, ты всамделишный нефтяник. Диплом имеешь, а практику в Баку получил, — утешили его бурильщики.

Избегал встречи с Кировым лишь буровой мастер. Он умышленно не выходил из камышового сарая, примыкавшего к вышке. Сергей Миронович застал его за разбором бумаг. Увидев секретаря ЦК, швед нехотя поднялся, поправил фланелевую блузу и стал ждать, когда ему зададут вопросы.

— Вы, кажется, служили у Бенкендорфа? — спросил Киров.

— Абсолютно точно. Девять лет и три месяца, — прошепелявил мастер.

— Говорят, вы опытный проходчик. А дела почему не блестящие?

— Я подавал докладную.

— А если без докладной? О людях расскажите, — кто душой болеет, кто баклуши бьет.

Мастер выделил Кудрата Ахмедова, фамилии остальных он не помнил. Если гражданину секретарю угодно, то он пройдет с ним на площадку и покажет усердных и ленивых рабочих.

Киров сложил руки на груди, — его и раздражал, и забавлял этот идеально вышколенный чиновник.

— Уверены, что доведете скважину до конца?

— Совсем нет, — ответил швед.

Продолжать разговор было бессмысленно. Напрасно Алибеков, едва они вышли из сарая, стал убеждать Кирова, что мастер весьма сведущ в бурении и пока что незаменим, — Сергею Мироновичу было ясно, — с таким настроением недра не покоришь. Есть долото, которое окрестили «рыбьим хвостом», но иметь рыбью кровь командиру ударной артели нельзя.

* * *

Уж, конечно, не его, а Павла, который обещал приехать на субботник, искала возле райкома Фатьма. Пашка ростом выше Юсифа, у него светлые глаза и, как говорят девчата, волосы цвета льна. Юсиф никогда не видел лен, но, должно быть, он очень красив.

Хоть бы Аждар солгал, что Павел и Фатьма гуляли вместе и он целовал ее! Если бы... Аждар — дрянь-человек, однако он суеверен и побоялся бы врать, поклявшись именем пророка. Что нашептывал ему брат Фатьмы?.. «Пашка — твой заклятый враг, ты не киши, не мужчина, если простишь оскорбление».

Дурак Аждар, лоб на два пальца, куриный ум! Против своего друга Юсиф не затаит зла.

Он, Юсиф, будет избегать Фатьмы, и все. Стыдно ревновать, не по-комсомольски это. На собрании ребята шумели, что ревность придумали буржуи, от безделья.

А он, комсомолец, рабочий, сын партийца, выходит, не лучше буржуев. Он должен думать о буровой, где чуть не прихватило инструмент, о моторе, который чистит на субботнике, а в голове носятся глупые мысли.

— Юсиф! Наконец-то нашла тебя, — окликнула его Фатьма. В сердце кольнуло, но Юсиф не поднял глаз:

— Зачем искала?

— Кирка согнулась. Где могут починить? — Она сказала первое, что взбрело на ум.

— Не знаю, — отрезал Юсиф.

— На сердитых воду возят!

Когда Фатьма скрылась за вышками, ему стало горше прежнего. Кому он мстит, — девушке? Или самому себе?

Голоса рабочих, бежавших к старому, прикрытому досками колодцу, отвлекли Юсифа от горьких дум.

— Сюда они, шакалы, кидали насосы, — говорил собравшимся сторож. Он услышал о субботнике и поднялся с постели, чтобы показать нефтяникам колодец-клад. Своими глазами видел старик, как мусаватисты в апреле двадцатого года разоряли склады и кидали машины в воду.

Подошел кран. Крюк ударился в глубине о металл и выполз без груза.

Юсиф ощупал глазами стенки колодца, разглядел каменные уступы и редкие железные скобы:

— Обвяжите меня веревкой!

— Рехнулся парень, — в холодную воду нырять?! — свистнул механик.

А руки Юсифа уже тянулись к веревке.

Внутри колодца камни выступали так же, как на стенах Девичьей башни. Юсифу как-то показали на улице смельчака, который спустился по ним с макушки башни. Человек щегольнул своей ловкостью и удальством. Юсиф не отважился бы добраться и до середины башни. Что же толкнуло его полезть в темный и душный колодец? Желание, чтобы о его поступке услышала Фатьма, или тревога за буровую? Он и сам точно не знал.

Из кармана выпал перочинный нож, плюхнулся в воду и брызги коснулись лица. Еще одна-две ступеньки вниз, и он обвяжет тросом насос, подтянет крюк.

...Вода достала до ботинок, лизнула пальцы ног. А Юсиф все спускался, чтобы поддеть тросом насос.

Уже окоченев, он дернул за веревку. Проплыла громада насоса, закрывая круг света над головой. Ботинки отяжелели, подошвы съезжали с узких, покатых ступеней. Еще один выступ, еще немного... — взбадривал себя Юсиф. Свет ударил в лицо, словно бы согрел руки, тело. А знакомые и незнакомые люди обнимали, мутузили его.

Механик повел Юсифа сушиться в кочегарку. По дороге они встретили Кирова. Сергей Миронович узнал Юсифа, — память у него была цепкая:

— Сын Кудрата? С чего это выкупался?

— В колодец за насосами нырял, — сказал механик.

— А сын в отца! — Киров потрепал Юсифа по плечу и, сняв с руки часы, протянул их ему: «Держи, вместо премии...».

Юсиф просиял, залюбовался циферблатом и бегом секундной стрелки, и вдруг тень прошла по его лицу:

— Недостоин я премии, Сергей Миронович.

— Почему? — Взгляд Кирова был с хитрецой.

— Ради девушки полез я в колодец, не ради артели. Хотел, чтобы она узнала, какой я, — признался Юсиф.

Киров сощурил глаза, сжал в кулак руку Юсифа:

— Чтобы девчат поразить, я, брат, с утеса в речку прыгал. Премии не хочешь, бери от меня в подарок.

В гараже был техосмотр, и Павел опоздал на субботник. Юсифа он нашел у полуразрушенной котельни.

— Правду скажи, ты с Фатьмой гулял? — ошарашил его тот.

Павел помедлил с ответом:

— Ну, прошелся вечером с ней... Все.

— Я люблю ее, понял?! А ты?

— И мне она нравится.

— Лучше скажем ей об этом прямо, ты и я. Пусть выбирает... — взволнованно сказал Юсиф.

— Глупо это...

— Тогда давай оба к ней не подходить.

— Поживем — увидим. — Павел пошел дальше.

— Эй, шофер, подвези! — позвали его из компрессорной. Стоявший в дверях Сурен был в восторге от своей шутки.

В темной, несмотря на остекленную крышу, компрессорной, высились машины с колесами в человеческий

рост, на цементном полу горбились скелеты разобранных механизмов.

— Вроде, Григория Петровича сын? Давненько тебя не примечал. — Масленщик сшивал ремень трансмиссии.

— Помогать будешь, паря, иль добра пожелать хочешь? — уставился на него машинист.

— Работать пришел.

— Ишь, какой шустрый, — покачал головой масленщик.

А машинист одобрил:

— Рабочего человека к рабочим и тянет. Берись за крепление «Отто-Дейца». На пару с Суреном... Уговор такой: до вечера от двигателя — ни на шаг.

Павел знал, почему к нему относятся с холодком. Когда умер отец, работавший механиком на станции, компрессорщики пришли к Павлу домой. «Мертвого не воскресишь, путался человек, заблудился. Пора о тебе подумать», — сказали они Павлу. Сообщили, как о деле решенном, что он будет у них машинистом, благо, в технике он подкован.

Уходя, положили на стол собранные вскладчину деньги, а Павел сгоряча бросился на улицу, догнал рабочих и вернул скомканные бумажки.

— Мы от чистого сердца, а ты... Эх, дурень-дурнем, — махнул рукой масленщик.

С тех пор Павел ни разу не переступал порога станции.

Сурен мало что смыслил в машинах (он был стрелком внутренней промысловой охраны), но характером обладал упрямым. Он делал все, что велел Павел, усердствуя, сопел, изо всех сил закручивал тугие гайки.

— Смотри сюда. Под станиной нашел... Узнаешь? — Сурен протянул Павлу желтый, с изодранными краями листок. Это было обращение Бакинского Комитета партии, призывавшее рабочих ко всеобщей забастовке. Павел пробежал листовку глазами: «Мы требуем отправки бензина в Астрахань...». В мае девятнадцатого года он, Сурен, Юсиф, другие ребята из Союза молодежи, прячась от мусаватской полиции, распространяли прокламации среди нефтяников. Ночью они закладывали пачки листовок в шкивы моторов, и стоило утром включить

трансмиссии в компрессорных и механических мастерских, как бумага веером разлеталась в стороны.

...В седьмом часу вечера закрывали компрессорную. Старший машинист был доволен Павлом и на прощанье сказал: «Кто старое помянет, тому глаз вон...».

— Надоест автомобиль, валяй к нам, — добавил он. — Место на станции всегда найдется.

Сурен жалел, что ему скоро заступать на пост, он хотел зайти к Лиде, которую давно не видел.

Возле насосной они нагнали Фатьму.

— Нам по пути, — вяло кивнула она.

Шли молча, каждый думал о своем. Накрапывал дождь, и Павел ежился от сырости. Он был удручен размолвкой с Юсифом. Фатьма продрогла, — мокрый ветер забивался за воротник, но она загадала, чтобы мелкая морось превратилась в ливень, — сильный поток все уносит на своем пути, и после него воздух чистый и свежий. Сурен вздыхал о Лиде, которая не замечала его, и убеждал себя, что добьется ее расположения: капля камень долбит.

...Еще не были зажжены фонари, и на дорогах и улицах, тянувшихся от промыслов к поселку, в темноте попыхивали оранжевые и светлокрасные точечки огней: рабочие, возвращаясь с субботника, докуривали последние папиросы аврального пайка.

ГЛАВА V

Полночи он мотался с Татевосовым по промыслам, а утром получил отгул. Солнце врывалось в окна, было не до сна, и Павел вышел на улицу. Беспризорники грачами облепили «Тейяре», усевшись на тротуаре, жевали жмых. Женщина в косынке и распахнутом ватнике наклеивала газету. Под снимком шахты, пущенной в Донбассе, была заметка о пребывании в Баку англичан — соискателей концессий. Павел вспомнил митинг в Сураханах, где рабочие выступали против концессий, и ему стало не по себе. Почему капиталистов готовы пустить на промыслы?

Юсифу жить проще: его не смущают ни концессии, ни нэп, он слепо предан идее и очередной резолюции.

Не путается в противоречиях, не ищет ответа на тревожные мысли. А Павел задает себе все больше вопросов... Можно ли ждать мировую революцию и спокойно торговать с буржуазией, урезать рабочий паек и открывать частные гостиницы, магазины, мастерские? Еще висит лозунг: «Кто не работает, тот не ест!», а паразиты чувствуют себя вольготно, развратничают, спекулируют, сорят деньгами. Верно, они — накипь, отрыжка прошлого, однако Павлу показывали инспектора-коммуниста, который берет взятки. Хапуга с партбилетом в кармане пригрозил Павлу: «Держи язык за зубами, поверят не тебе, сосунку, а мне»... Бывает, нэпманы останавливают автомобиль, просят подвезти, дразнят бонами и серебром. Сколько раз, захлопнув дверцу, он слышал презрительное: «Идейный»... Иногда Павлу трудно удержаться от соблазна — надоело глотать слюнки у расцвеченных витрин и стирать вечерами одну и ту же рубаху, неделями одалживать деньги на папиросы и кино. Он удрал из Сураханов от сестры. С глаз долой, из сердца вон! — слишком много огорчений она ему доставила. Похоронив отца, Павел сказал ей: «буду тебе и братом, и отцом». Потрясенная горем, Лида промолчала. Павел допоздна работал в гараже, слесарничал, водил грузовик, приносил зарплату и паек нетронутыми. Сестра хныкала, что им не хватает, и потихоньку распродавала отцовские вещи. Павел просил ее не трогать карманные часы, которые любил отец, и книги. Но вскоре исчезли часы, поредели ряды книг. Зато у Лиды появились кофточки и лаковые туфли.

— Хочешь, чтоб я пошла работать? — скривила она губы.

Павел поговорил с Кудратом, и сосед подыскал для нее место.

— Быть весовщицей в трубном цехе? Черная работа... — отказалась Лида.

По утрам она валялась в постели, часами сидела у зеркала, изредка убирала комнату.

— И тебе не тошно от этой жизни? — негодовал Павел.

В доме не было ни гроша, паек они проели, и Лида сговорилась с мешочниками, что он подбросит им груз в Баладжары. Сестра обманула его:

— Эти люди знали отца. Я обещала им помочь, товар государственный, ну, что тебе стоит?! — упрашивала она.

В машину к Павлу сел партиец, завел речь об ударном аврале. А на станции партиец и какие-то типы быстро разгрузили машину, и Павел заподозрил неладное. Вернувшись домой, увидел на кухне горку пшена, бутылку масла, и все стало ясно.

— Как ты пошла на это?!

Лида заплакала и, размазывая слезы, обвинила его в бессердечии и эгоизме.

Рванув дверь, он направился в милицию. Прошел полдороги и заколебался. Если он расскажет о том, как было, то арестуют и Лиду. Время суровое, — снисхождения ей не ждать. У него нет матери, нет отца, теперь он лишится и сестры. А он у гроба отца поклялся беречь ее... Всю ночь Павел бродил, как неприкаянный, а чуть свет разыскал партийца и швырнул ему масло, крупу. «Держи язык за зубами, поверят не тебе, сосунку, а мне!» — это он услышал в тот день.

Павел возненавидел Лиду, проклинал свою слабость.

От Кудрата, как ни занят он был, не укрылась перемена в Павле.

— Что-то заскучал ты в Сураханах, сынок. Переводись в «Азнефть», там на легковые машины шоферов набирают, — посоветовал он.

На расстоянии от сестры Павел поостыл, обвыкся в шоферском общежитии и на душе полегчало. Ему сказали, что Лида устроилась машинисткой в управление сураханских промыслов, и Павел изредка навещал ее.

...Прочитав газету, он погулял по Ольгинской, постоял у закрытого ломбарда и свернул к бирже труда. Больно было видеть очередь, застывшую у стены угрюмого дома.

— Павлик! — услышал он голос Лиды. Сестра заспешила к нему навстречу, поправляя на ходу шляпу.

— Устала, продрогла, ноги — не мои, — пожаловалась она.

На углу гудел примус, опаляя огненной короной жаровню, в ней прыгали и трещали каштаны.

— Кишмиш, курага, жареные каштаны! — выкрикивал продавец.

От получки еще оставались деньги, и Павел взял кулек черных, обжигающих руки каштан. Они пахли дымом и золой.

— Ну, вот, и ты таскаешь для меня каштаны из огня! — засмеялась Лида.

В растворе рядом была пирожковая. Толстый, розовощекий хозяин приветливо встречал посетителей.

— Очередь еле движется, я успею...—Откусывая пирожок с рисом, Лида опустилась на стул.

— Интересуешься, зачем я на бирже? — Она подняла глаза. — Осточертели Сураханы, хочу работать в городе. Но шансов устроиться мало...

Голодная, она уминала пирожки и каштаны вперемежку, дула на пальцы, рассеянно скользила взглядом по столикам, буфетной стойке, массивным бра.

— А жить где будешь? — Павел испытывал раздражение и жалость к сестре.

— Сниму угол, а там — выйду замуж.

— Кого-нибудь полюбила?

— Не все ли равно?! — Она отодвинула пустую тарелку.

— Сураханы не бросай. Останешься без крыши, пропадешь!

— Ушел из дома и поучаешь меня?! — Лида облокотилась о стол.

— Я бы вернулся, зная, что прежнее не повторится...

— Обойдусь. Ты же чистенький, сознательный, образцовый! А я предпочитаю жить, не надрываться и страдать, а жить! — Она с торжеством заговорила о безработице, растратах, подпольных притонах.

— Умей видеть и светлое! — перебил ее Павел.

— Грязь, кругом грязь! Только ты умудряешься ее не замечать.

Он пытался возражать, но Лида прикрыла рукой зевок: «Так я и очередь потеряю...» Она засеменила к бирже, а Павел припомнил, что в проходном дворе у банка торгуют самогоном, — шофера не раз звали его туда. Захотелось напиться до бесчувствия, забыть обо всем на свете. Пальцы нащупали в кармане сотенки, которые он обещал возвратить завгару. «Попрошу отсрочки», — решил он.

На другой день от выпитого у него долго трещала голова. Хорошо, что шофера были в разъезде, и он смог

отоспаться в общежитии. Дал себе зарок больше не пить и вообще пореже выходить в центр, где так бросаются в глаза лицевая и оборотная стороны нэпа. А чтобы забыться, он будет собирать из рухляди автомобиль: смесь из «Фиата», «Мерседеса», «Пежо». Или, — сядет за учебник по автоделу.

В дверь постучали. Павел не успел сказать «Войдите», как она распахнулась и в комнате, озираясь по сторонам, уже стоял полный белобрысый мужчина с жиденьким пробором и тусклыми глазами навыкате.

— Здравствуй, крестник! Век не виделись, — шагнул он к Павлу. — Ты уж, поди, и забыл, что есть на белом свете Аким Ильич Комов.

— Раздевайтесь. Садитесь. Я вмиг кипяток раздобуду, — засуетился Павел.

— Что за беспокойство? — расстегивая пальто, сказал гость. — Свои ведь люди. В люльке тебя качал...

Аким Ильич был другом покойного отца и его земляком, — оба приехали в Баку из Саратова. После смерти отца Павел видел его один-два раза. Прежде Комов работал в Сураханах, потом перевелся в Черный город.

Аким Ильич достал из кармана деревянную табакерку, набил трубку, помусоля пальцами табак, и, закурив от зажигалки, оценивающими глазами посмотрел на Павла.

— Вымахал ты, брат. Гренадер! Как в старину говорили, на радость богу, царю и отечеству. Обидно, что Григория нет в живых...

Павел собирался было похлопотать насчет кипятка, но Комов остановил его:

— Слушай старших... И, вообще, одевайся-ка ты, малый. Потопаем ко мне. Я посылочку с Кубани получил: сало, яйца, яблоки моченые. Жена с дочками к родичам от голодухи сбежали. Пожуем, потолкуем. В комоде старый альбом отыскался, там карточки Григория, которые ты не видел...

Аким Ильич жил возле Черногородского моста в темносером каменном доме. Выше первого этажа дом почему-то не подняли, и он ощерился на все стороны рельсами недостроенных балконов. По мосту, над самой головой, пронесся поезд, и Комов самодовольно сказал:

— Чем не Нью-Йорк, даже надземка у нас есть?!

Квартира имела запущенный вид: выцветшие, местами ободранные обои, щели в полпальца в полу, почерневший потолок. Из продырявленной кушетки торчали пружины, на подоконнике желтели листья давно не политой лилии. Покрытые пылью книги, журналы, тетради громоздились на столе, беспорядочно выпирали с полок, прибитых в прямоугольнике стенной ниши.

По всему было видно, что хозяину квартиры не до того, чтобы следить за ней.

— У меня тут кавардак, без бабы живу. Так что ты зенки особенно не пяль, — буркнул Аким Ильич. От него не укрылось, что Павел внимательно оглядывает комнату.

Грубость Комова не была открытием для Павла. Еще в прежние годы его удивляло, как это отец мог дружить с Акимом Ильичем. Ведь связывали их не только воспоминания о приволжском крае, где остались детство и юность, они были членами одной партии, жили общими интересами. Павел и Лида побаивались Акима Ильича, но щедрость его ценили. Из маленького саквояжа, сверкавшего никелированным замком, с которым он никогда не расставался, Комов каждый раз извлекал вафли, леденцы, пряники. Он был опытным счетоводом и зарабатывал неплохо.

Разгрызая толстый кусок сала, от которого лоснился подбородок, Аким Ильич отечески наставлял Павла:

— Обойдемся без выпивки. Григорий в рот не брал, и тебе не советую. Водка с пути человека сбивает.

Смахнув со стола крошки, он снял с нижней полки разбухший от карточек альбом в зеленом сафьяновом переплете.

Замелькали страницы с наклеенными и вставленными в кружевные прорези карточками, хлопали, стукаясь друг о друга, картонные дагерротипы. Ближе к концу в альбом была вложена пачка любительских фотографий.

— Был у нас с Григорием приятель — Сергей Максимов, он и снимал... — сказал Аким Ильич.

Снимков, неизвестных Павлу, было с дюжину. На одном из них отец смущенно смотрел в объектив, а Комов подбоченившись, стоял рядом. Они были сняты у вышки, возле компрессора, у ограды бывшего нобелевского парка, среди домов примыкавшего к Сураханам Москов-

ского поселка. У отца, стоявшего на крыльце, под фигурным жестяным навесом, было счастливое лицо. Быть может, потому, что аккуратные кирпичные дома поселка, с коньками и резными флюгерами на покатых крышах казались перенесенными сюда из средней полосы России, вызывали в памяти родные места.

— Карточки можешь забрать, — сказал Аким Ильич. — Но чтоб были в целости и сохранности. Память Григория мне дорога!

Задумчиво побарабанив пальцами по табакерке, он принялся рассказывать, как ездил с другом на рыбалку, как ползали они по гладким, отшлифованным морем скалам в Шихово, чтобы наловить побольше бершей.

— Не спел Гриша свою песню до конца. Оборвали вороги его песню, — мотнул головой Аким Ильич.

Коммунистов он называл канальями. Это они, по словам Комова, задушили свободу, навязали народу свою диктатуру, свели в могилу отца Павла.

Аким Ильич занимал в эсеровской партии куда более видное положение, чем Григорий Петрович. Об этом Павел знал. Чтобы не теребить имя покойного отца, он обходил молчанием вопрос о том, что привело его к самоубийству.

Однако Комов был настроен иначе.

— Расстраивать тебя не хотел, потому и молчал я прежде, — перешел на шепот Аким Ильич. — Слушай! В день смерти Григорий заходил ко мне, его в Чека вызывали. На лице — ни кровинки, руки дрожат. Грозили ему, что дело обойдется высылкой его и детей в Сибирь, если выдаст товарищей, а коли смолчит, — самого в расход пустят. Что ему, несчастному, оставалось, как не наложить на себя руки?..

Прикрыв глаза рукою, Комов умолк, и в наступившей тишине стало слышно, как возятся, царапая доски, крысы в подпольи. Павел сидел подавленный. Хотелось вскочить, крикнуть, что все это выдумка, ложь, но язык словно прилип к гортани. Какие у него были основания не верить другу отца? Да и что-то действительно страшное, катастрофическое должно было произойти, чтобы довести отца до отчаяния, ведь он оставлял сына и дочь, которых любил!

— Отцовское дело тебе продолжать, — Аким Ильич взял Павла за локоть.

— К чему вы мне это говорите. Я — комсомолец, — очнувшись, Павел поднялся из-за стола.

— И оставайся себе на здоровье комсомольцем. А душой будь с нами, — ответил Комов. — Партия давно отказалась от террора, хотя именно мы избавили народ от Столыпина, Сипягина, Плеве... Скажешь, что в Ленина и Урицкого эсеры стреляли? Центральный Комитет был против этих актов, их совершили безответственные люди. И не мы над ними, а большевики над лучшими людьми нашей партии готовятся в Москве суд учинить. Сам, небось, читал в газетах, что весь мир, вожди-социалисты Вандервельде, Каутский, Гед возмущены этим процессом. Раз с нами так, то и мы начеку: око за око, зуб за зуб.

— Зря вы все это... — тихо заметил Павел.

— Яйца кур не учат, — вспыхнул Аким Ильич, но, подавив в себе раздражение, уже спокойнее сказал:

— Ты когда-то помогал нашей партии, и, конечно, скрыл это от комсомола. Узнали бы они, выперли бы тебя, как чужака.

И Аким Ильич напомнил Павлу случай, о котором молодой шофер давно забыл.

Было это летом восемнадцатого года, незадолго до прихода англичан. Отцу поручили размножить эсеровскую листовку, призывавшую рабочих не слушать большевиков и голосовать за приглашение в Баку английских войск. Времени было в обрез, Григорий Петрович не справлялся один и попросил Павла помочь. Пробежав глазами текст воззвания, Павел хотел было отказаться, но он боготворил отца и не посмел огорчить его. Вступая потом в Интернациональный союз молодежи, Павел неумышленно промолчал об этом, а когда вспомнил, то подумал, что не стоит ворошить случайное прошлое.

Расценив молчание Павла по-своему, Аким Ильич стал подыскивать слова утешения:

— Совесть пускай тебя не гложет. Тайну твою я схороню. Ну, а Григория ты тогда очень порадовал, что подсобил, — он со мной делился: «Это в Павлушке родная кровь заговорила...»

Павел уловил фальшь в этих словах, и ему стало противно от того, что этот человек спекулирует именем отца. Он собрался, было, уйти без всяких объяснений,

хлопнув дверью, но тут чей-то встревоженный голос со двора позвал Акима Ильича.

— Разговор еще не кончен. Подожди меня, я быстро... — сказал Комов. — Сестра в доме напротив живет. Припадок с ней...

Щелкнул замок, и вскоре мимо окна промелькнула фигура счетовода. Павел прошелся по комнате, повернул замок. Скрипнув, отворилась дверь и в лицо пахнуло холодом. Оставалось перешагнуть порог и оттолкнуть дверь от себя. Он никогда никому не скажет об этой встрече, а в ячейке заявит, что четыре года назад из малодушия и ложного стыда оказал эсерам помощь.

На душе так муторно, что только и выпить, — вино снимет все горести, забудешься, исчезнут мучительные мысли об отце, Акиме Ильиче и попытке вовлечь его, Павла, в организацию, враждебную пролетарской власти.

Но Комов дал ясно понять, что сказал еще не все. Может, он откроет такое, что прольет свет на последние дни отца? Сообщит что-то о матери?

«Дождусь его», — окончательно решил Павел.

Тикали ходики, вздрагивал грузик на конце длинной цепочки, а стрелки казались неподвижными. Слишком медленно тянулись минуты. Уж лучше бы он поджидал счетовода на улице, — в движении, когда отсчитываешь шаги от угла до угла, время течет быстрее.

За дверью послышались шаги. Он открыл, думая, что вернулся Аким Ильич. На пороге стояла женщина в клетчатом платке, накинутом на плечи.

— Где Аким Ильич? Ты что за птица? — Она бросила платок на диван, пристально взглянула на Павла.

— Значит, Савельев-младший? То-то, я смотрю, на покойного Петровича похож. — У женщины были раскосые глаза, монгольские скулы, волосы, завязанные в узел.

— Откуда вы знали отца? — Павел выдержал ее взгляд.

— Откуда? — переспросила она. — Лучше бы он не знал ни Акима Ильича, ни меня... Тебе здесь делать нечего. Понял, нечего?! Это была его последняя воля.

— Он что-нибудь говорил вам перед смертью?

— Тише, ты... — Женщина приоткрыла и быстро захлопнула дверь. — Запомни, и держи язык за зубами:

было письмо, где он объяснял, почему кончает с собой. Комов посылал его на задание, отец не хотел. Все. Теперь — уходи, и чтоб духу твоего здесь не было!

Павел стоял посреди комнаты. Глаза машинально скользнули по стенам, уставились в запотевшее оконное стекло, по которому слезились капли.

Оцепенение длилось недолго. Прочь из этого дома! Здесь все смердит, как в логове заживо гниющего, но еще способного напасть зверя.

Он больше не сможет ни видеть Акима Ильича, ни разговаривать с ним. Комов — враг, убийца отца.

Сгорбившись, низко надвинув кепку, шел Павел к вокзалу. Подгоняемый ветром, не владея собой, он налетал на встречных прохожих, едва не попал под фургон, и разгневанный возчик-молоканин хлестнул его для острастки кнутом.

Вид у него был потерянный, глаза блуждали. Даже строгий вокзальный контролер, взглянув на него, не спросил билета.

Прислонившись к острому дверному косяку, Павел всю дорогу до Сураханов проехал стоя, хотя вагон был почти пустой.

Возле сураханского вокзала, в старой промысловой водокачке он дал волю своим чувствам. Впервые с тех пор, как стал взрослым, Павел плакал. Сжав руками мокрую водосточную трубу, касаясь щекой облупившейся корявой стенки, он снова прощался с отцом.

Горю не поможешь слезами, но на душе полегчало. Он вытер глаза кулаком, побрел к дому. Лида тоже должна знать правду, он поделится с ней тем, что касается только их обоих.

...Сестра сняла с него кепку, чмокнула в щеку, сказав «брейся чаще, борода у тебя колючая». Сгребла в охапку платья со стула, придвинула его к Павлу. Попросила обождать немного, есть несколько картошек, она их поставит варить. Потом зажгла керосинку в углу, отделенном ситцевой занавеской, и начала рассказывать о бойком мальчишке — курьере из их управления, который подгоняет и ее, машинистку, и даже управделами.

Бросив мимолетный взгляд на Павла, Лида удивилась:

— Почему у тебя убитый вид? Неприятности на работе? Давно хотела тебе сказать, что твой Татевосов пакость. Будь с ним осторожен...

Он ничего не ответил, и Лида страдальчески протянула: «Скажи же что-нибудь приятное, я и так иногда просыпаюсь среди ночи от тоски, и плачу в подушку. А от слез — дурнеешь...»

— Уж какое сейчас веселье! — вырвалось у Павла.

Больше он ничего не сказал. Пожалел сестру за ее неустроенную жизнь, может, и он сам виноват, что так вот бесцельно идут у нее дни.

За стеной послышался голос Кудрата. Он о чем-то говорил с женой, и Павел подумал, что Кудрату было бы не безразлично прощальное письмо отца. Они были в одном батальоне, когда дрались с мусаватистами под Геокчаем. Павел вспомнил, как ясными летними вечерами отец и Кудрат, забыв о различии во взглядах, мирно усаживались у околицы играть в шашки.

— Я к соседям, — сказал он сестре.

Дверь открыла жена Кудрата — Сона-хала. Из-за простыни, делившей комнату пополам, выглянула простоволосая худая женщина. Она укачивала на руках ребенка:

— О-о, сосед! — окающая речь выдавала в квартирантке волжанку. Тесно жил рабочий Кудрат Ахмедов, но когда увидел на пристани малышей, с ревом тянувших мать за юбку, позвал беженцев к себе.

Кудрат, как всегда, был приветлив.

— Входи, гостем будешь, — он усадил Павла на покрытый лоскутным одеялом топчан. — Будем вместе ужинать. Жаль, что Юсиф на буровой.

— Я слышал, там осложнение, — осторожно заметил Павел.

— Сегодня неважно, завтра — исправим, — ответил Кудрат. — Выкладывай, с чем пришел, вижу, сильно расстроен.

Когда Павла потянуло зайти к соседу, он сразу не сообразил, что у того хватает своих горестей, — слух об аварии дошел и до шоферов азнефтинского общежития. Однако Кудрат готов был его слушать. Открытое, с тронутыми сединой висками лицо Кудрата располагало к откровенности.

— Поздно раскусил эсеров Григорий Петрович, слишком поздно... — задумчиво произнес Кудрат. — Когда эсеровская рота самовольно оставила фронт, он крепко возмущался, а уйти из партии все же не посмел. Сколько я с ним ругался, убеждал, — все бесполезно, отшучивался: «в свою веру, магометанин, меня, православного, не обратишь».

Рука Кудрата лежала на краю стола, и Павлу бросилось в глаза, как много на ней жилок и узлов.

— Держись, сынок. Дважды человека не хоронят. А на развалины тянет только сову, — говорил ему Кудрат. — Подумай о другом: для чего ты понадобился эсерам. Боюсь, они что-то замышляют... У эсеров хитрые повадки, они умеют темнить людям мозги, петлять, заметать свои следы. Они ничем не брезгуют. Бьют себя в грудь, будто уже три года, как отказались от вооруженной борьбы с нами. Хотят убедить, что сидят, сложа руки, и ждут «мирного падения» большевиков. Врут! Мятеж в Кронштадте, уже после гражданской войны, они с белогвардейцами подняли. Тамбовский мятеж и волнения на Волге — тоже их рук дело. Знать бы, что они сейчас затевают в Баку!

Эти слова поразили Павла, — ведь, если бы он не ушел от Комова и дал согласие, то, возможно, оказался бы посвященным в замыслы эсеров.

— Я мог бы от них кое-что узнать, — сказал он скорее про себя, чем вслух.

— Попробуй, Паша, — подбодрил его Кудрат. — Но не спеши. Чувствую, что этот Комов еще попытается тебя завербовать. Их, наверное, привлекает, что ты шофер, — с машиной куда угодно можно послать, удобный связист.

— Уж я им помогу... — зло сказал Павел.

— Опять спешишь. Взвесь все, подумай, — найдешь ли в себе силы, чтобы прикинуться, будто ты с ними, сумеешь ли выдержать их проверку, сдержать себя, если услышишь и увидишь такое, от чего захочется вцепиться им в глотку?! Хватит ли у тебя пороху, чтобы не проговориться никому, даже самым близким друзьям? Опасность будет подстерегать тебя всюду, будешь жизнью рисковать.

— Я справлюсь...

— Ладно. Мой фронтовой друг работает в Азчека.

2904—5

Я познакомлю тебя с ним. — Кудрат тряхнул руку Павла, крепко пожал ее.

ГЛАВА VI

Стоишь наверху, открытый всем ветрам. Они норовят тебя согнуть, прижать к полу, сбросить на землю, а ты стоишь. Назло студеному, порывистому норду, назло теплой и липкой моряне.

Ты — один наверху, на самой макушке вышки. Ты первым встречаешь рассвет, ты последним провожаешь солнце. Ночью ты остаешься один на один со звездами. Вся вахта внизу, у станка и моторов, электрические лампы освещают ей рабочую площадку, а тебе светят, с тобой перемигиваются искорки-алмазы. Если упадет звезда и погибнет, не долетев до земли, становится немного грустно: одной знакомой у тебя меньше.

Ты в артели — верховой. Это, как марсовый на корабле. Матрос стоит на марсе и раньше всех видит взмыленные буруны у рифов, каемку земли на горизонте. Его раскачивают волны, бьющие в стенки парусника, а у тебя под ногами бьются, стучат полати. Когда-нибудь вышки подымутся еще выше, и ветер будет клонить их макушки, словно деревья...

Удар... Удар... Снова удар... Как дятел долбит кору деревьев, так и штанга своим острием вонзается в грунт медленно и спокойно, не уходя в глубинную толщу. Это— старое ударное бурение. Все там просто и ясно. А проходка ротором — это как бурная река, как сель в горах. Крутятся, громыхают трубы, гонимая насосом, несется вниз смешанная с глиной вода. В далекие, нетронутые прежде слои заходит долото, кромсает и точит их, отшвыривает от себя.

Скажи Юсиф ребятам-сураханцам о дятле и грозной сели, и они не поймут его. Сураханские промыслы не то, что дятел и ласточки, даже кашкалдаки и галки обходят стороной, одни воробьи селятся здесь.

...Тринадцать лет было Юсифу, когда перед ним открылся лес. Шел полем, и вдруг на пути встала подернутая дымкой стена, трава росла на глазах, поднималась выше колен; ветки царапали руки, хлестали по ли-

цу, зонты листьев смыкались над головой. Воздух был неподвижным и звонким, приятно кружилась голова.

Удивленный, он нагнулся над родником, журчащим под камнем, осторожно набрал воды в ладонь, бережно поднес ее к губам. До этого он видел нефть, сочившуюся из земли, но прозрачную чистую воду, бившую ключом,— никогда.

Он вслушивался в лес, и открывал для себя и шепот листьев, и шорох травы, и всплески осоки. Сель, с воем низвергавшая камни, комья земли и расщепленные деревья, едва не настигла его у опушки, за которой вереск и дубняк сползали в пропасть.

Больше года жил он в деревне. Отца посадили в тюрьму, семья бедствовала, и брат матери взял их к себе, в Кедабек.

Небритый, похудевший приехал за ними Кудрат; от него пахло махоркой и солдатскими сапогами. Погрузил детей и нехитрый скарб в арбу, сел рядом с возницей, и покатили колеса по крутым горным тропам к станции и железным рельсам.

— За что тебя увозили жандармы? — спросил отца Юсиф.

— Подрастешь — узнаешь, — ответил Кудрат.

...Снова увез их в горы брат матери, когда пала Бакинская Коммуна. Люди с кинжалами и берданками окружили их сураханский дом, перерыли всю комнату, врывались к соседям, разыскивая отца. С досады один из них так ударил Юсифа по затылку, что у него потемнело в глазах. Теперь уже Юсиф знал, почему хотели арестовать Кудрата.

— О том, что твой отец большевик, молчи. У нас беки опять подняли голову... — предупредил Юсифа дядя.

Изболелась душой за мужа, раньше времени постарела мать Юсифа, не было у нее вестей от Кудрата. Да и мучилась она, что обременяет брата, который сам жил впроголодь: бек отобрал у крестьянина землю, полученную от Коммуны.

...Часами ходил по лесу Юсиф, медленно брел по краю узкой каменистой тропинки над ущельем. Но не радовали его больше ни хоровод стройных чинар вокруг лужайки, ни серебристая сабля — река, разрубившая горы, ни эхо, звонко повторявшее его голос. Сам собрал котомку, пешком спустился в долину, и всю дорогу до

Баку трясся на подножке товарного вагона. От первой получки взял себе треть, остальные деньги послал матери в деревню.

Как-то ночью его разбудил стук в окно. Кинулся открывать створки, нащупал туго сложенный лист бумаги, на котором сразу узнал руку отца: «Я в Астрахани, в Красной Армии... Мы скоро вернемся», — писал Кудрат.

...Про то, как он воевал, отец не любил рассказывать. Может, потому, что водился за сыном грешок. Развесит Юсиф уши, слушая один эпизод — второй, загорится, и скромный, не бог весть какой поступок обрастет в его фантазии множеством деталей, превратится в подвиг, решивший исход сражений. Всем встречным — поперечным, веря, что говорит правду, станет он излагать подробности боя, а отец будет выглядеть сказочным героем-пехлеваном.

Можно взять с Юсифа слово, что он жизни не пощадит в борьбе за революцию, взять с него слово, что он промолчит, не откроет секрета — бесполезно.

Не нужно думать, что Юсиф стоит на вышке, сунув руки в брюки и глядя по сторонам, словно пожарник на каланче. Попробуй завести колонну труб, которая тяжелее корабельной мачты, за палец — хомут, когда ветер вырывает ее у тебя из рук! Попробуй вытянуть из связки тугую, неповоротливую свечу и подать ее точно на середину ротора-стола! Удержи за горло стальную громаду, когда крутит метель, и пол леденеет под ногами! Юсиф вспоминает случай с отцом, и это придает ему силы.

В пойменных лугах за Астраханью, в окопах, залитых водой, давал Киров особое задание азербайджанцу Кудрату Ахмедову и пожилому татарину-добровольцу.

— Наш разговор — разговор коммунистов, — объяснял Сергей Миронович. — Белые бросили на фронт мобилизованных чеченцев и калмыков. Нужно пробраться к ним, сказать солдатам, что их обманули. Вам, мусульманам-партийцам, это сделать проще.

Винтовки и партийные билеты они оставили комиссару. Поползли под колючую проволоку без оружия, отлеживались на дне воронок, в темноте добирались вплавь через речку. В блиндаже, куда они незаметно для часового вошли, солдаты удивленно воззрились на их фуражки с красными звездочками. Обступили со всех сторон, обшарили карманы.

— Перебежчики? — с яростью в голосе спросил один из горцев.

— Нет.

— Большевики? — не отставал он от них.

Красноармейцы кивнули в ответ.

Шумные, темпераментные чеченцы заспорили, затараторили между собой, кто-то выразительно провел рукой по шее, другой закричал: «Пусть скажут пришельцы, зачем явились они к врагам?! Передовая — не сакля горцев, рассчитывать на гостеприимство здесь нечего!» Жители степей — калмыки с интересом рассматривали рискованных большевиков и, насупившись, молчали.

— Он — бедняк-крестьянин, я — рабочий из Баку,— спокойно сказал Кудрат. — И командиры у нас простые, трудовые люди. А вас гонят на смерть против своих братьев.

— Зарубить его! — заорал чеченец в черкеске, украшенной богаче других.

— Расстрелять меня — всегда успеете, — продолжал свое Кудрат. — Давайте лучше поговорим...

Вынул из кармана кисет, закурил и стал говорить, что привело его в Красную Армию.

— Хочешь, чтобы мы разошлись по домам? — остановил Кудрата калмык со сморщенным, как печеное яблоко, лицом.

— Хочу, чтобы к нам перешли. Враг у нас один.

— К стенке их! — Чеченец с холеным лицом разрезал рукой, как шашкой, воздух. Двое солдат неуверенно потянулись к ружьям, сказали татарину и Кудрату: «Выходи!».

Их повели к оврагу. Гулко отдавался в ушах каждый шаг, было слышно, как щелкают затворы. Кудрат стал считать шаги, споткнулся о бугорок, сбился со счета. Поймал себя на мысли, до чего это нелепо и смешно.

— Стой! — крикнули солдаты.

Не сговариваясь, Кудрат и татарин стали лицом к чеченцам:

— Стреляйте!

Выстрелов не раздалось.

— Скорей кончай! — требовал татарин.

— Уходи! — один из солдат, опустив винтовку, вяло махнул рукой. — Беги...

Кудрат и татарин бросились в овраг, ожидая, что пули ударят в спину. Но они просвистели в стороне.

Два дня спустя рота чеченцев и калмыков, сорвав погоны, перешла линию фронта.

...Хорошо, когда у тебя такой отец! Юсиф и восхищается им, и боится быть недостойным сыном. Особенно после того, как Кудрат стал мастером, вожаком их артели.

Это Киров настоял, чтобы отец был старшим в артели. Юсиф слышал разговор Мироныча с Кудратом.

— Ноша не по мне, боюсь знаний у меня мало, — говорил отец.

— Я тоже за тебя неспокоен, плаваешь ты в науках,— соглашался с ним Киров. — Но иначе, понимаешь, нельзя. Ты сумеешь зажечь людей, а это стоит многого.

— Трудно мне будет, Мироныч. Трудно... — повторял Кудрат.

— А мне, думаешь, легко? — остановил его Киров. — Иной раз так достается, что хоть «караул!» кричи. За душой всего-навсего техническое училище, а пришлось нефтяной республикой ворочать. А нам, большевикам-руководителям сопротивление материалов так же надо знать, как и сопротивление классового врага. Это вот Серебровскому посчастливилось, — его Владимир Ильич заставил в Бельгии в институт поступить. Царь еще на троне сидел, Ленин был в эмиграции, но так верил он в победу, что инженеров-коммунистов для будущих Советов готовил.

Изменился отец с тех пор, как возглавил артель, — стал суровей, строже. Ночами недосыпает, ходит с усталыми глазами, поднимает всех на ноги, если нет труб. Сам остается за бурильщика, монтера...

Что значит, зажечь людей?! Как это понимал Киров? И раньше, при мастере-шведе, люди старались, и теперь они стараются. А беда стучится за бедой. «Хвост вытащишь, нос увязнет», — говорит о делах на буровой Трофим Денисович Степанов, бурильщик с оспинками на лице. Правда, прежде, как неудача или срыв, — буровую бросали рабочие. Один подается в деревню, другой — в мастерскую, где потише. А с Кудратом никто не хочет расстаться.

Даже старик Осман, который твердо верил лишь в то, что после ночи наступает день, а все остальное брал под сомнение, вдруг заявил:

— Увидите, — до нефти дойдем!

...Стоишь наверху, открытый всем ветрам. Это — твое рабочее место, верховой, — на кончике вышки! Отсюда и до облаков рукой подать. Хорошо быть на высоте... Но тебя все чаще тянут вниз.

— Спускайся, брат, с небес на землю... — зовет бурильщик.

Внизу — аврал, без верхового не обойтись. Будут менять ротор.

Кудрат сам расставляет людей, говорит, кому что делать. Назвав имя Юсифа, он на мгновение задумывается.

— Возьми ключ, становись возле Аждара. Он тебе поможет тащить, — решает Кудрат.

Уж лучше Юсиф сам бы пошел напарником к Степанову или Осману, они, как работники, надежнее. Но вступать в спор с мастером, даже если он твой отец, нельзя.

Резкий голос Кудрата, скрежет металла, и ротор уже лежит в стороне.

— Уста! Был такой же, как все мы, а стал уста! — крутит папахой над головой старик Осман.

Все рабочие и мастер собрались возле нового ротора. У открытого устья буровой — только Юсиф, позади него — Аждар. Лужица воды у ног стянута пленкой нефти, и Юсиф дивится богатству ее цветов: лиловые, розовые, синие, зеленоватые прожилки и пятна. Будто радуга, — отмечает он про себя, и думает, как здорово было бы спуститься в недра, увидеть нефтяные озера, потрогать песчаные складки, укрывшие в своих порах нефть.

Жаль, что это невозможно...

Невозможно в жизни, а если помечтать! Взгляд Юсифа раздвигает обшивку вышки, и перед ним — высокий лифт — снаряд. Горит в кабинке свет, а стены ее отлиты из толстого прозрачного стекла. Носком ботинка Юсиф нажимает на педаль и...

Раздается громкий стук. Удар металла о металл. Кабина исчезает, и перед глазами — черный ободок ствола. Юсиф понимает, — случилось ужасное, — на дно буровой что-то упало. Около него был тяжелый цепной ключ, теперь ключа нет.

— Вай, что ты натворил! — Аждар хлопает себя по груди.

На лицах рабочих тревога, у Кудрата брови стянулись к переносице.

Юсиф не на маковке вышки, — под ногами твердая земля, а ощущение такое, будто ты падаешь. Летишь вниз, в пропасть, и руки ловят воздух.

— Отстраняю от вахты! — слышит он голос отца.

— Круто берешь, Кудрат. Рубить с плеча не по-нашему... — Это уже голос Степанова доносится до Юсифа.

Трофим Денисович недоверчиво оглядывает Аждара и, потирая кожу у виска, добавляет:

— Темная история. Я хорошо видел, — Юсиф стоял неподвижно. Как это он мог сбросить вниз инструмент?

— Чего не бывает на свете... — неопределенно произносит Осман.

«Спасибо тебе, Денисыч, спасибо! Ты хороший человек, — мысленно благодарит Степанова Юсиф.—Но мой отец Кудрат (здесь он не отец, а мастер Кудрат Ахмедов) прав. Я и сам не знаю, как это вышло. Не помню, чтобы трогал ключ, или столкнул его ногой.. Может, так замечтался, что обо всем позабыл? А ответ держать я должен! По всей строгости. Ведь бурить дальше нельзя, пока ключ не поднимут наверх. Сколько еще дней потеряет артель?!»

Птица сидит на перилах площадки. Как она туда попала? С грустью смотрит Юсиф наверх. Разрешат ли ему снова взобраться на крышу вышки? Была бы птица голубем-почтарем, и несла бы в кольце добрую весть для него! Вспорхнув, улетает птица, — нет у нее писем к Юсифу.

Откуда Юсифу знать, что Аждар водится с человеком из шайки Саттар-хана? Откуда знать ему о хромом коменданте казармы из Раманов? О санитарном враче, живущем против бульвара, и английском полковнике Бойле? Не знает Юсиф, чью волю исполнял член рабочей артели Аждар, за какие деньги пошел он на подлость. Долго ждал Аждар удобного случая, и дождался.

...Повесив голову, бредет Юсиф по запорошенной пылью дороге. Там, на буровой, остались люди, которые

долгими днями и ночами будут бороться за нее. Ему нет места среди них.

Отступают вышки, домов уже много, но тень от деревьев не падает на их фасады. Шлагбаум велит остановиться. Перешагнешь через стальные нити — рельсы, и упрешься в дверь райкома. Она открыта всегда — и в ранний, и в поздний час.

Юсиф сам идет решать свою судьбу.

Белая щербатая дверь, уходящая под потолок. Она нависает над Юсифом. А Юсиф, не шелохнувшись, стоит у порога. Лучше бы он не дотрагивался до холодной медной ручки. Пальцы уродливо отражаются в кривизне надраенной меди.

Еще позавчера Юсиф был здесь, сидел на скамейке у входа и хлопал ребятам, принятым в комсомол. Билеты им вручал Киров, находя для каждого напутственное слово.

Секретарь на два года старше Юсифа. Веснушки у него на лице, будто приклеенные и, когда он ругается, они из коричневых становятся золотыми. Мальчишками Юсиф и секретарь кидали альчики, в выигрыше бывал Юсиф и небрежно отсчитывал на конопатом лбу щелчки. Но теперь Юсиф постеснялся бы и заговорить об этих щелчках. К гимнастерке секретаря привинчен орден, его левая рука висит на перевязи. Три года он дрался с белыми, командовал у Буденного эскадроном. И хотя все знают, что секретарь — душа-парень, Юсиф сторонится его: дружбу с героем надо заслужить.

Зачем он пришел в райком? Просить помощи и совета, искать утешения? Он всегда был строг к «штрафникам» и не ждет снисхождения к себе. Месяц назад в райкоме обсуждали рабочего с их буровой: парень прогулял и, напившись, задирал прохожих. А на буровой была горячка, и моторист две смены отстоял за него. Юсиф требовал исключить прогульщика из комсомола, недоумевал, почему обошлось выговором. Он снова взял слово, и с жаром доказывал, что Союз молодежи должен очищать свои ряды от примазавшихся и недостойных. «Больно ты скор на расправу. Кто же будет воспитывать, если не мы?» — осадил его секретарь.

Беспощадный к другим, Юсиф не хочет, чтобы щадили его. Но о том, что случилось на буровой, он сообщит райкому сам.

Комната секретаря полна народу, но Юсиф не различает лиц. Он говорит, обращаясь ко всем и ни к кому:

— У нас на девятнадцатой, — авария. Я натворил...

— Садись, — опускает ему руку на плечо комсомольский секретарь. — Выкладывай все по порядку.

Юсиф рассказывает о том, что произошло на буровой. И выносит себе приговор: недостоин он быть комсомольцем.

— Погоди! — обрывает его секретарь. — Ты каяться явился или хочешь, чтобы вместе подумали, как быть.

— Фронта нигде больше нет, посылайте в Бухару с басмачами биться. Искуплю свою вину, — просит Юсиф.

Перед его глазами — эшелон, теплушки качаются, трясутся, — кирпичные, желтые, покрытые пылью. Отдуваясь, тащится по пескам паровоз. Нет, поезд будет потом, сначала — пароход и море. А в тряском вагоне он ехал год назад, — это райком собрал бригаду плотников и слесарей, чтобы восстановить Пойлинский мост на Куре. Грузия освобождалась от меньшевиков, и сотни нефтяников-бакинцев во главе с Серебровским чинили железную дорогу. Там было двадцать комсомольцев из Сураханов. Юсифу тогда не повезло: с голодухи объелся урюком и заболел животом. Другие поднимали мост, а он неделю провалялся в лазарете.

Даст ли ему теперь дорогу райком?

— Кто желает высказаться? — спрашивает секретарь. — Шуметь не будем, товарищи, — по одному...

До Юсифа доносятся лишь обрывки фраз. Секретарь райкома объявляет:

— В помощь артели создаем ремонтную группу. Добровольцы найдутся. Обшарим все склады, подберем ловильный инструмент.

Басмачи, так басмачи... Просьбу Юсифа предлагают уважить. Он не видит смешинки в глазах секретаря, Юсифу не терпится получить мандат.

Секретарь ставит подпись, прикладывает печать, и верховой — комсомолец Ахмедов отныне — боец, командированный на границу, на ликвидацию басмачей.

Бумага — в руках Юсифа. «Настоящий мандат»... — читает он... Но что там написано дальше! «Районный комитет комсомола, считая революционным долгом Ю. Ахмедова находиться на ответственной буровой, оказывает ему доверие и направляет в распоряжение рабочей ар-

тели. Тов. Ахмедову надлежит, не щадя жизни, биться за восстановление нефтяного хозяйства, действовать смело, твердо, с сознанием своего долга.

Наказание за совершенный им без умысла проступок он понесет после выяснения всех обстоятельств аварии».

Танцуй на радостях, парень, пляши! Товарищи верят в тебя, ты не одинок, не забыт. Тебе протягивают руку, сильную, мужественную руку. Она вытянет тебя из пропасти, в которую ты упал. Думал, что только кровью можно снять с себя позор, только кровью заплатить за ошибку. Рано казнил себя, напрасно казнил, — ты очень жесток к себе, а они добрее.

Нет, не пляшет Юсиф! Стоит посреди комнаты, молчаливый и скучный.

— Брось кукситься, друг. Работать надо, — говорит ему секретарь.

С неспокойной душой выходит Юсиф из райкома.

— Постой, Юсиф! — На улице его догоняет Фатьма. Она была в райкоме, все видела, все слышала, а он не заметил ее.

Что скажет ему Фатьма? Девичье сердце, говорят, тает от жалости, как воск.

Да, он угадал...

— Мне очень жаль... — пытается утешить его Фатьма.

— Спасибо, что сочувствуешь.

Невезучий он... Когда спускался в колодец, Фатьмы и близко не было. Ну, почему именно в этот час Фатьма зашла в райком?

Неудачливый, говорят, и подаренное счастье проспит. Может, раньше он и нравился Фатьме, а теперь... Сам кругом виноват, нет у него права обижать Фатьму.

— Прости меня, — говорит он и прибавляет шаг.

ГЛАВА VII

Она успела прыгнуть на подножку последнего вагона. «Жить надоело, краля?» — вызывающе спросил ее толстогубый, стреляющий глазками проводник. «Торопилась с работы, бежала...», — оправдывалась Лида. Если бы не этот, откровенно разглядывающий ее человек, она могла бы попасть под колесо. Вскакивать на ходу надо

умеючи, а у Лиды нога зашла за ногу, как, бывает, цепляются металлические буквы пишущей машинки, и руки уже отпускали скользкие поручни. Счастье, что проводник втянул ее в тамбур.

Отдышавшись, она прошла вперед.

Нелегко быть красивой, каждый норовит пристать, подумала она. Живем на свете один раз. День и ночь — сутки прочь! Двадцать лет она уже прожила, а все женщины за тридцать — старухи. Виктор сравнивает судьбу человека с курьерским поездом: ты стоишь у полотна, а он с бешеной скоростью проносится мимо. В каком-то вагоне, у какого-то окна — твое счастье. Рискуй, прыгай, и если тебя не сбросит на рельсы или под откос, считай, что ты выиграл.

Только теперь экспрессов нет и в помине, паровозы тащатся, как клячи, и даже от Сураханов до города, где всего девятнадцать километров, она будет ехать полтора часа.

«Бери от жизни все возможное. Истина старая, как мир, зато истина», — учит ее Виктор. Тысячу раз прав он. А Павлик — мальчик, неглупый и наивный, и все-таки глупый мальчик. Решил на правах старшего брата читать ей нотации. Призывал жертвовать настоящим во имя будущего. Чушь! Она хочет жить пока молода, пока нет морщин на лице.

Смешно...

Она совсем не против коммунизма, и готова двумя руками голосовать за всеобщее равенство и счастье. Только, чтобы он наступил немедленно, сегодня, стал явью, а не обещанием на митингах и собраниях.

Что знает Павлик о людях? Восхищается своим Татевосовым: шутка ли, нефтяную землю тот насквозь видит, блестяще владеет языками, остроумен... А видел бы, как пошло и противно обхаживал ее знаменитый спец! Вызывал на вечер к себе в кабинет, обещал повысить оклад, нашептывал комплименты вперемежку с двусмысленностями. Из любопытства и тщеславия Лида выходила к нему на свидания, слушала его впечатления о ночном Марселе, в душе насмехалась над тем, как Татевосов, боясь скомпрометировать себя, за три версты обходил рестораны и раскошеливался лишь на оперу. В антрактах уговаривал ее оставаться в зале (толкаться в фойе неудобно), становился подтянутым и сухим, если замечал

кого-либо из сослуживцев. Был бы он еще женатым, чтобы так вот таиться, а то, — старый холостяк.

Ученая мокрица!

От Виктора она не скрывала своих встреч с Татевосовым. Откровенничая, а может, сознательно желая вызвать у него ревность, рассказывала, с какой жадностью целовал ее Сумбат Геворкович.

«Прожигаем жизнь, детка?» — говорил по этому поводу Виктор, стараясь быть небрежным. Однако Лида чувствовала, что ему были неприятны ее встречи с Татевосовым. Несмотря на разгульную, бесшабашную жизнь и множество знакомых, Виктор оставался глубоко одиноким. Наверное, поэтому он так дорожил связью с Лидой.

Полгода назад она познакомилась с Виктором Доренским. Ехала к тете на Баилов, остановилась у киоска выпить сельтерской воды и не успела расплатиться, как стоявший за продавцом молодой мужчина подал ей листок с карандашным наброском. Всего несколько штрихов было на бумаге, но черты ее лица были схвачены метко.

— Для меня, живописца, окрашивать киоск — прикладное искусство. Прикладываю кисть к струганным доскам и получаю гонорар. Так сказать, суровая необходимость наших дней, — сказал он.

Виктор был словоохотлив, даже болтлив. Однако художник нравился Лиде. Держался он непринужденно, поглядывал на нее добродушно и, подробно рассказывая о себе, не задавал ей назойливых вопросов. Лида успела узнать, что до семнадцатого года Виктор учился в Академии художеств в Петрограде, а его мать имела в Баку белошвейную фабрику, и семья жила припеваючи.

В тот день Лида так и не навестила тетку, — допоздна бродила с новым знакомым по городу. Виктор говорил безумолку, вспоминал студенческие пирушки и шумные столичные вернисажи, уверял, что любовь с первого взгляда не выдумана романистами, ибо, познакомившись с нею, уже испытывает нечто подобное, клялся, что бросил бы к ее ногам все богатства, унаследуй их от покойной матушки он сам, а не Советское государство.

У Лиды была привычка-обуза: стоило ей обратить на человека внимание, и она начинала мучиться, — кого он напоминает. Виктор был похож на Иисуса, — она по-

думала, что ему было бы неплохо позировать для икон. Узкое, с острым, резко очерченным подбородком лицо, гладкая матовая кожа, лучистые глаза, смотрящие из глубины, и волосы, как корона над головой...

Святая внешность оказалась обманчивой. В ближайший выходной художник уговорил ее поехать с ним в Мардакяны на дачу, которую он расписывал. Вода была уже холодной, но они рискнули искупаться. На свободном от облаков небе и прибрежной песчаной земле Виктор показывал ей игру красок, находил множество цветов и оттенков, и она вслед за ним повторяла звучные, волнующие кровь слова: ультрамарин, кобальт, жженая сьена, пурпур, хром.

Пили терпкое матрасинское вино, заедая виноградом и поздним инжиром. Быстро захмелев, Лида смеялась без причины, рвалась к морю, а он, улучив момент, поднял ее на руки и, закрыв поцелуем рот, понес в сад под раскидистую крону шелковицы.

На рассвете Виктор сказал: «Цветка Иван-да-Марья, которые всегда растут вместе, из нас с тобой не получится, но я не брошу тебя...»

Вряд ли она полюбила его, скорее привязалась, была благодарна за то разнообразие, которое Доренский вносил в томительные и скучные сураханские будни.

...Виктор ждал ее около вокзала. Улыбнувшись кончиками губ, он взял Лиду за локоть и стал расписывать программу их встречи. Два-три последних месяца Доренский вообще был при деньгах, а тут еще сорвал куш за оформление вновь открытого казино и частной гостиницы «Континенталь».

— Потолкаемся на Барятинской и Ольгинской, оттуда махнем в игорный дом, заглянем в «Момус» и обоснуемся в ночном ресторане, — весело объявил он.

Нэпмановский Баку оживал, набирался уверенности и сил. Словно тараканы, выползали из щелей на поверхность бывшие лавочники и маклера, содержатели веселых заведений и метрдотели, акцизные чиновники и антрепренеры, кондитеры, косметички, виноторговцы, сохранившие каким-то чудом деньги и неуемную жажду деятельности, стремление во что бы то ни стали разбогатеть. Появились люди без определенных занятий, не имевшие в прошлом ни гроша за душой, а теперь швырявшие направо и налево червонцами. За баснословную,

недоступную рабочему и служащему сумму модный обувный магазин Аракелова уже предлагал дамские туфли из настоящего добротного шевро, персидский подданный Ашраф Вахиди соблазнял отборной сабзой и урюком, отец и сын Лифшиц приглашали в свою образцовую кефирную.

Огни световых реклам звали посетить ресторан-кабарэ «Кружок артистов» и театр оперетты, где ставили водевиль «Муж, вор и любовник, каких мало», рябило в глазах от красочных вывесок: «Вина всех фирм — Даржения», «Сагианские вина», «Меблированные номера «Новая Россия», «Кондитерская «Эра», «Пейте квас «Т-во Бавария», «Столовая-распивочная «Эльбрус»... Нарядная публика спешила в театр на «Цыган—премьер» с юбилеем-бенефисом популярного Амираго, какой-то толстяк, прижимая к себе расфуфыренную даму, едва не налетев на Лиду и Виктора, упоенно твердил: «Все будет по-старому, моя крошка...»

— Куплю доллары, фунты, туманы...

— Имею «Лориган-коти»...

— Есть трапезундский табак...

— Меняю червонцы на боны. Даю по высокому курсу, — преследовали гуляющих валютчики, спекулянты, маклера.

«— Господи, да кто смеет меня осудить, — оправдывала себя Лида. — Какие, к черту, идеалы, когда рядом ходят пузатые нэмпаны и открываются варьете?!»

В казино Виктор подвел ее к рулетке: «Поставь на счастье, говорят, первый раз непременно выигрывают...» Звенящий шарик не принес удачи. «Лучше посмотрим на игроков», — попросила Лида.

Дородный, с накрахмаленными манжетами владелец игорного дома, наклонив седеющую голову, поздоровался с художником:

— У меня для вас маленький сюрприз. Пройдемте ко мне, нам подадут подлинный «Мартини».

— Коньяк, конечно, контрабандный? — причмокнул Виктор.

— Ш-ша, — приложил палец к губам хозяин казино. — Об этом не говорят вслух.

Чокаясь, он сказал, что публика хвалит оформление, особенное впечатление на нее производят амуры и пастушки.

— Там, где разжигаются нездоровые инстинкты, люди хотят, чтобы глаз отдыхал на невинном и чистом. Причуды человеческой психологии, — важно заметил Доренский.

К «Момусу» они подкатили на фаэтоне, сделав круг по центральным улицам. С огромных рекламных щитов Аста Нильсен, Пола Негри, Конрад Вейдт, Вера Холодная и Мозжухин привлекали зрителей в кинотеатры «Унион», «Форум», «Эдисон», «Модерн»... Заведующий Бакинским наробразом Павел Бляхин, в прошлом революционер-подпольщик, еще только писал сценарии нашумевших впоследствии «Красных дьяволят» и «Истикляля», молодая киностудия республики сняла пока лишь документальную ленту Аббасмирзы Шариф-заде «По Азербайджану», и на экранах господствовали голливудские боевики и ханжонковские сентименты.

Стоило Лиде заикнуться о том, что хорошо бы посмотреть какой-нибудь новый фильм, как Доренский безапелляционно заявил: «Плебейство!».

В «Момусе» щеголяли сервировкой, меню блистало широким выбором вин, а закуска была скудной. Доренский заметно пьянел, речь у него лилась безостановочно и гладко. Ругал Наркомпрос, где изобразительным искусством заправляет неуч — сын бондаря и поденной прачки, проклинал левых художников, которые пошли в услужение к большевикам. «Лучше сдохнуть с голоду, разрисовывать духаны и шантаны, чем писать похожих на циклопов пролетариев и штамповать плакаты с искаженной перспективой, где конусы, прямоугольники, квадраты складываются в человеческие руки, грудь, лицо»,— уверял ее Виктор.

Пусть она не думает, что писать на стенах позорно для мастера, — фрески Микельанджело и Джотто бессмертны, а в Тифлисе Виктора знакомили с уличным художником-самоучкой Нико Пиросмани, который так рисовал на стенах шашлычных, что им восторгались французские газеты.

О том, что его занимало, Доренский говорил без передышки. Лиде редко удавалось вставить слово. Его рассуждения об искусстве оставляли ее равнодушной, но она делала вид, будто слушает Виктора с интересом. Мало ли у него слабостей! Вечно торопится куда-то,

вечно боится опоздать, однако никогда никуда не опаздывает. Хвастает, петушится...

Она и сама часто удивлялась своим слишком трезвым оценкам, и тем не менее Виктор притягивал ее к себе.

— Все идет вверх дном, как на полотнах Малевича и Филонова, — внушал он Лиде.

Доренский был в ударе. Он с жаром говорил, что Репин недаром бежал за границу, а шваль вроде Малевича осталась. Малевич в своей книжонке строит из себя пророка, договорился до того, что живопись давным-давно изжита и художник — предрассудок прошлого.

...Виктор налил в рюмку коньяка, поеживаясь, опрокинул ее. Замотал головой, жалуясь: «Мы слишком поздно родились...» и стал причитать, что в нем гибнет талант.

Лида робко возразила, что он мог бы рисовать промыслы, заводы, — их все-таки восстанавливают, наконец, бытовые сцены.

— Кого писать? Зачем писать? Рваных тартальщиков и пыжащихся наркомов? Экзотику? Намаз в мечети и процессию шахсей-вахсей? Давно запечатлели Верещагин и Гагарин! — жаловался он.

— Ты слишком сварлив, — заметила она.

— Сварлив? А кто сделал меня злым? У матери отняли фабрику, нажитую ею потом и кровью, выжили из города, как нетрудовой элемент, объявили паразиткой. Я протестовал, требовал справедливости, обругал комиссара хамом, а меня — за решетку! Они обворовали меня, обрекли на жалкое существование, лишили надежды.

И, внезапно придвинувшись к Лиде, скороговоркой зашептал:

— Обо мне еще заговорят. Я не тля и не песчинка, я сумею заявить о себе. Да так, что все ненавистное полетит в тартарары!

Лида увидела в глазах Доренского незнакомый прежде холодный блеск и ей стало не по себе. Но тут музыканты заиграли разбитной чарльстон, за соседним столиком с веселыми присказками выпустили воздушный шарик, и она, успокоившись, рассудила: «Выпил лишнего, понес ахинею...»

2904—6

На воздухе Виктор отрезвел, захлебываясь, заговорил о фламандской школе живописи, перечислял заказы, которые ему предстоит выполнить.

В двенадцать ночи они были на Колюбякинской улице, где находился ночной ресторан «Луна». Невзирая на табличку «Свободных мест нет», швейцар без задержки открыл им дверь, а суетливый метр, подарив беглую улыбку, которой обычно награждают завсегдатаев, подвел к боковому столику у ложи: «Отсюда хорошо видна сцена...»

Салонный оркестр играл «Черные глаза» и входившие в моду «Кирпичики», цыганский хор тянул душещипательные романсы, а полногрудая мадемуазель Бенини, щелкая пальцами, исполняла «Песни парижской улицы». Конферансье с подкрашенным ртом и гвоздикой в петлице из кожи вон лез, забавляя «почтенную публику».

Виктор танцевал плохо, сбивался с ритма, шаркал по паркету, и она старалась пореже выходить с ним в круг. Танцевать с Доренским ей, в общем, было не в удовольствие, а в тягость, и она обрадовалась, когда ее пригласил на «Аргентинское танго» большой, плотный, стриженный под бокс мужчина в костюме спортивного покроя. Он говорил по-русски с заметным акцентом, приятно щурился, словно смотрел не на нее, а на солнце.

— Будем знакомы. Инженер Фрэнк Стоун, американец, — сказал он.

Танцуя, Стоун крепко держал ее за талию, уверенно выделывал замысловатые па, с ловкостью человека, много плававшего по житейским морям, носился, не задевая никого, среди кружившихся и топтавшихся на месте пар.

Пропустив вальс, американец снова подошел к их столику, небрежно спросил разрешения у Виктора, и, прижимая к себе Лиду, заговорил:

— Какого глупца можно считать неисправимым?

Она молчала, и Стоун сам ответил на свой вопрос:

— Такого, который дважды спотыкается на одном и том же месте.

Слегка раскачиваясь в такт музыке, американец поведал, что однажды на танцах он безнадежно влюбился, и теперь повторяется та же история.

— Вы, должно быть, смеетесь над тем, как у нас бедно одеты, — постаралась отвлечь его Лида.

— Скажите «да», и я вас одену, как куколку, с ног до головы, — продолжал свое Фрэнк.

— Обещаю подумать, а сейчас, извините, устала, — сказала она, чтобы отделаться от Стоуна: было жалко Виктора, который сидел понурый, и настораживала циничная откровенность американца.

— Ты, конечно, готова пасть в его объятия, — съязвил Доренский. И, переменив тон, с искренним участием заметил: «Сторонись этого человека».

Напудренный певец, подражая Вертинскому, пел о маленькой балерине и злом роке, чувствительные дамы, вздыхая, держали платочки у глаз, в глубине зала какая-то девица в декольте заливалась утробным смехом, а невозмутимые официанты бесшумно двигались среди столиков.

Над столиком почтительно склонился официант:

— Вам послал вон тот гражданин, — сказал он, едва заметно кивая в сторону американца.

На подносе стояли бутылка вина, вазочка с конфетами, а между ними лежала пачка заграничных сигарет в пестрой глянцевой обертке.

—Отошлешь все это обратно? Он приставал ко мне, — спросила Лида.

— Что ты, детка? Живем на Кавказе, надо соблюдать обычаи. И потом, — оскорблять иностранца... — всполошился Виктор.

Сказав официанту, чтобы он в ответ понес пару бутылок «Цинандали», Доренский поспешно открыл сигареты, закурил, поперхнувшись едким дымом, и торопливым движением запихал пачку в карман брюк.

Лиде показалось, что Виктор обрадовался сигаретам, хотя он почти не курил, мелькнула мысль, что художник близко знаком с американцем и почему-то скрывает это от нее. Чутье, интуиция, — порою, как компас. Если бы Лида расправила обертку от сигарет и, смочив табак, провела им несколько раз по внутренней стороне бумаги, выступил бы сжатый, лаконичный, словно приказ, текст: «Товар отдайте в пятницу. Пароль — «Каракатица». Спустившись в подвал — мастерскую художника, она могла бы увидеть в дальнем углу, за непро-

данными, заросшими паутиной холстами «товар» — динамит и тол, уложенные в ящики из-под олифы и краски.

Однако мысли ее уже были заняты иным. Сопровождаемая поклонниками, в ресторан грациозной походкой входила опереточная примадонна в сверкающем чешуйчатом платье жемчужного цвета. «Родилась под счастливой звездой, — позавидовала ей Лида. — А я, бесталанная, так и промаюсь свой век машинисткой...».

...Под утро они выходили на улицу. Оставив Лиду возле тумбы с наклеенными афишами, куда обычно подъезжали фаэтоны, Доренский поспешил обратно в ресторан: он забыл дать швейцару чаевые. Виктор был вообще щепетилен с долгами, а обделить официанта, парикмахера, швейцара считал кощунством.

Возвратившись, он сходу грубо обнял ее на улице, горланя:

— А теперь, детка, бай-бай...

Словно из-под земли вырос комсомольский чоновский патруль.

— Безобразничаете, гражданин! — призвал его к порядку длиннолицый, худощавый парень с красной повязкой на рукаве.

А другой, коренастый крепыш, обомлев, воскликнул:

— Наших сураханских девушек задеваешь, подлюга! — И с размаху ударил художника кулаком в переносицу. Он бы измолотил Доренского, не оторви его с силой второй человек.

— Сурен, что ты делаешь?! Это мой знакомый, опомнись, — смешавшись, говорила Лида.

— Напрасно защищаешь! Не верю, чтобы такой прохвост был твоим знакомым! — упорствовал Сурен.

— Это вам даром не пройдет! — грозился Виктор, — хмель уже сходил с него.

Лида, взяв его под руку, потащила к остановившемуся поблизости фаэтону. Она знала, что Сурен не будет болтать в Сураханах о ночном инциденте, однако на душе было тошно, она ненавидела в эту минуту и Виктора, и себя. Хотелось стать под горячий, обжигающий кожу душ и смыть с тела, соскрести с души всю налипшую грязь. В облике Доренского ничего не оставалось от Иисуса, — оттопырив губы, скрючившись на сиденьи, он был скорее похож на помесь мокрой курицы и сыча.

— Соберусь с духом и скажу Виктору, что между нами все кончено, — успокаивала она себя.

Но тут же представила серые и однообразные, как солдатские шинели, дни на поселке, унылые вечера дома, среди четырех стен, жизнь без проблеска, и сомнения исчезли. «Живем на свете один раз, — повторила она про себя девиз Доренского. — Уж лучше плыть по течению».

ГЛАВА VIII

Последний, пятый за день намаз совершал Ага Салим. Далеко за шумным Хазаром лежала пустынная Аравия, в сторону которой отвешивал он поклоны. Там, в Мекке, святыня пророка. О чем осмеливался просить аллаха бедный мусульманин Ага Салим? Пускай аллах даст здоровье дочери и, если можно, вразумит ее. За Аждара он тоже просил, но не так рьяно. Отвратил бы его аллах от новых грехов. А за себя старый тартальщик не хлопотал перед богом. Только бы он не допустил, чтобы его лишили работы.

Ему следовало думать об аллахе, а мысли Ага Салима обращались к дьявольской машине—качалке. Он ходил в Раманы смотреть, как она выжила рабочих. Руки бы отсохли у того, кто ее придумал. Стоит посреди скважины на железных костылях машина и сама, без тартальщика гонит нафту. Грешно думать такое, но кажется, что низко кланяясь земле, она все время совершает намаз. Какому богу молятся качалки? Наверное, дурному. Какой-то русский человек, очень сердитый на большевиков, называл качалки идолопоклонниками.

Прошел слух, что завтра качалку будут пробовать в Сураханах. Худо, очень худо. Аллах прибавляет к добру добро, а большевики одной рукой дают, а другой берут. Прогнали с промыслов богачей — хозяев, а теперь отнимают кусок хлеба у бедняков — тартальщиков.

Но они, тартальщики, не безмозглые женщины, чтобы с горя рвать на себе волосы, они проводят завтра забастовку. Может, это заставит начальников одуматься. Рано ложиться спать не привык Ага Салим, а на этот раз он первым в доме погасил свет, — его ждал беспо-

койный день. Хорошо бы успеть заснуть до прихода Фатьмы и Аждара...

Долго ворочался Ага Салим, стонал, кряхтел, не шел к нему сон, хотя в комнате было так тихо, что слышался писк комара. Натрудился он за день, тело просило отдыха, а голова не давала его, — он слишком взбудоражил ее тревожными мыслями.

Всю ночь его мучили сны, — неотвязчивые, путаные, страшные. Женщина, которую он мельком видел в доме кечаля, подманивала его к себе и внезапно сталкивала в погреб, где нечем было дышать... Обрушивалась вышка и Ага Салим чудом выбирался из-под обломков.

Проснувшись, не сразу опомнишься после таких кошмаров и, хоть ты и не выспался, возблагодаришь аллаха за то, что он прогнал сон.

...Рассвет встретил его по дороге на промысел. Дома он ничего не съел, взял с собой завернутый в тряпку хлеб, но несмотря на то, что улица была пустынной, Ага Салим не решился перекусить на-ходу. Поганому псу подобен всякий, кто ест на рынке, улице, майдане. На странной мысли поймал себя тартальщик: он торопится на работу, чтобы не работать, а бастовать.

Много вышек на промысле, и все они издали кажутся одинаковыми. Но Ага Салим и за три версты узнает свою буровую. Ветры и годы погнули ее, общипали деревянную обшивку, ржавыми лохмотьями свесили покрытие из жести. Вышка отняла у него немало сил, и все-таки Ага Салим испытывал к ней что-то похожее на жалость: они состарились вместе.

Он сел на вогнутый, обшитый мешковиной стульчак, расставил ноги, чтобы было удобно нажимать на педаль, ощупал кривой зазубренный рычаг. Маленький человек, — тартальщик, но у него целое хозяйство: желонка, у которой откидывается дно, бурый, с засохшими корками мазута чан и длинный, сверкающий нефтью и сталью канат. Есть у него еще жирная, норовящая выскользнуть из ладони веревка и циферблат, исчерченный мелом. Стрелка на нем показывает, когда поднимать и опускать желонку.

Оставалось нажать на педаль и повернуть рычаг, чтобы заработала буровая, но Ага Салим положил руки на колени. Уговор дороже денег, а тартальщики условились,

что будут бастовать до тех пор, пока самый большой начальник «Азнефти» не уберет со склада все качалки.

Через час на буровую забежал промысловый геолог, упрекнул Ага Салима «и ты тоже...», и, покачав головой, помчался дальше. Скучно, однако, сидеть без дела, — заметил себе Ага Салим.

Когда тартальщик поднялся со стульчака и вышел на воздух размять онемевшие ноги, солнце уже было в зените.

— Ага Салим! — позвал его знакомый голос. — Иди к амбарам, совещаться будем.

Он пришел позже остальных тартальщиков и стал в сторонке, однако его потянули на середину круга, сказали: «ты человек башковитый, знаешь, как разговаривать». Бастующие были недовольны,—паники на промысле они не подняли, больше половины тартальщиков остались работать на своих местах.

— Джафара и Ахверди уже уволили. Они — первая жертва... Не будем работать, пока их не вернут! — погрозил кулаком Хейрулла, старейший из тартальщиков.

— Хотим, чтобы тартальщиков не трогали. Без работы мы пропадем. У всех дети... Пусть желонки остаются, а качалки обратно везите! Чтобы наши глаза их не видели! И на новые скважины только желонки давайте, — потребовал Ага Салим.

— Плохо мы живем, паек прибавить нужно,—сказал после него старый, со слезящимися глазами перс.

— Сперва машины убирай и жалованье вперед плати! — поддержал худой, со впалой грудью тартальщик. И, обернувшись к бастующим, объяснил: «Если жалованье вперед дадут, прогнать нас невыгодно будет!».

Возмущение нарастало.

— Вы сами не сознаете своих интересов, — обратился к тартальщикам главный инженер района Алибеков. — Устаревшие желонки будут заменены качалками, вы получите работу и чище, и легче.

— Вместо соли лед не лижут, — возразил ему Ага Салим и услышал, как одобрительно загудели рабочие.

— Гоните мастеров, которые за качалками смотрят! — крикнул кто-то из задних рядов.

— Это—безумие! — вспылил Аслан Алиевич.

И тогда тартальщик, который прежде часто шептался с человеком, называвшим себя социалистом-революционером, подскочил к Алибекову:

— На тебе гладкий костюм и галстук, а мои штаны— из одних заплат. Разве ты меня поймешь? Ты и при старом хозяине был начальником, и теперь над нами командуешь.

Галдеж поднялся такой, что главному инженеру пришлось уйти. Распалившись, кто-то стал требовать прибавки жалованья, но его осадили сами же бастующие.

— Джафара и Ахверди выгнали не из-за качалок, — они промысловые доски воровали. Эх вы, пролетарии! Звание свое позорите. Стыдно мне за вас... — гневно бросил им заведующий промыслом, выдвинутый из мастеров. — На что замахиваетесь? Вы с контрой заодно!

Он объявил, что уволит без разбора тех, кто в течение двух часов не приступит к работе.

— Чем ты лучше царского жандарма, что так с нами разговариваешь?! — насели на него тартальщики.

В кармане продранной шинели Ага Салим нащупал горбушку хлеба. Он и забыл, что с утра не брал в рот ни крошки. Волнение и суета прогнали голод. А, может, еще ему было неловко есть, — бездельничал, ничего не заработал за день. Страшила мысль, что его выбросят с промысла, но вражды к заведующему он не испытывал. Еще в деревне у Аракса Ага Салим познал древнюю, как мир, мудрость: пахарь ждет дождя, путник — засухи, — каждому свое. Заведующему выгодно иметь много машин, с ними дешевле добывать нефть, тартальщику машина враг, —она делает его ненужным. Договориться бы им с заведующим тихо и мирно, без шума и крика. А то сбежались сюда, как на скандал, зеваки, а сплетник-кечаль, оставив свою торговлю, встал у вышки, развесив уши. Прошлый раз у него была еле заметная борода, а теперь отрастил себе целый веник, рыжий от хны. Напрасно только он взглянул в сторону кечаля. Тот поспешно закивал саккалом* и бочком двинулся к Ага Салиму.

— Пах-пах, какого жениха для твоей дочки я сыскал! — зашептал кечаль. — Скажи слово, и он сватов пришлет.

— Другой раз об этом поговорим, — отвернулся от него Ага Салим.

---

* Саккал — борода.

События нарастали. Кто-то из персов, брызгая слюной, стал кричать, что нужно всем вместе идти к складу и сбросить с горы качалки, тартальщик-армянин вытащил из-за пазухи бумагу, и, стянув перса с железной бочки, призывал бастующих поставить свои подписи под письмом.

— Машины трогать нельзя. Их рабочие люди делали, — вмешался Ага Салим, и сам удивился своим словам. — К бумаге — палец приложу.

Смысл письма-требования, под которым он поставил крестик, Ага Салим представлял смутно, — что-то в нем говорилось о тяжелой доле тартальщика и жестокости комиссаров. Может, и нехорошая эта бумага, и не стоило ему спешить, но уж лучше отделаться подписью, чем уничтожать машины. Углубившись в свои мысли, он и не заметил, как рядом с ним оказался сосед—Кудрат. От буровой Кудрата до амбаров было совсем недалеко.

— Услышал, что у вас тут забастовка, своим ушам не поверил. Захотел своими глазами посмотреть, — сказал Кудрат.

— Кто тебя подослал? — набросился на мастера неугомонный перс.

— Я чаще тебя бастовал, приятель. Могу посоветовать, как и для чего забастовки устраивать, — спокойно ответил Кудрат. — За «мазутную конституцию» я бастовал. Когда моих товарищей хозяин с промысла выгнал, — опять на работу не выходил. Далеко от Баку, на Лене расстреляли рабочих, — я в общей стачке участвовал... Всякое было...

— Ты врешь, бидж*, большевистский подпевала! — согнувшись на бочке дугой, завизжал перс.

— Почему же подпевала? Десять лет, как коммунист, — улыбнулся кончиками рта Кудрат. — Тартальщик Ага Салим — мой сосед, он подтвердит, что я не вру.

— Он чистый человек, — громко сказал Ага Салим.

— Пускай он честный, но все равно маленький человек. С самым большим начальником будем дело иметь, — раздался чей-то раздраженный голос.

— Маленьких и больших людей теперь нет. Все большие... — поправил его Кудрат. — Управляющий «Азнефти» Серебровский раньше был обыкновенным рабочим. Если есть среди вас балаханские и сабунчинские, они

* Б и д ж — хитрый, нехороший человек.

Гришу Глазунова (это была его партийная кличка) должны помнить. Как надо бастовать, Серебровский лучше нас всех знает, он сам стачки организовывал. А к вам он сейчас приехать не может, днем и ночью на Биби-Эйбате пропадает, учит людей, как бухту засыпать...

— Партийные нонче припеваючи живут, власть ихняя... В нашу шкуру вам не влезть, — оборвал Кудрата гнусавый человек, прятавшийся за спиной рабочих.

— Это эсер говорит, или меньшевик? Или ты наслушался их бредней? — нахмурился Кудрат. — Какая у большевиков сладкая жизнь? Там, где беспартийные стоят на вахте восемь часов, коммунисты стоят все четырнадцать. За партийные двухнедельники и ударные субботничьи группы большевики ничего у государства не берут.

— Подожди, гардаш, — потянул Кудрата за край пиджака старый, с задумчивыми глазами рабочий. — Большевики всегда за нас, тартальщиков, заступались,— это я знаю. Объясни тогда, зачем нас прогонять будут? Разве человек хуже качалки?

— Затемнили провокаторы вам мозги... Все с головы на ноги поставили... Да самое дорогое для нашей власти — человек! За то, чтобы он жил красивой жизнью мы и воевали с врагами, на смерть шли. Машина заменит тартальщика и желонку, — это правда, но для всех вас на промыслах будет другая работа. Вспомните, в клубе на пятом промысле выступал Киров, — что он говорил? «Каждый наш день отличается от предыдущего, он ярче и полнее. Мы создадим новые промыслы, вооружимся техникой и совершим нефтяную революцию. Бурным, широким потоком побежит жгучая черная влага в амбары и резервуары». И еще Мироныч предупреждал: «Не слушайте шептунов, они вставляют нам палки в колеса».

— Сколько тебе заплатили, чтобы ты нам голову морочил? — вновь послышался ехидный голосок, однако его перекрыл возмущенный гул:

— Пусть говорит! Не нужно человеку мешать...

— Вы, как хотите, а я из мужиков, — раздвинув ряды, вышел вперед грузный, в потертой шинели и грязной овечьей шапке рабочий. — Мужик, пока не пощупает, не поверит. Покажи мне, оратор, где эта твоя новая работа для тартальщика? Или, скажешь, что она малость далеко, — за морями и горами?

— Работу показать? — сказал Кудрат, и запнулся. Ага Салим сочувственно смотрел на него, — найдет ли сосед нужные слова.

Тартальщики напряженно ждали: большинству из них, видимо, не хотелось разочароваться в Кудрате.

— Собирайтесь! Со мной в Забрат пойдете... — в глазах Кудрата вспыхнули огоньки.

В толпе началось движение:

— Скажи, делегатов нам выделить? Кого с собой возьмешь?

Кудрат держался все увереннней:

— Айда все вместе!

— Слушай, не говори по дороге, что мы бастующие,— снова подошел к Кудрату старик-тартальщик. — И мы об этом молчать будем.

Ага Салим кивнул головой, этот человек выразил и его мысль.

...Через полтора часа тартальщики уже были в Забрате. Кудрат вел их на Солбаз.

Позапрошлой зимой, когда Фатьме не в чем было идти в школу, Ага Салим взял единственный хурджин и побитый молью коврик, привезенные им еще из села, и понес на Солбаз — Солдатский базар. Ни одного солдата он там не встретил, и очень удивился, почему базар назвали солдатским. Потом понял, что торгует на барахолке самый бедный люд, у которого ничего нет за душой, — а солдат — казенный человек, он не то, что своих вещей, даже своего времени лишен.

Будь на месте Кудрата кто-то другой, Ага Салим бы решил, что над ним и остальными тартальщиками подтрунивают. Какую работу можно показать трудовому человеку на базаре? Сказать, — снимай-ка, горемыка, последние шалвары, сбрось папаху, и продавай их, чтобы не околеть с голоду! Но Кудрат не будет зло шутить. Однако он и не пророк, чтобы сотворить чудо.

— Вот мы и пришли, — торжественно объявил Кудрат. — Смотрите, и не говорите, что вы не видели.

Был Солбаз, и не было Солбаза. Ага Салим мог дать голову на заклад, что это та самая земля, но как она изменилась! Он помнил желтосерую пыльную площадь, где ветер скручивал песок в столбы, помнил зловонную свалку, и детей, копавшихся в отбросах. Барахолка исчезла, — вместо нее стояли непривычно светлые вышки,

на одинаковом расстоянии одна от другой. Мощеная дорога подмяла песок, трубы изрезали и пересекли плато, попыхивая синим дымком, ползли по рельсам узкоколейки тупоносые мотовозы. Вместо вырытых в земле амбаров, — закрытые стальные резервуары. Пахло не гнилью, а нефтью и смолой, выступившей на свежеоструганных досках.

Они остановились около вышки, которая просматривалась насквозь. Обычные вышки, обшитые со всех сторон черными, прокопченными щитами, напоминали гробницы, а эта, сбитая перекладинами, была похожа на приставленные друг к другу лестницы. «В рай по ней, что ли, взобраться собираются...» — поймал себя на смешной мысли Ага Салим.

— О Солбазе забудем. — Это — первый советский промысел. А сколько еще таких промыслов будет построено! — с жаром сказал Кудрат. — Нобель искал нефть в Кала и бросил, а мы там много вышек поставим. Ученые люди обещают, что и в Кара-Чухуре нефть получим, и в Бинах. Тысячи и тысячи рабочих нам понадобятся! За качалкой нужен хороший глаз, — включать ее, чистить, смазывать, чинить вы будете. Обязательно научитесь. В одной старой сказке говорится о волшебной птице, которая сгорала в огне, и возрождалась из пепла. Так и у нас: сгинет тартальщик и появится оператор, командир над машиной.

Забастовщики не успели опомниться, как Кудрат потянул их за собой к горе Стеньки Разина.

— Видите колышки, вбитые в землю, и людей в плащах у треног с приборами? Это они местность снимают. Там, где сейчас колышки, протянутся улицы, вырастут большие и стройные дома. Ваши малыши еще не дотянутся вам до плеча, как рабочий поселок будет готов. Тартальщики, бурильщики, масленщики, слесари навсегда бросят свои лачуги и вселятся в новые дома... Ну, а теперь время возвращаться в Сураханы, — закончил Кудрат.

Отводя глаза, расходились тартальщики по домам. Не договаривались, как быть завтра. Ага Салим заметил, что несколько рабочих задержали армянина, собиравшего подписи, и стали требовать, чтобы он вычеркнул их имена. «Я торопиться не буду, — подумал Ага Салим. — Утро вечера мудренее».

...В комнате никого не было. На табурете стоял казан с кашей, сваренной Фатьмой из рисовой сечки, в бумаге была завернута половина воблы-таранки. Ага Салим поел и только тогда почувствовал, до чего он устал за этот беспокойный, полный событиями день. Он с наслаждением вытянул ноги, устроившись в углу на матрасе, набитом шелестящей морской травой.

* * *

Женщина, которой за сорок, склонилась над букварем. Ее палец, неестественно белый от частой стирки, потянулся вслед за фигурками букв. «Ма-ма», «па-па», — прочла она по слогам и удивленно вскинула брови. «Мама» — уже тверже повторила она и смущенно воскликнула: «Выучилась!».

Фатьму не смешило, что женщина, которая годится ей в матери, радуется, как маленькая, читая по букварю слова, которые впору слагать детишкам.

— А газеты читать я потом тоже сумею? И даже толстые книги? — наивно спросила ее прачка.

— Научитесь, — заверила ее Фатьма. Этой женщине, не вылезавшей из прачечной и кухни, было трудно посещать кружок ликбеза, и Фитьма занималась с ней отдельно.

Вытерев по привычке руки о подол, прачка пошла провожать ее до калитки. Осторожно дотронулась до ее руки, сказала «не стесняйся, доченька, приноси ко мне белье, тебе, чай, и стирать некогда».

...Прижимая книжки к груди, Фатьма спешила домой. От усталости кружилась голова, но на сердце было легко. Это было знакомое, сопровождавшее крайнюю усталость ощущение, когда Фатьма чувствовала, что потрудилась с пользой. Старая учительница в их школе, которую слушались и самые отъявленные озорники, говорила, что, если учишь других, то отдаешь им частицу самой себя. Как же богата душой она, продолжая и на склоне лет щедро делиться знаниями с людьми!

Дана ли такая же сила Фатьме? Иногда ей не хватает терпения, внимание рассеивается, и она рассказывает на занятиях отрывисто, невпопад. Кружковцы отвлекаются, начинают шептаться.

А чаще ее слушают. Фатьма умеет занимать людей. Когда учишь других, то и сама становишься умнее.

Уже стемнело, но под фонарем на углу торговал арахисом и сакисом кечаль-Гасан. Завидя Фатьму, он обычно молча впивался в нее глазами, а на этот раз остановил: «Пока ты, красавица, гуляешь, отец с шайтанами воюет. У него на голове папаха для чести, — забастовал он».

Фатьма недоверчиво взглянула на кечаля, а он скороговоркой бросил: «Пускай меня разорвут на части, если Ага Салим не бастует! Заводила он там...»

Будто и не было у Фатьмы дня, доставившего ей радость. А вдогонку, цокая языком, кечаль кричал ей:

— Джан-красавица! Как горная куропатка. Счастливец, кто тебя подстрелит...

Пошлость торговца не задела ее. Фатьма бежала на промысел. Она должна увидеть отца, поговорить с ним, объяснить, какую ошибку от совершил, отвлечь его от забастовки! Дорога каждая минута. Слишком далеко завели его брюзжание и несознательность, ужасно, если он, ее отец, рабочий человек, станет врагом своего класса.

Запыхавшись, Фатьма перешла на ходьбу, ей казалось, что вышки не приближаются, а удаляются от нее. Так и отец, — отчужденность между ним и ею углублялась и, будучи дома, они теперь чаще молчали, чем говорили. Оба старались сдерживаться, боялись думать вслух, чтобы не вспыхнул скандал. Она не скрывала, что считает брата чужим, Аждар с ненавистью смотрел на нее, и лишь присутствие Ага Салима как-то утихомиривало их. В такие вечера Ага Салим был доволен, если Аждар брал его с собой на петушиные бои, которые устраивались в старом сураханском селении. Петухи, подстать голодному времени, были тощими, дрались нехотя, и редко оправдывали надежды любителей развлечений. И все-таки отец шел на эти забавы, только бы не оставаться дома.

Проснувшись ночью, Фатьма видела, как брат, ступая босыми ногами, вносил чужой чемодан, а утром чемодана уже не было. Она спросила Аждара, что это за вещи, а он, скрипнув зубами, прохрипел:

— Рот закрытым держи. Сболтнешь, — живой не будешь...

Фатьма не заявила на брата. Угроза Аждара не устрашила ее, — она щадила отца. И еще, — в этом Фатьме было трудно признаться самой себе, она постыдилась вынести семейные распри на суд людей. Но с тех пор слышать низкий, сиплый голос Аждара, видеть, как он, пружиня ноги, ходит по комнате, стало для нее пыткой.

— Думаешь, мне легко держать в одном гнезде коршуна и синицу? А сам я не понимаю ни тебя, ни его, — вырвалось однажды у Ага Салима. Она пожалела отца, прижалась к его жесткой щетинистой щеке, захотела забыть былые размолвки, отречься от своей непримиримости. Но день спустя Ага Салим, как ни в чем не бывало, сообщил ей: «Чуть-чуть меня на вторую вахту не оставили. Сменщика малярия скрутила, мне сказали «заменишь его, йолдаш...» Я спросил: а платить кто будет? Конторщик ответил: «У больного из жалованья потом вычтешь, возьмешь себе, других денег нет». Я ему сказал: «ишаком не буду».

— Как ты мог, отец?! — возмутилась Фатьма.

Ага Салим посмотрел на нее удивленными глазами:

— Что я плохого сделал? У тартальщика деньги не отнял, даром спину гнуть не хочу.

...Она поравнялась с ближайшей к шоссе вышкой, когда масленщик, знавший ее с детства, сказал:

— Ага Салима на промысле нету. Давно ушел...

Никакой забастовки не было, ее сочинил плешивый торгаш. Фатьма готова была повернуть к дому, но все же захотела проверить слова кечаля:

— Отец всю вахту на буровой работал? Не заболел случайно?

— Какой там заболел! — буркнул масленщик. — Бастовать вздумал, отсталый он человек...

Она бессознательно пошла дальше, в глубь промысла. Услышала гул бурильного станка, возгласы рабочих-буровиков и остановилась. Там, на буровой, Юсиф. Фатьма заранее знала, что скажет ей Юсиф, это же она говорила себе сама: «Больше оставаться в отцовском доме нельзя».

...Ага Салим не слышал, как она вошла. Не зажигая света, в полутьме собрала свои вещи, связала их в узел. Под туфлями скрипнула половица, и Фатьма затаила дыхание, — ей не хотелось разбудить отца. Тихонько вышла в коридор, сказала перепуганной соседке тетушке

Марьям, что перебирается в общежитие, просила передать отцу. Дошла до угла, окинула прощальным взглядом дом, вздохнула. Ага Салим не попрекнет ее куском хлеба, он сникнет скорее всего, безропотно примет удар. Но кто присмотрит за ним, скрасит в старости трудную, истертую невзгодами жизнь? Когда она закрыла дверь, отец, кажется, сбросил с себя одеяло во сне, а печь в комнате не топилась. Возвращаться с полдороги— плохая примета, она это знала, и все-таки повернула обратно.

Бесшумно приблизилась к отцу, склонилась над ним, осторожно поправила одеяло. Он что-то забормотал во сне, и Фатьма замерла. Потом бережно положила его голову на середину подушки, тихо погладила его грубую, в ссадинах и мозолях руку, и, уже не оборачиваясь, ушла.

ГЛАВА IX

Общежитие опустело. Половина шоферов пересела с легковых автомобилей на грузовые и живет у Бухты, в бараках. Засыпка ковша в разгаре, и в людях там нужда.

— Ты тоже с нами? — спрашивали Павла шоферы.

— Ясное дело, — говорил он.

Но когда его послали за направлением, спохватился, — распоряжаться собой он не волен. На грузовике дальше стройки не уедешь, он не сможет быть связным и сорвет операцию. Чекист, с которым виделся Павел, сказал: «Автомобиль позволит тебе многое узнать, старайся, чтобы эсеры тебя ценили». А эсер Комов предупредил: «Работой в гараже дорожи, если что надумаешь, не медля извести». На всякий случай, Павел до работы забежал к Акиму Ильичу.

— Сиди и не рыпайся, — приказал Комов.

Татевосов был доволен тем, что Павел остается водить «Бенц», ему отнюдь не улыбалось пользоваться дежурной машиной.

— Попал под колесо любви? Твоя пассия обитает вблизи гаража? — многозначительно произнес он.

Сумбат Геворкович, однако, не так уж ошибался. Павел, сидя за рулем, думал о Фатьме, думал о ней, бродя

по Набережной, старался вспомнить ее улыбку. Он решил не искать с ней встреч, реже бывать в Сураханах. Как-то, выходя из общежития, Павел вздрогнул, услышав звонкий голос Фатьмы. Встретился глазами с круглолицей, стриженой девушкой, совсем не похожей на Фатьму. В своем воображении он каждый раз видел ее иной. То ее волосы были черные, как смоль, то ему казалось, что они с золотистым отливом. Ее украшали черные, с искоркой глаза, загадочно смотревшие из глубины.

...В этот день он отправился в Бухту раньше обычного. Записку, врученную Комовым, Павел передал сутулой, с раскосыми глазами женщине, поджидавшей его в условленном месте у Зыха. На обратном пути он заехал за Татевосовым, который осматривал оборудование в Белом городе, и к трем часам уже был свободен.

Возле каменного мола сновали лодки. В каждой из них — трое гребцов и водомер. Они подплывали к выраставшей из воды стене, бросали якорь. В руках у водомеров — доски с делениями и цифрами — футштоки. Это — чтобы определить, где и сколько подсыпать камня. Одно неосторожное движение, и водомер свалится за борт, не сманеврируют при ударе ветра гребцы, и лодку разобьет в щепы. Дул южный ветер, нагоняющий чистую морскую воду. — Бухта заметно светлела. На лодках и баркасах больше всего боятся гилавера, который вырывается из-за Наргина внезапно.

Двери одного из бараков были раскрыты настежь, оттуда выносили увесистые тюки и связки. Раздачей ботинок и брюк ведал Серебровский. Он привез партию обуви и одежды для землекопов. Остались лишь маленькие номера ботинок, и здоровенный дядька, отдуваясь, никак не мог подобрать себе обувку.

— Меняйся со мной... — Серебровский отдал ему свои сапоги. — А я найду подходящие.

Недалеко от копра, забивающего шпунты под вышку, собрались рабочие. На штабеле досок стояли Киров и сухощавый, в инженерной фуражке блондин — Потоцкий. Этот инженер ослеп, но руководил засыпкой. Его послал на Бухту Сергей Миронович.

Павел сделал крюк, чтобы послушать Кирова.

— Говорят, при царе не выгорело с засыпкой, а у нас, мол, и подавно. Но то, что не удалось капиталистам и

за пятнадцать лет, мы совершим за два года! — рука Кирова взмыла над толпой.

— Почему толстосумы не одолели море? У них было, как в басне о лебеде, раке и щуке, — каждый в свою сторону тащил. Десять лет канителили с проектом, международный конкурс объявили. Получали чертежи из Германии, Франции, США. Авторы их Бухту и в глаза не видели. Был проект под девизом «Куй железо, пока горячо», был под девизом «Затишье». Промышленники норовили обойти друг друга, и все вместе обсчитывали рабочих. Подрядчики карьеров Тами и Дейчман каменного мола так и не построили, а вот палаты каменные себе нажили.

Наш проект такой — «Даешь Каспий!». Закроем каменные ворота, выкачаем воду из ковша, и волны песка потянутся за морской волной. Дело необычное, смелое, но рабочему человеку, строющему свое государство, — оно по плечу!

— Скажи, Мироныч, а точно здесь много нефти? — спросили из толпы.

— Больше, чем на суше. Знаю, ползет шепоток, будто дно Бухты сухое, а пузырьки газа на воде, мол, то же, что мыльные пузыри. Враг пускает этот слух. Мертвый хватает живого, — так писал Маркс. Верно, что из первой скважины, которую мы пробурили, вместо нефти бьет грязь, — напоролись мы на подводный вулкан. Только рано ликуют недруги: черные фонтаны сотнями забьют на Бухте! А засыпем Бухту, и научимся в открытом море ставить вышки, Каспий покорим. Сколько нам еще больших замыслов осуществить, сколько дорог прошагать! Так хочется жить и жить, товарищи!

Мертвый хватает живого... Но живое неодолимо. И впереди, — много заманчивого и увлекательного... Киров ответил на то, что волновало Павла.

...Насыпь узкоколейки шла от подножья Баиловской горы и Патамдара к Биби-Эйбату, полумесяцем тянулась вдоль зыбкого берега бухты. Местами полотно уже было готово и у концов его строители клали новые отрезки рельс, громыхая кувалдами и молотками, забивали стальные костыли. Павла ждали на огороженной ящиками площадке, где собирали и ремонтировали мотовозы. Они прибывали издалека, разобранные, дряхлые, за-

пасных частей к ним не было, и недостающие детали приходилось доставать из-под земли.

Моряк, сын каретного мастера из Николаева, подбадривал рабочих:

— Нажали, братишки! Это не ржавчину с каната сбивать...

До сдачи первого мотовоза оставалось только два дня. Двигатель барахлил, и Павел, откинув капот, склонился над ним.

— А где песчаный карьер? — спросили его. Павел поднял голову, увидел трех девушек, растерянно улыбнулся. На него смотрела Фатьма.

— Мы — тоже на субботник, — сказала она.

Подруги Фатьмы не спускали с Павла глаз и до него донеслось: «А он, славный...»

— Сураханы совсем забыл, — упрекнула его Фатьма. — Мальчишки спят, и во сне видят, когда ты их снова прокатишь.

— У нее куча новостей. Фатьма перешла к нам в общежитие. Приходите после гудка в карьер... — вмешались подруги.

— Будем ждать тебя, — сказала Фатьма.

Павел не знал ни об уходе Фатьмы из отцовского дома, ни о том, что произошло после этого. Сурен, ненадолго заглянувший к нему в общежитие, промолчал, по обыкновению считая, что лучше не сказать ни слова, чем сболтнуть лишнее.

А ему было известно многое.

Сурен вызвался всю ночь стоять на посту у общежития. Он встретил Фатьму, когда она шла туда с узлом, и не сразу понял, в чем дело. Множеством достоинств обладал Сурен, но сообразительностью он не блистал. С запозданием осознав, какой шаг делает Фатьма, он искренне изумился: «Вай, какая храбрая!», и объявил, что будет охранять ее от брата.

В середине ночи Аждар подкрался к общежитию, пьяной руганью поднял на ноги жилиц, пытался открыть запертую дверь. Сурен оттащил Аждара от крыльца, вывернул его руку, в которой был зажат камень. Аждар по-бычьи выгнул шею, чтобы ударить Сурена головой в живот, однако тот увернулся и подмял дебошира под себя.

— Лучше вернись домой, продажная! — кричал Аждар.

Уходя, он пригрозил Сурену:

— С тобой, собака, я еще сведу счеты!

За себя Сурен не боялся, а с Фатьмы не спускал глаз. Первые дни провожал ее, караулил возле общежития, договорился с ребятами из ячейки, что они тоже будут начеку. Однажды Сурен и его приятели не доглядели, и Фатьма, затемно возвращаясь с занятия кружка ликбеза, столкнулась лицом к лицу с Аждаром, поджидавшим ее на пустынном тротуаре.

— Ну, где твои телохранители, негодная?! — насмешливо спросил он и занес руку для удара. Но рука так и повисла в воздухе, перехваченная в запястьи чьими-то сильными пальцами. Заступник повернул голову, и Фатьма узнала отца.

— Уходи, слышишь! — оттолкнул он Аждара.

Фатьма и не подозревала, что все эти дни отец оберегал ее от брата.

Ага Салим проводил дочь до самого общежития. Разговор был трудным для обоих: он слезно просил ее вернуться, она пробовала объяснить, почему не может этого сделать.

— За меня не беспокойся, я работаю кладовщицей в мастерской. Учебу не брошу, — говорила Фатьма.

— Похудела... Тень от тебя осталась... Отвернулся от нас аллах, — причитал Ага Салим.

Она обещала, что будет часто навещать его, но деньги, которые ей давал отец, не взяла.

Аждар больше не преследовал ее, и Фатьма решила, что отец сумел на него повлиять. Догадка ее была верна лишь отчасти. Брат, после долгих споров с отцом, согласился оставить Фатьму в покое. «Смотри, чтоб не опозорила нас!» — предупредил он Ага Салима. Вняла бы дочь голосу благоразумия, — молился за нее отец. Но вскоре Фатьма совершила такое, что потрясло и Ага Салима. Собрав в клубе женщин, призывала их сбросить чадру, а потом танцевала с чужим человеком, гяуром.

— Выдай ее замуж, или она получит нож! — объявил разъяренный Аждар.

Ага Салим рассказал о своей беде сураханскому мулле и мулле из соседних Бюль-Бюлей. Оба поцокали языками и, отплевываясь, дали одинаковый совет: без-

умную, пока не поздно, надо выдать замуж. Святые люди подсказали ему одно и то же, значит, выбора у Ага Салима не было. Он думал было съездить в город, в самую большую — Тазапирскую мечеть, и там спросить, как наставить дочь на истинный путь, однако понял, что и сам шейх-уль-ислам вряд ли найдет лучшее решение.

Поступившись самолюбием, Ага Салим без приглашения постучал в дом кечаля-Гасана:

— Покажи, добрый человек, жениха для Фатьмы, — попросил он.

— Баш уста!* Мы сейчас к нему пойдем, — просиял торговец лепешками и сакисом.

Мужчина, которого сватал кечаль, был еще молод и даже недурен собой. Жил он богато, — никелированный самовар, текинские ковры, покрывало из бухарского шелка... До войны он скупал в прибрежных апшеронских селах сладкий виноград «шааны», вкуснее которого не было на земле, упаковывал его в особые корзины и отправлял далеко за Кавказ. Даже в Варшаву и Берлин умудрялся поставлять несравненный «шааны» предприимчивый делец. Теперь торговля захирела, но он обеспечил себе безбедную жизнь на много лет вперед.

— Мне наплевать, что она от ученья порченая. Заставлю полюбить себя, чадру наденет, станет, как шелковая. Нравится мне невеста, — снисходительно говорил он Ага Салиму.

— Она будет в этом доме, как в раю, — поддакивал кечаль-Гасан.

— Лишь бы горя не знала, — в раздумьи произнес Ага Салим. Ему было неловко без Фатьмы решать ее судьбу, но иного выхода, считал он, нет. Да и делал он все это для блага дочери, не было у него дурных помыслов.

— Калыма мне не надо, а в подарок дочери свою доброту дай, — сказал он жениху.

Условились, что жених со своими друзьями похитит Фатьму, отвезет ее в Шемаху, и там в мечети составят брачный договор. Ага Салим чувствовал себя виноватым перед Фатьмой, — каково ей, своевольной и гордой, насильно выходить замуж, не любя будущего мужа. Но

---

* Баш уста — слушаюсь.

так, по адату,* сотни лет создавались семьи, и от этого мир не перевернулся. Даже его, Ага Салима, нареченная увидела только в день свадьбы, а потом он любил ее больше, чем самого себя... Не разбойник — солидный человек выкрадет его Фатьму. А чтобы девочка не боялась, жених покажет ей кожаный кружочек с зашитой внутрь его сурой из корана, — этот знак — тилсим всегда носил с собой Ага Салим. Она поймет, — отец дал согласие на брак.

...В памяти Фатьмы остались фаэтон с потушенными огнями, прижавший ее к обочине дороги, извозчик, круто натянувший поводья, и лошади, вставшие на дыбы. Ей зажали рот, втянули в фаэтон, который сразу же понесся дальше. Она пыталась вырваться, но ее держали крепко и заставили сесть в глубину фаэтона. «Аждар отомстил, — это его банда»! — пронеслась страшная мысль. С отчаяния Фатьма пыталась выброситься на ходу, — ее оттолкнули назад и показали отцовскую ладанку — тилсим.

Фаэтон, подпрыгивая на булыжниках, мчался уже за городом. Огненные языки всплеснули где-то слева и исчезли, потянулись извилистые каменные овраги, и Фатьма поняла, что проехали Алатаву. Куда же и зачем ее везут? Молодой мужчина с щегольскими усиками прижался к ней, сладким голосом сказал: «Не волнуйся, дорогая» и надел на ее палец кольцо. «Никогда! Лучше убей!» — хотела крикнуть Фатьма, но слова захлебнулись в горле. Кляп изо рта у нее вынули позже, когда фаэтон ехал по темному, без единого фонаря шоссе. Ни автомобилей, ни пролеток и пешеходов... Кричи, надрывайся, срывай голос, — тебя услышат лишь мертвые холмы — курганы и безжизненные соляные озера.

Вот и жизни конец. Она слышала, как убивали девушек, сбросивших чадру, а для нее уготовили медленную смерть — рабство. Прощайте подруги, прощайте Павел и Юсиф! Ей закроют дорогу в мастерскую, заставят забыть о клубе, ликбезе, книгах. Это — хуже смерти.

Извозчик, предвкушая барыш, весело погонял лошадей. Он часто оглядывался назад, чтобы полюбоваться невестой и не заметил, как навстречу фаэтону скакали всадники. Фатьма увидела их первой и, что было сил,

* Адат — обычай.

позвала на помощь. Ей быстро заткнули рот платком, но всадники услышали крик и кинулись наперерез фаэтону.

Два часа спустя красноармейцы-конники доставили похитителей в милицию.

Фатьме дали подписать протокол.

— Отца погубишь... Клянусь аллахом, я пальцем до тебя не дотронусь, — вполголоса сказал ей мужчина с усиками.

Она не удостоила ответом струхнувшего похитителя, но ради Ага Салима упросила начальника милиции избежать суда.

— Шуметь на весь город незачем, — согласился он с ней. — А эту ораву мы, вроде бы, проучили...

Девушки уехали на попутной бричке к вокзалу, оставив Павла и Фатьму наедине.

— Посмотрим на Бухту сверху, — сказала она. — Я здесь впервые.

Снова, как в Сураханах, из-за туч выглянула луна, серебристые дорожки рябью побежали по морю, в перламутр оделось прибрежье. Глыбы бетона и валуны фантастическими громадами встали над землей, будто реки, метались по засыпанной части ковша ленты новых дорог, залитые прибоем. Пучки света на море были не сигнальными огнями проходивших пароходов и барж — это трудились морские саперы — караваны землечерпалок. Они поднимали с морского дна песок, подавали его на берег. Грунт доставляли дрогами и грузовиками, везли тачками, таскали на носилках.

Черта прибоя менялась каждый день. Залив переходил в топкую лагуну, слой песка вытеснял воду. Земля была еще сырой, со множеством лужиц, но по ней уже ступали люди. Море отходило, но не сдавалось. Три дня назад пронесся шквал. Ударили в набат. Павел, бросив мотовозы, ринулся к плотине. Люди с факелами в руках стояли у бреши, пробитой волнами. В нее, как в пробитые тараном ворота, врывался черный, клокочущий поток. Он размывал грунт, слизывал гальку, стучал в гусеницы экскаваторов.

В ту ночь Павел не спал. Строители и рабочие, подоспевшие с бибиэйбатских промыслов, заделывали пробоины. Павла послали на буксир, сбрасывавший бетонные тумбы.

— О чем ты думаешь? — спросила Фатьма. Она держала в руках прутик ивы и что-то выписывала им на мокром песке.

— Начистоту?

— Ага.

У Павла едва не вырвалось признание, но он сдержал себя:

— Думаю, что мы сами меняем карту. Был залив, рождается степь, потом поднимутся вышки.

— Мне жалко море, — подхватила Фатьма. — Оно, такое большое и грозное, и, подумай, отходит. А я верила, что сильнее моря нет ничего на свете. Когда была маленькой, любила ходить к берегу и слушать, как оно шумит. Думала, что море живое, и это волны переговариваются между собой. Они и вправду были похожи то на барашек, то на белые конские гривы. В сильный ветер я как-то забылась и вошла в воду собирать ракушки. Присела, и какая-то волна чуть не унесла меня с собой. Мама тогда сказала, что море хитрое и злое, — оно выбрасывает раковины и красивые камешки, чтобы завлечь и погубить детей. Она говорила, что, если море захочет, то поглотит деревни, города и даже целые страны.

— А ты — защитница моря?! Девчата похожи на него, — изменчивые и коварные.

— Я — тоже? — удивилась Фатьма.

— Шучу, конечно, шучу...

— Ты лучше скажи, что такое счастье? Только не по книгам говори, как сам его понимаешь...

— Счастье — это, наверное, любить и быть любимым. Быть нужным другим, и чтоб другие были нужны тебе. К чему-то стремиться и, достигнув, снова стремиться. У настоящего счастья, как у алмаза, много граней.

Она помолчала, и вдруг повернула к нему лицо:

— А ты умеешь читать в своем сердце?

— Зачем ты спросила об этом?

— Просто так.

— Просто? — В его голосе был упрек. — А я уже давно брежу тобой...

— Смотри, вон красные и зеленые огни! — оборвала его Фатьма. — Это пароход? Нет, огни неподвижные, там — мол.

Она вызвала его на откровенность и побоялась разговора. Но Павел хотел знать правду:

— Ты кого-нибудь любишь?

— Не знаю... Я и сама не разберусь, — сказала она.
Туман вставал над морем, затягивал берег, подбирался к пригорку, на котором сидели Павел и Фатьма.

ГЛАВА X

Управление «Азнефти» помещалось в бывшем дворце банкира. Ступеньки из мрамора были такими белыми и чистыми, словно их только что замело снегом. Следы мазута, глиняные разводы и пыль, принесенные за день сотнями подошв, не оставались на них. Лестница переходила в просторные, залитые светом коридоры, в которых шпалерами выстроилось множество дверей. Они вели в комнаты, где размещались отделы «Азнефти».

Окна углового кабинета управляющего «Азнефти» выходили на восток и юг. В этом было нечто символическое: они смотрели в сторону, где находилось большинство промыслов и были обращены к морю, где засыпалась бухта, чтобы стать новым нефтяным плацдармом.

Все члены правления и руководители нефтяных районов были в сборе. Управляющий Серебровский познакомил их с представителем «Главтопа», прибывшим из Москвы, и объявил:

— Заслушаем доклад товарища Татевосова.

Александру Павловичу Серебровскому было тридцать восемь лет. На вид ему давали не больше тридцати. Сухощавый, по-юношески бодрый, всегда носивший простую белую рубаху с отложным воротником, он выглядел очень молодо. Это впечатление не нарушали ни густые усы, оттенявшие энергичный рот, ни редкие волосы, разделенные пробором. Широкий разлет бровей подчеркивал выразительность пытливых глаз. Он и сейчас внимательно, с нескрываемым интересом оглядывал участников заседания, будто встречался с ними впервые.

Видели его глаза немало, прежде чем Серебровский два года назад с мандатом, подписанным Лениным, впервые перешагнул порог этой комнаты. Пятнадцати лет отроду начал он работать в Уфимских железнодорожных мастерских, год спустя уже посещал занятия марксистского кружка, девятнадцати лет вступил в партию. Депутат путиловцев, участник первой русской революции, он был членом Исполнительного Комитета Петер-

бургского Совета рабочих депутатов, доставлял транспорты с оружием из Финляндии, сражался на баррикадах Красной Пресни, поднимал на борьбу рабочих Москвы, Иваново-Вознесенска, Одессы, Баку. Приговоренный к пятнадцати годам каторги, бежал из Сибири. Он прошел через тюрьмы, ссылки, эмиграцию. Октябрьский ураган застал его в Петрограде, и Серебровский вел красногвардейцев на штурм Зимнего. Вторично дорога на бакинские промыслы пролегла для него через фронтовые окопы Украины и юга России. Ленин хорошо знал его с пятого года, — Александру Павловичу довелось часто встречаться с ним и позже, за границей, после победы Октября выполнять задания Ильича.

Вот каким человеком был командарм бакинского нефтяного фронта коммунист Серебровский!

...Татевосов поправил шелковый узелок галстука, дохнул на карманные часы, бережно положил их перед собой:

— Я отниму у собравшихся немного времени...

Сумбат Геворкович старался говорить просто и бесстрастно, почти не выделяя интонацией и паузами примеры и цифры, которые сами говорили за себя. Никаких выводов и заключений он не делал, предоставляя аудитории пищу для размышлений. Татевосов рисовал и общую картину бурения в Баку, и подробно останавливался на отдельных буровых. Назвав огромную сумму, затраченную на проходку скважин вращательным способом и сопоставив ее с ущербом, нанесенным авариями, поломками и простоями на буровых, он кончил.

Вытирая накрахмаленным платком лоб, Сумбат Геворкович все ниже опускал голову, как бы подавленный теми безрадостными фактами, которые был вынужден привести в интересах дела.

Молчание было недолгим.

— Разрешите мне, как геологу, сказать пару слов?— поднялся с места пожилой, выбритый до синевы мужчина. Сняв пенсне, обнажившее темные вмятины у глаз, он сказал:

— Лучше признать ошибку, чем, упорствуя, усугубить ее. То, о чем говорил нам товарищ Татевосов, свидетельствует о полном провале. Такова уж специфика апшеронских грунтов. Я это предсказывал... В наших пластах много трещин, — отсюда уход раствора, потеря

циркуляции и прочие напасти. Будем ориентироваться на старое, ударное бурение, трижды испытанное и надежное!

Он неуклюже опустился на стул, смущенно развел руками:

— Поймите меня правильно... Вы же знаете, что я не консерватор.

Его слова произвели впечатление. Геолог был признанным авторитетом, на его исследования ссылались в своих трудах видные ученые, имя его упоминалось в лекциях профессоров Московского и Петроградского университетов.

— Говорите... — Серебровский кивнул головой подтянутому, сухопарому инженеру с бледным, словно застывшим лицом.

— Возможно, что за ротором будущее, и даже большое будущее, — подняв рыжеватые брови, начал тот. — Но у нас заботы дня. Практика показывает, что этот способ пока несовершенен, ведет к частым обвалам в стволе, порче инструмента. Интересы народа требуют, чтобы мы сняли бурильные станки с площадок.

— Зачем же за весь народ расписываться? — оборвали его с места, но выступающий пренебрежительно повел плечами и стал снова излагать свои доводы.

— А что думаешь ты, Василий Петрович? — Управляющий «Азнефти» обратился к своему заместителю, бывшему рабочему сабунчинских промыслов.

— Подумаю еще. Подумаю... — тяжело задышал тот. — Не все ясно. Как бы дров не наломать...

Паркет заскрипел под быстрыми шагами человека, поравнявшегося со столом управляющего. Щеки его пылали, лицо, руки были в движении, и лишь жесткая копна волос оставалась неподвижной. Это был самый молодой член правления, начальник ведущего отдела треста.

— Мне, как студенту-недоучке, возможно, неудобно выступать против уважаемых специалистов, — с горячностью бросил он, — но придется. Выгнал меня с последнего курса «технологички» на каторгу Николай, так что насчет моего диплома все претензии — к нему. Это я так, для сведения... А вот что скажу по-существу. До того все мрачно обрисовал наш технический директор, что хоть ложись и помирай. Но мы помирать не собира-

емся, не для того власть у буржуазии брали. И напрасно мировой капитал на это надеется. Мы строить и расти будем. Сотни цифр привел товарищ Татевосов, а вот одной, самой главной, самой решающей у него не нашлось. Смотрите, — до революции производительность труда составляла тринадцать пудов нефти, а у нас она достигла семнадцати. Скажете, немного! — Отвечу: «мал золотник, да дорог». И как дорог, товарищи! Он-то и убеждает сильнее всего, что нам на самую крутую гору взобраться. О пролетарской отваге забыл сказать товарищ Татевосов. А перед отвагой этой ничто не устоит.

— Я тоже верю в торжество революционных идей. Но у нас не митинг, а технический совет, — вставил Татевосов.

— Политику от техники не отделяю! — возбужденно ответил выступающий. — Я обошел все точки, где установлены бурильные станки, говорил с людьми. Верно, что затруднений — по уши, только ведь новое всегда рождается в муках. Если мы поможем рабочим ликвидировать аварии, ротор оправдает себя. Двумя руками— за него!

Сидевший у окна работник, ответственный за снабжение, медленно поднял руку.

— У меня короткая справка, — пояснил он. — Докладчик утверждал, что надежды на получение оборудования и материалов у нас почти нет. Он ошибается. За два последних месяца из России прислали 2600 пудов бурильных инструментов, два вагона чугунных труб, пять станков для вращательного бурения, состав с цементом, 14 тысяч пудов серного колчедана...

— Это — капля в море, — раздался чей-то голос.

Пожилой инженер добродушно заметил:

— Добиться бы нам регулярных поставок от американцев, и делу — конец.

— Ловить американцев за фалды мы не будем. Который месяц они везут и не довезут станки! Рассчитывать на американского дядюшку — пустой номер, — резко ответил Серебровский.

— Напрасно мы и с французским «Сосифросом» заключили сделку! Обойдемся и без хваленого американского опыта, сами научимся ротором бурить, — запальчиво произнес бывший студент-революционер.

— И вы глубоко неправы! — остановил его Серебровский. — Чванливость, что дурная болезнь.

— Получается заколдованный круг, — в недоумении затеребил шевелюру молодой начальник отдела.

—Нет, не получается, — произнес, опираясь ладонями о спинку стула, заместитель управляющего. — Товарищ Татевосов, и кое-кто иже с ним, надели черные очки, вы на все смотрите сквозь розовые. А мы, большевики, советские хозяйственники, должны видеть обстановку в истинном свете.

Говорилось здесь о пролетарском мужестве. Оно есть. Временами через край хлещет. Но на одном этом коньке в социализм не въедешь. Забастовки тартальщиков, когда мы заменяем желонки качалками, у нас возникают, даже случаи порчи оборудования были. Выходит, и за новую технику надобно бороться, и за новое человеческое сознание. Знания, культуру обязаны мы дать рабочему. Почему случилась авария на девятнадцатой буровой в Сураханах? От неумелого обращения с инструментом.

Я нашу апшеронскую землю, как свои пять пальцев знаю. Может, и лучше. На свои руки некогда было глядеть, еще мальчишкой меня к нефтяному колодцу приставили. Сызмальства только и видел, что серый песок, да черную нефть. Молодость, зрелые годы на буровых прошли. Зачем вы нас трещинами и пустотами стращаете, товарищи-спецы? Мы с ними справимся. Отказываться от ротора нельзя!

— Хочу возразить Василию Петровичу, — подавшись всем телом вперед, заявил узкоплечий, с жесткими чертами лица мужчина средних лет. Его острый костистый подбородок и щелки-глаза были нацелены на заместителя управляющего.

— Нам нужен безукоризненный научный подход, а не дилетантские беседы на моральные темы, — кипятился он. — Как исполняющий обязанности главного инженера, — я протестую. Что это за черные очки, розовые очки? У специалистов имеется один язык — язык расчетов, формул, экспериментов.

— Прошу вас взять тоном ниже и быть терпимым к мнению других, — перебил его Серебровский.

— Постараюсь. Сравним состояние пластов у нас, на Апшероне, и в Калифорнии, Пенсильвании. Они далеко

не в нашу пользу. Поэтому в Америке бурение ротором идет успешно, а в Баку — неизбежные срывы. Образно говоря, там — вращательное бурение, а мы крутимся-вертимся вокруг бездействующих станков и неподвижных труб.

Он все больше горячился.

— Поймите, мы не успеем дойти до проектной глубины, как пробуренный колодец обвалится! Мало того, это грозит нам обводнением нефтяных пластов. Каждая авария станет катастрофой: придется оставить в стволе инструмент и трубы. Нас соблазняют тем, что благодаря ротору мы достигнем больших глубин? Самообман! Крутящий момент будет столь велик, что колонна оборвется.

Мои коллеги, заслуженные специалисты, говорили излишне деликатно, они не ставили точки над «и». Это и понятно, — беспартийные, они опасались, что мы превратно истолкуем их слова. Мне, как члену партии, проще сказать горькую правду: вращательное бурение у нас неприемлемо, оно чревато опасными последствиями, вредно! Внедряй его промышленники, и я бы набрал в рот воды, их убытки меня бы не тревожили. Но бросать на воздух деньги революционного пролетариата?! С этим согласиться невозможно, и я готов бить во все колокола, писать в ЦК, в Совнарком, лично Ленину!

Голос его раскатами грома носился под сводами зала-кабинета, и сам воздух, сжатый среди стен, казался наэлектризованным. Многие, не успев осмыслить сказанного им, все же напряженно внимали гневной речи.

Грозовую атмосферу разрядил Серебровский:

— Сделаем перерыв, — объявил он.

Кабинет опустел, все вышли в приемную и коридор. Член правления, лишь утром вернувшийся из Батума, щедро угощал привезенным табаком. Татевосов обычно не курил, однако на этот раз попросил Алибекова свернуть ему папироску. Осторожно взяв Аслана Алиевича под локоток, он повел его в дальний угол коридора.

— Надумал сидеть смирно, и мудро поступаешь, — увещевал он Алибекова. — Я, дорогой мой, выступал по необходимости, мне — не открутиться...

Аслан Алиевич нетерпеливо перебирал четки и смотрел в сторону. Однако Татевосов не отставал от него:

— По-моему, последнее выступление было блестящим. Мертвого убедит... Ты как считаешь?

— Крутящий момент.

— Что? — не понял Сумбат Геворкович.

— Я говорю, что крутит он. Как веско дал понять, что он партийный. Быть может, в моих беспартийных устах это звучит, как крамола, но он — типичный демагог.

— Даже так? — Татевосов в замешательстве отошел от Аслана Алиевича.

Молоденькая секретарша в гимнастерке зеленого цвета и юбке, не скрывающей прелести ее точеных ножек, окликнула Алибекова:

— Вам из Сураханов телефонограмма. Просили срочно передать...

Аслан Алиевич взглянул на подпись — «Кудрат Ахмедов» и пробежал глазами текст, набросанный бисерными буковками на пахнущем духами листке: «Аварию устранили. Снова бурим. Прошли еще пять метров. Скажите товарищам Нариманову, Кирову и Серебровскому, что буровую сдадим в срок».

От Сумбата Геворковича не укрылось, что Алибеков внезапно повеселел, однако вновь завязывать с ним разговор не рискнул.

Секретарша, одинаково мило улыбаясь всем членам правления и приглашенным, просила их зайти в кабинет: время перерыва истекло.

— Есть еще желающие? — спросил Серебровский.

— Можно мне? — Аслан Алиевич достал из внутреннего кармана пиджака блокнот. — Я приготовил кое-какие выкладки. Но сначала прочту записку, которую передали по телефону с буровой...

— Спасибо за хорошую весть. — У Серебровского сжатые у переносицы брови разошлись. Он что-то с жаром доказывал москвичу и в то же время внимательно слушал Алибекова.

— Посеешь шипы, виноград не соберешь, — издавна говорили в народе. Ударное бурение себя изжило, с ним границы промыслов не раздвинешь, вглубь недр не пойдешь, — это сделает ротор. Но почему мы до сих пор терпели неудачи? Виноваты бурильные станки и долота? Нет. Наше зло — плохая организация труда. Я приведу цифры...

Аслан Алиевич говорил неторопливо, убедительно, подкупая искренностью и богатым, тщательно собран-

ным материалом. Он завоевал слушателей прочнее, чем автор громовой речи. Однако Татевосов был на страже:

— Вы утверждаете, что на девятнадцатой буровой имеются сдвиги. Допустим. Но где гарантия, что там опять не произойдет авария?

— Побывайте в Сураханах на этих днях, и убедитесь, — принял вызов Алибеков.

— Вашими устами бы мед пить. Но у нас, увы, не пасека, а промыслы, — съязвил Сумбат Геворкович.

В кабинете зашумели, многие обменялись красноречивыми взглядами. О том, что Алибеков и Татевосов давние друзья, знали почти все. Никогда прежде они не спорили на глазах у всех, а теперь их столкновение переходило дружеские рамки.

Свою точку зрения высказали уже все члены правления. Все, кроме Серебровского. До сих пор он напролом шел с ротором, — не пошатнулась ли его уверенность, не изменил ли он свое мнение под давлением веских фактов и сокрушительных доводов, приведенных большинством специалистов?

Александр Павлович подошел к окну, смотревшему на море, протер запотевшее стекло. Он слегка потянул за ручку, и в комнате повеяло прохладой. Надеялся ли он увидеть засыпанную Бухту, скрытую от глаз шишкой Биби-Эйбатской горы? Или ему просто хотелось раздвинуть стены кабинета, ощутить связь с тем большим реальным миром, который был вокруг.

По-разному могли относиться к его личным качествам сидевшие в зале хозяйственники и инженеры. Одни считали его слишком ретивым, кое-кто даже рискованным, не все мирились в душе с его вспыльчивым характером, находились и люди, принимавшие его бьющую через край энергию за суету. Иные из рабочих-выдвиженцев втихомолку поругивали управляющего за то, что он слишком доверчив к спецам, маститые специалисты, в свою очередь, недоумевали, как может он так смело опираться на бывших бурильщиков, масленщиков, машинистов, поднятых волною революции к управлению промыслами и заводами?! Однако и друзья, и равнодушные, и тайные недруги признавали его глубокую эрудицию, блестящий организаторский талант, изумительную работоспособность и справедливость.

— Один из выступавших товарищей, противник вращательного способа, запугивал нас тем, что будет писать Ленину. А Владимир Ильич, обеспокоенный топливным кризисом в стране, как раз и пишет: «Без бурения мы гибнем сами и губим Баку». Это — прямое указание на развертывание вращательного бурения!

— Для меня ленинское слово — закон, — с теплотой в голосе сказал Серебровский. — Когда бывает тяжело, когда устаешь кажется так, что не можешь больше работать, то вспоминаешь лицо Ленина, его глаза, его простой разговор, его ласковое отношение к людям. И снова становится легко, и снова можешь работать сколько угодно, и готов пробить головой любую стену, чтобы добиться победы.

Я не отвлекаюсь, товарищи. То, что волнует Ильича, должно волновать и нас. Легче всего отмахнуться от ротора, открыть ему дорогу гораздо труднее. Очень многое сейчас, к сожалению, говорит за то, чтобы отказаться от вращательного способа. Но немало у нас аргументов и в его защиту. Мой голос — с теми, кто, наперекор всем опасностям и преградам, готов продолжать проходку новым, передовым способом.

Отпив из стакана воды, он продолжал:

— Мы и на роторе не остановимся. Я открою секрет: инженер нашего треста, молодой, талантливый товарищ, вы его знаете, изобрел двигатель, который совершит переворот в бурении.

— Вы позволите, Александр Павлович? — У представителя «Главтопа», очень высокого человека с выправкой профессионального военного, хотя он никогда не служил в армии, был мягкий певучий голос. — Я хотел бы только поправить товарища Серебровского, который, на мой взгляд, очень душевно говорил о Владимире Ильиче. Действительно, товарищ Ленин требует от нас разворота бурения, однако он вовсе не настаивает именно на вращательном бурении. Думать и решать надлежит вам.

Владимир Ильич с колоссальным интересом, вам это известно, следит за бакинскими нефтяными делами, — он затребовал подробные доклады, перечел горы литературы, часто вызывает нас к себе. Дальновидность его поражает. Недавно мы получили от Владимира Ильича записку, в которой он ставит вопрос о заменителях ме-

таллических труб, и о том, чтобы создать вокруг Баку зеленый пояс, — плодородные поля и сады. При этом Ленин предложил использовать для орошения воду из нефтяных скважин. Иван Михайлович Губкин и я объяснили Владимиру Ильичу, что вода там соленая, отравленная примесями, негодная. «Ай-ай-ай, как я промахнулся! — рассмеялся Ильич. — Нефтяник из меня никудышний...» И вопрос об орошении этой водой сразу же отпал.

Ленин первый осудил бы нас, если бы любое его предложение, реплика, наметка возводились бы в догму, трактовались, как божественный перст, и осуществлялись бы без обсуждения и проверки.

Это было бы большой бедой для нашего государства, если бы когда-нибудь в будущем каждое, даже мимолетно сказанное слово руководителя объявлялось бы непререкаемой истиной, а любое, попутно брошенное им замечание становилось бы обязательным практическим указанием.

От меня, по всей вероятности, ждут, чтобы я сказал, какую сторону я держу. Душой я с поборниками нового, но, не скрою, дело это — весьма рискованное и тяжелое. Логика велит скорее согласиться со сторонниками утвердившего себя ударного бурения. Но сказать «да», или «нет» должны вы, а не я. Владимир Ильич, Совет Труда и Обороны полагаются на коллективную мысль и волю руководителей «Азнефти». Вам дали право самостоятельного выхода за границу, заключения договоров с иностранными фирмами, и с бурением вы сами способны найти наилучшее решение.

Обсуждение закончилось. Стало так тихо, что было слышно, как ветер, пробивавшийся сквозь щели в окнах, шуршит штофной портьерой. Теперь все решало голосование.

— Голосуют члены правления. Кто за продолжение работ? — голос Серебровского разрезал тишину. Он обвел глазами поднятые руки и нахмурился: сторонники ротора оказались в меньшинстве, — не хватало одного голоса.

— Кто против?

Та же цифра.

— Я воздерживаюсь, — пояснил Татевосов. И почувствовав на себе удивленные, насмешливые взгляды, добавил: «товарищ Алибеков заставил меня задуматься, — его доводы опровергнуть нелегко».

— Лиса! — с брезгливым выражением лица и достаточно громко, чтобы Сумбат Геворкович мог его услышать, произнес заместитель главного инженера.

— Вы что-нибудь понимаете? — шепотом спросил Алибекова сидевший рядом начальник Раманинского нефтеуправления.

— Затрудняюсь. Чужая душа — потемки, — ответил ему Аслан Алиевич. Сказал, и потом уже подумал, что, наверное, нелепо так говорить о человеке, которого знаешь со студенческих лет.

— Во всяком случае, Татевосов сделал ход конем...

Хозяйственник из Раманов угадал. Сумбат Геворкович в шахматы играл весьма посредственно, часто попадал в ловушки. А в жизни он умел рассчитывать на много ходов вперед и разыгрывать искусные комбинации. Когда он увидел, что, несмотря на все его старания, силы сторон оказались примерно равны, то решил, что ни одной из них он не даст перевеса. Его бывшие хозяева прочтут в газетах доклад, в котором он, по-существу, зачеркивает ротор. Они должны это оценить. А навлекать на себя подозрение и гнев нынешних хозяев глупо. Удержат они власть, и эта позиция ему зачтется, потеряют ее, — он докажет, что срывал планы большевиков.

— Вопрос остался открытым, — оживляясь, сказал Серебровский. — Есть предложение создать комиссию, которая детально изучит ход бурения в Сураханах. Материалы ее снова рассмотрим на заседании правления. Председателем комиссии назначается товарищ Алибеков.

ГЛАВА XI

Полуостров Апшерон... Его, словно коготок, выпустил в море Кавказ. Всем ветрам открыт Апшерон. Они замели его песками, иссушили его тоненькие речки, отогнали от него набухшие дождевые облака. Март — месяц ветров. Норд и моряна насквозь пронизывают город, подни-

мают в воздух несметные тучи песка, пригибают к земле чахлые деревца.

Но конец марта — это уже весна. Идут на убыль ветры, и нет-нет да брызнет дождь по крышам бакинских домов, прибьет пыль к земле, вымоет песчаное безбрежье. Половодье, разливы, талая вода... — их не знали в этих краях. Где-то далеко отсюда вскрывались ото льда реки, таяли снега, пары окутывали пашни.

Затянутая природным асфальтом и киром, промысловая земля оставалась безжизненной и весной. Сквозь песок, стянутый коркой мазута, не пробиться ни траве, ни верблюжьей колючке. Но в степи, за сураханскими вышками, вокруг зеркальной чаши Бюль-Бюлей, на побережьи в Говсанах краски менялись. Зелеными пятнами, похожими на выцветший мох, покрывались солончаки. Блеклый сарсазан взбивал бугорками землю, сверкающую от серебристо-белой соли.

Еще дальше от промыслов цвели синие казачки, радужный паслин. А неподалеку от моря, прикрытые зыхским крутогором, террасами спускались вниз маки. Зеленая и плоская, без единого деревца степь внезапно становилась ярко-красной. Цветы пачкали руки, лицо, они были пылающими, оранжево-алыми, розовыми, с бархатной черной сердцевиной.

Салатные стебельки ячменя шли в рост. В дождливую весну он поднимался так высоко, что в посевах пряталась детвора. С незапамятных времен отдавали сураханцы предпочтение ячменю, и потому, что его хорошо рожала здешняя скудная земля, и потому, что сказано в священной книге: «пшеница развращает людей, ячмень же — пища пророков и святых».

Весной оживал виноград. Почуяв, как потеплела земля, чубук пробивался вверх с глубины двух-трех метров. Он не нуждался в дождях, ибо корни его всегда находили влагу на дне обрывистых траншей, вырытых виноградарем — тружеником и засыпанных зернистым приморским песком.

До чего короткий век у апшеронских трав — однолеток и цветов, вспоенных и согретых ранней весной! Уже в мае начисто сгорит трава, опадут маки, засохнут огоньки и паслин. Потом степь снова станет безликой, унылосерой и седой, и лишь отдельные желтые островки да осыпанные пылью светло-голубые колючки напомнят

о ее былой палитре. Все спалит беспощадное солнце; оно накалит песчаную почву, которая будет обжигать и сквозь подметки туфель. И вновь разгуляется песчаная хмарь, заколышется между землей и небом грязное знойное марево.

Тем дороже эта ненадолго отпущенная Апшерону весенняя пора.

Утопая в песке, Юсиф и Фатьма спускались к берегу. Море спорило, убеждая в чем-то непонятном, упрямо накатывало волны, пенясь и ворча.

— Закрой глаза и отвернись, — таинственно сказала Фатьма.

До слуха Юсифа донесся топот босых ног о песок. Он открыл глаза, — Фатьма отбежала далеко.

— А теперь догоняй меня! — крикнула она.

— Ну, берегись! — Юсиф помчался вдогонку.

Фатьма бежала легко, ее тонкие смуглые ноги летели над землей.

— Все равно, догоню! — Юсиф прибавил шаг. Он запыхался, все чаще и сильнее отталкивался ногами от земли, взмокший чуб залеплял глаза, но Фатьма лишь смутно угадывалась где-то впереди.

И вдруг он потерял ее из виду. По инерции все еще бежал, но на пути встали беспорядочно нависшие над морем камни, сыпучий песок, пепельные ежи колючек. Юсиф остановился, с трудом перевел дыхание, и растерянно оглянулся. Вокруг никого. Даже следов ее ног не было на дымившемся песке, лишь гармошку сложил на нем дувший с моря ветерок. Неужели нырнула, отчаянная!

— Фатьма! — что было сил закричал он. — Фатьма-а!

— Я здесь, — она возникла за его спиной.

Они выбрали гладкий плоский камень и уселись рядышком, свесив над водой ноги. Набегавшие волны ударялись внизу о скалистый выступ и брызги щекотали пятки. Берег, насколько хватало взгляда, был пустынен, но шумело не одно море — позади скрипел гонимый ветром песок.

— Знаешь, мои подруги, сбросив чадру, ходят, опустив глаза. Раньше я тоже так делала. Потом озлилась на себя: зачем открывать глаза для того, чтобы видеть лишь мостовую и чужие башмаки. Но мне становится

временами страшно, — такие взгляды я ловлю. Иногда бывает обидно, — почему я не родилась мальчишкой?!

— Ты смелее многих ребят, — заверил ее Юсиф.

— Послушаем море. Слышишь, как волны шипят? Чем они недовольны? — спросила Фатьма.

— Одинок Каспий. У других морей много братьев, они живут одной семьей. И к океанам им дорога открыта. А наше море, как отшельник. Потому и волны у него дикие и злые, тесно им, томятся. Жаждут они прорваться к остальным морям.

— Оно дышит совсем, как живое. Не сосчитать, сколько пузырьков со дна вверх пускает.

— Поднеси к ним спичку, и загорится море. Это газ поднимается из трещин. Алибеков рассказывал, что под Каспием везде — нефтяные озера и реки. Он говорил, что лет через сто, а, может, и пятьдесят люди научатся бурить прямо на море, и волны, шторм им будут нипочем. Хотел бы я до этого времени дожить...

— Юсиф, а коммунизм тогда тоже будет?

— Раньше, гораздо раньше! Окрепнем, от всех, кто против нас, очистимся и объявим: «Есть солнце на земле!» Зла нигде не будет, одно добро.

— Не верится... — Фатьма повела плечами. — Неужели так скоро люди изменятся, что сумеют жить без власти, без законов, по совести?

— А что?! Моего отца хоть сейчас в коммунизм бери, — клянусь, подойдет. Он поезд с мукой и маслом из Ростова в Баку сопровождал, начальником был, а приехал с пустыми руками и голодный. Половину своего жалованья беженцам отдает, которые у нас живут.

— Но мы с тобой для коммуны не подходим.

— Пока что, да.

— Разве за десять лет исправимся? Станем совсем другими?

— Кто его знает... — неуверенно ответил Юсиф. — И куда мы денем плохих людей и несознательных — я тоже не представляю.

— Разговоры о коммуне меня согрели, но не очень. Давай опять в ловитки играть! — спрыгнув на землю, Фатьма пустилась бежать.

— Стой! Теперь от меня не спрячешься... — Юсиф отрезал ей путь.

Или Фатьме хотелось, чтобы он нагнал ее, или Юсиф на этот раз бежал быстрее, — только через пять минут он уже держал ее за плечи и говорил: «Не вырвешься, сама виновата...»

Плечи Фатьмы дрожали, дышала она тяжело, волосы растрепались. Юсиф ослабил усилия, и ощутил, что ее маленькие подвижные руки сейчас сбросят его пальцы с плеч. Он взял ее руки в свои, заметил, как она вздрогнула. Прижался щекой к ней и ощутил тепло ее упругого гибкого тела. Фатьма стояла неподвижно, растроганная его лаской.

— Перестань. Нехорошо это... — Она отстранилась от него, медленно отвела руку.

...Трудно было Фатьме. Радостно сознавать, что Юсиф и Павел любят ее. На Павла заглядывались девчата, и это льстило ее самолюбию. А мимо Юсифа они проходили, не замечая. И это ей тоже нравилось. Никто, кроме нее, не видел, как загорались глаза Юсифа, как высоко носятся его мечты. Слушаешь Юсифа и хочется закрыть глаза, — кажется, будто где-то рядом возникает песня. Слушаешь Павла, и узнаешь что-то незнакомое, новое.

Кто ей дороже? Павел? Юсиф?

Он убрал руку, словно ожегся.

Не разговаривая, Фатьма и Юсиф шли по берегу в сторону косматой песчаной отмели. Обогнули взрыхленную ложбину с прелыми невысыхающими лужами, заросли камыша, клонившегося к морю. Камыш зашелестел, и навстречу им вышел рослый бритоголовый мужчина лет сорока пяти. Он стоял босой, в серых холщевых брюках, подвернутых до колен, и вертел в руках узловатый, разбухший от воды багор.

— Хош гельмишсиниз.* С утра вы — первые гости, — простодушно сказал он.

Лодочник жил возле Зыха, сюда подплывал, чтобы нарезать камыша. Лодка его была вытянута на берег и лежала, уткнувшись носом в песок. Лодочник рассказал им о себе. Кормится морем, знает, что оно не выдаст, хотя и бывает жестоким.

— Молодец девушка, что ходишь с открытым лицом! — одобрил лодочник. — Человек, как птица, рожден, чтобы быть свободным, — и мужчина, и женщина.

---

* Хош гельмишсиниз — добро пожаловать.

Меня отец в медресе* отдавал, мечтал муллу из меня сделать. А я сбежал... В море ушел, чтоб не терпеть притеснений на земле.

— До обеда я буду на берегу. Берите лодку, катайтесь, — предложил он. — В море все обиды на дно уходят...

Был берег пустынный, а первый же встречный оказался добрейшим человеком. Юсиф давно выучился грести, а Фатьма до этого не садилась в лодку, и все ей здесь в диковинку. Повернула руль, и лодка накренилась, пошла в другом направлении; опустила руки, и позади нее в воде осталась длинная, словно вырезанная выемка, а пальцы стыли от холода. Солнце согрело камни и песок на берегу, но море очень большое, и оно не скоро отогреется после зимы.

Посветлели глаза девушки, запрокинув голову, смотрела она на небо, совсем так же, как Юсиф у себя на вышке. Развязав на шее платок, прощалась с уходящим берегом, а Юсиф правил к островку, который длинной полосой желтел на море.

— Ау? Есть там кто?! — крикнула Фатьма.

Всколыхнулся, зашумел островок, черные трепещущие тени поплыли по светло-золотому песку. Бултыхнулись в воду островитяне, вспенили его тяжелыми тушами, — напугала их своим криком Фатьма.

— Смотри, это тюлени! Лежебоки, на солнышке грелись. Сколько их! — Юсиф налег на весла, чтобы поближе разглядеть встревоженное лежбище.

— Они не перевернут лодку?

— Где уж им... — сказал Юсиф. — Сплошные буржуи, — жирные бока себе отъели!

Фатьма не то, что бы замерзла, так, слегка продрогла и была признательна ему за то, что он догадался разжечь на острове костер. Коробка спичек у Юсифа случайно застряла в кармане, а щепки и сухие промасленные доски он обнаружил в заброшенном рыбацком сарае. В самом темном углу там висели твердые, как поленья, рыбины. Юсиф колебался, снять одну из них с веревки, или нет. Он и Фатьма успели проголодаться с утра, но ведь неприкосновенный запас, сделанный рыбаками, предназначался не для таких путников, как они.

---

* Медресе — религиозная школа.

— Останусь у рыбаков в долгу. Как-нибудь им отплачу, — решил он.

После еды им захотелось пить, а в лодке на счастье был бочонок с водой. Юсиф опрокинул его и показал Фатьме, как подставлять пересохшие губы прямо под серебряный жгут воды.

Обойдя островок, вернулись к огню. Фатьма поправила малиновые угли, вытянула над ними руки.

Ветер крепчал, сгоняя над водой сизые, махровые тучи.

— Едем, Юсиф, едем! — спохватилась она. — Уже не видно берега...

Лодку подхватили, подбросили волны, закружили ее. Острые холодные брызги слепили глаза. Смотреть на кипящую воду и чернеющее небо было страшно; Фатьма смотрела на Юсифа, смелого, уверенного в себе, и ей передавалось его спокойствие.

— Берегись, Юсиф, столкнешься! — успела крикнуть Фатьма, заметив юркий белый парусник, летевший по волнам наперерез их лодке.

Юсиф поднял глаза и в недоумении уставился на парусник, проносившийся в нескольких метрах от них. Фатьма тоже пристально следила за его движением. И вдруг глаза Юсифа потемнели и одно имя замерло на устах его и Фатьмы — «Павел!..» Это он управлял парусом, а за рулем сидел кряжистый, с квадратными скулами человек.

— Комов! Эсер... Зачем с ним Павел?.. — вырвалось у Юсифа.

— Ты не ошибся?

— Он! Он! — подтвердил Юсиф. — Помню его, у нас в Сураханах жил. Заводила у эсеров, не маленький человек. Очень вредный он, хуже не сыщешь. Тартальщиков подбивал, чтобы бастовали... Как Павел может с ним гулять? Что у них общего? Или он Павла к измене склоняет?

— Выдумываешь!

— Своим глазам я верю! — вспыхнул Юсиф.

Мгла была такой, что они, не видя берега, ощутили его, — ударились днищем лодки о песок. Закрапал дождь, чеканя монеты на песке, и бог весть откуда взяв-

шийся казалакчи посадил их в свою тесную и тряскую повозку.

Отступало море, стихал ветер, и дождь уже не казался холодным. Кривые искрящиеся струйки соединяли лужи, и они, изливаясь ручьями, бормотали и звенели среди камней, гудели в гуще размытых холмов, с шумом устремлялись в крутояры.

Это набиравшая силы апшеронская весна пробивала себе путь.

ГЛАВА XII

Пять бурильных станков пришли из Нью-Йорка в Баку. Их доставили в Константинополь на американском судне, а там перегрузили на советский нефтевоз. Стоун сам раскрывал ящики, снимая с металла смазку, проверял технические паспорта.

— Теперь дело пойдет! — сказал он Серебровскому, прибывшему на станцию.

Но в комплекте не хватало коробок скоростей и грязевых насосов. «Застряли в Константинополе или Батуме, — небрежно заметил Стоун. — Будем ждать».

Александр Павлович запросил Константинополь и Батум, — ответы были неутешительные.

— Фирма тут ни при чем. Мне очень жаль, что Штаты не признают Россию. Очевидно, свинью подложили таможенники Нью-Йорка, — объяснил Фрэнк.

— Похоже на саботаж?! — у Серебровского был недобрый огонек в глазах.

— Что вы?! — Стоун изобразил недоумение. — Я и мои коллеги-мастера — всей душой к вам...

— Станки должны быть установлены. Иначе мы расторгнем договор, — заявил Серебровский.

Фрэнк никак не думал, что в «Азнефти» подберут насосы к станкам и сделают на скорую руку коробки скоростей. Однако он признал их годными и даже сам взялся за установку оборудования.

Новую точку в Сураханах выбрали вблизи от 19-й буровой, и Кудрат, артельщики ходили смотреть, как работают американцы.

— Без слов друг друга понимают, — удивился Курбанов.

— Организованный народ... — пожевал губами Денисыч.

Стоун заканчивал монтаж, когда на буровую приехали Киров и Серебровский.

— Ну, как успехи, Америка?! — Киров протянул Фрэнку руку.

—Олл-райт. По-русски говоря, «за здорово живешь»! — широко улыбнулся Фрэнк.

— Он из меня, «за здорово живешь» жилы вытянул,— буркнул Серебровский.

— Ты, Александр Павлович, многожильный, тебе не страшно. — Киров потрепал его по плечу.

Осмотрев ротор и вертлюг, Сергей Миронович послушал, как работают мотор и насосы.

— Завтра все будет готово, — кому сдавать площадку?! — спросил Фрэнк.

— Главному инженеру района.

— Погоди, Александр Павлович, а что, если американцы сами ее пробурят?! От начала и до конца. Пусть покажут, на что они горазды.

— Согласны с артелью наперегонки? — Киров показал глазами на Кудрата. — Будете состязаться?!

Мастера, не понимая, переводили взгляд с Кирова и Серебровского на Стоуна.

— Советский начальник предлагает состязание с русской артелью. Как в регби. Кто кого побьет... — сказал Фрэнк.

Усевшись на чан, он стал напевать себе под нос. Ему нравилась затея Кирова, он был непрочь щегольнуть перед русскими своим искусством и размахом. Помощники у Фрэнка были опытные, и эта работа не очень обременила бы инженера. А завоевав престиж, он скорее осуществит свой план.

— Вызов принимаем, — Стоун слез с чана.

— Что скажешь, Кудрат? Потягаешься с Америкой? — подмигнул Киров.

— В грязь лицом не ударим, — ответил тот.

— Итак, по рукам? — Сергей Миронович объявил, что победителей премируют.

С его выдумкой и прытью он мог бы стать в Штатах видным бизнесменом, — подумал о Кирове Стоун. — Даже акулой на Уолл-стрите... Фрэнка рассмешила эта мысль, — Киров — миллиардер, услышал бы ее се-

кретарь ЦК. Киров всю жизнь посвятил тому, чтобы отнимать у владельцев богатства, делая их общим достоянием. Преглупое занятие для умного человека. Фрэнк решительно не понимал Кирова и остальных большевиков. Стоило им брать власть в свои руки, чтобы создавать себе одни хлопоты и беспокойство?..

Ровно в пять, развернув свой «Форд» у промыслового управления, Фрэнк выключил мотор. Настроенный благодушно, он заранее предвкушал удовольствие от встречи с Лидой, которая приглянулась ему еще в ресторане «Луна» и так кстати оказалась в Сураханах.

В подъезде появилась Лида, тронула пальцами челку, заспешила к машине. Изящно идет, волны так и бегут по юбке, — отметил Фрэнк. Чулки, обтягивающие ее ноги и туфли, которыми она стучала по асфальтовой дорожке были его подарком. В багажнике «Форда» лежал, перевязанный лентой, сверток. Чтобы машинистка стала покладистой, он купил для нее блузку и пару белья.

Фрэнк уже протянул руку, чтобы открыть дверцу, как откуда-то вынырнула долговязая фигура Доренского. Волосы у него были всклокочены, на шее болтался засаленный желтый бант. Загородив Лиде дорогу, художник судорожно глотнул воздух:

— Ка-ак ты сме-ла...

Лида остановилась, затеребила сумочку.

— Неблагодарная! — У Доренского срывался голос.

— Что ты хочешь? — Она с презрением взглянула на него.

— Пойдем! — Доренский тянул ее за рукав.—Нужно поговорить.

— Оставь. Ты мне опротивел! — яростно бросила она.

— Люди смотрят, перестань...

Стоун, с усмешкой следивший за ними, включил зажигание.

— Я тороплюсь! — окликнул он Лиду.

— Только через мой труп! — театральным жестом воскликнул Доренский.

Увидев, что вокруг собираются люди, Стоун счел лишним привлекать к себе внимание:

— В семейных сценах я не участник. Пока!

Машина скрылась за поворотом, а синее облачко, взбитое ею, медленно поднималось от земли. Забыв об осторожности, Доренский отчитывал Лиду:

— С кем ты связалась? Ради кого рвешь со мной?! Это же человек, для которого нет ничего святого! Если бы ты знала, кто он...

— Говори, кто он, — мошенник, спекулянт, контрабандист? Что же ты молчишь, — трус, завистник, слизняк?!

— Он и тебя вовлек? Ты знаешь, чем рискуешь?

— Хочешь запугать меня? Бесполезно.

Опомнившись, Доренский опустил голову и выдавил: «Да, я сболтнул лишнее»... Бледный, со впалыми щеками, он униженно просил ее поехать с ним в город: «Я наберу заказов и озолочу тебя!»

— Убирайся, и чтоб духу твоего не было! — Она злилась на него и за уличный скандал, и за сорванное свидание с Фрэнком.

Вечер был потерян, и Лида побрела домой. Открыла дверь в коридор, там стоял Павел.

— Я обогнал тебя, — сказал он.

Лида нервничала, и ключ долго не попадал в замочную скважину.

— Помочь тебе?

— Как-нибудь, сама. Намерен воспитывать меня? — Она круто повернула ключ, толкнула створку плечом.

В комнате было холодно и неприютно, по оконным стеклам ползли грязные разводы, у плинтуса скопился сор.

— Сама с иголочки, а живешь, как в хлеву, — не сдержался Павел.

— Плевать! Не для кого стараться. — Расстегнув жакет, Лида села на кровать.

— А для себя?

— Упаси бог! Человек живет во имя общества и великой цели. Поставить чай? Ничего, что без сахара и заварки?

— Подружилась бы с Фатьмой, Леной из ремконторы. Вокруг столько хороших людей.

— Пришел агитировать меня? Но и ты не похож на счастливца.

— Больно за тебя. Живи отец, он бы ахнул, видя такое!

— Отец? Он был чересчур порядочным и честным. И, в общем, неудачником. А процветают те, кто себе на уме. Скажешь, нет?!

— Где ты набралась этой дури? — Лида уже начинала раздражать его.

— Дошла своим умом. — Она повесила на гвоздь жакет, стерла помаду с губ. В глазах блеснули слезы.

— На биржу ходишь? — Боясь, что она расплачется, Павел перевел разговор.

— Только время терять... Нет у них путной работы.

Убирая со стола посуду, Лида принялась рассказывать, как знакомый художник, оформлявший аттракцион «Чудеса черной магии», порекомендовал ее туда. Шустрый, с развязными манерами администратор, посмотрев на нее, расцвел: «О-о, внешние данные блестящие», и подвел ее к каким-то ширмам, ящикам и зеркалам, задрапированным черным бархатом. «Вы — женщина-паук, — сказал он. — Будете неподвижно сидеть и отвечать на вопросы публики». Она сбежала после первой же репетиции: чувствовала себя загнанной в клетку и было тошно говорить, будто голова ее существует отдельно от тела.

— Знакомый художник? Тот, с которым ты сейчас ругалась? — Павел вспомнил о намеках Доренского. «Человек, для которого нет ничего святого», «Ты знаешь, чем рискуешь?» — это сказал художник об американце, ухаживавшем за Лидой. Неужели инженер втянул ее в свои авантюры?

Лида обошла молчанием вопрос брата, он услышал лишь шипенье спички и треск зажженного примуса.

— Перестань встречаться с американцем, прошу тебя! И этот психопат-художник тебе не пара. — Павел обнял ее.

Лида вырвалась, багровые полосы вспыхнули на ее шее.

— Не смей поучать меня! Иностранец, художник, — какое тебе дело?! Я сама отвечаю за себя...

Прикрыв дверь снаружи, Павел еще с минуту постоял у порога. Ждал, не окликнет ли его сестра. Но в комнате было тихо.

Что делать? — спрашивал себя Павел. Повлиять на Лиду, переубедить ее, — он не в силах. Просить помощи у Кудрата? У того своих дел по горло, и Кудрат уже искал для нее работу. Допустить, чтобы Лида катилась по наклону? Не совершила ли она преступления,

помогая американцу? Но в предположениях можно зайти далеко... У него нет ни доказательств, ни догадок, — только смутные намеки художника. Если он сообщит об этом в Чека, то бросит тень на сестру, возможно, погубит ее.

Он взмок в своем кожаном реглане, хотя было совсем не жарко. Подумал о том, как было хорошо и просто еще год-полтора назад. Военный коммунизм, все равны, а богатеев — к ногтю. Никаких иностранцев, а появись они, — дали бы им коленкой под зад. Тревожная и суровая, но одинаковая для всех жизнь — ни излишеств, ни соблазнов.

Он осуждает Лиду, а крепкого ли замеса он сам?! Умереть не страшно, страшно не жить! Сумеет ли он побороть в себе сомнения и страхи, чтобы жить мужественно и с толком!

* * *

По четвергам Кудрат бывал в мастерской. Чтобы не пропустить его, Фатьма дежурила у закопченного окошка кладовой. Пойти к Кудрату она не рискнула, — столкнется в коридоре с Аждаром или отцом, Юсиф замучает ее потом расспросами.

— Тали готовы? — услышала она голос Кудрата.

Елочками выгнув брови, Кудрат помахал ей рукой:

— Здравствуй, дочка! Ты за эту неделю еще красивее стала.

Фатьма подождала, когда он примет тали:

— Поговорить хотела...

— Это можно.

Возчик был глуховат, и Кудрат дважды повторил, чтобы тот ехал один.

За мастерской темнели сваленные дрова. Выбрав корягу почище, Кудрат сел рядом с Фатьмой:

— Трудно тебе в общежитии...

— Да. Но разговор не обо мне. Я Павла видела с эсером. И Юсиф его тоже видел. В глухом месте, похоже, что они прятались от людей. Не верю, что Павел в дурном деле участник, а Юсиф его подозревает. Юсиф горячий, он шум поднять может, товарищу повредить... Со мной он спорит, а я сердцем понимаю, что Павел

чист. Только иногда пугаюсь, а вдруг Юсиф прав, и Павел заодно с эсерами... Как быть, Кудрат?

— Как быть?! Ты росла вместе с Павлом, я знаю его с пеленок. Забудь, что видела его с эсерами, и постарайся, чтобы Юсиф забыл. Мы были бы плохими ленинцами, если бы допустили, что любого из нас можно сделать предателем.

— Я поняла, Кудрат.

— Аждар оставил тебя в покое? Я предупреждал его...

— Если бы только Аждар! — вырвалось у Фатьмы.

— Достается тебе, девочка, — участливо взглянул на нее Кудрат. — Много у тебя врагов... Но ты — пример для тысяч женщин, запертых в домах, скрывающих свои лица под чадрой. С женщиной не считались. Таких девушек, как ты, пока что мало, но придет время, и все вы станете хозяевами жизни. Не один правоверный обрадовался бы, споткнись ты, соверши ошибку. Держись Фатьма!

ГЛАВА XIII

Вечером к Аслану Алиевичу постучали. Он открыл дверь, и в комнату, торопливо шагнув через порог, вошел человек в потертой куртке из кожи, зажатой ремнем и портупеей. За ним стояли двое в шинелях. Один остался у дверей, другой последовал за человеком в кожанке.

— Из Чека. Кто квартиросъемщик? Документы! — потребовал вошедший.

Просмотрев паспорт Алибекова и смерив тяжелым взглядом Багию-ханум, он осипшим голосом спросил:

— Где он? Ответите за него головой!

— Никого у нас нет, — сразу побледнев, сказала Багия-ханум.

— Белую сволочь прячете?! — прохрипел человек в кожанке, выхватывая из кобуры наган.

— В той комнате ночевал Селимбек Ширванский. Днем он ушел и не вернулся, — Алибеков старался говорить спокойно.

— Куда ушел?

Алибеков пожал плечами.

— Имею ордер на обыск, — человек в кожанке потряс плотным листом бумаги с печатью перед глазами Аслана Алиевича.

Отпихнув ошеломленную Багию-ханум, он рванулся в другую комнату, заглянул за дверь и шкаф, вместе с бойцом отодвинул кровати. Дернул за дверку шкафа, откинул висевшие костюмы и платья.

— Ушел гад... — вырвалось у него.

Перерыв постели, он принялся за книги. Снимал с полки и этажерки томики и брошюры, бегло листал их, тряс над полом. Из темнокожего технического справочника выпала закладка с какими-то пометками. Слова были недописаны, перемежались знаками радикала и цифрами, — все это походило на шифр. Его озадачило сочетание «Париж—биржа—сураханская нефть...»

Боец принес из коридора, найденный им на дне сундука, саквояж из желтой, заграничной выделки кожи. Человек в кожанке открыл его, опрокинул содержимое на стол. Глаза у него загорелись: между нестиранным полотенцем и дорожным несессером лежали белогвардейская газета «Возрождение», пачка долларов, несколько писем.

Он взглянул, каким числом помечена газета, ехидно протянул: «Свеженькая, только доставлена...»

— Вещи не мои. Не знаю, как они попали в сундук,— ответил ему Алибеков.

Закладка из справочника и саквояж были изъяты, как вещественные доказательства. Аслану Алиевичу, Багие-ханум и соседям, которых позвали, как понятых, предложили подписать протокол. Через полчаса обтянутый брезентом автомобиль увез Алибекова из Сураханов в центр города.

— Это недоразумение. Я скоро вернусь, — бодрясь, говорил он жене на прощанье, но в камере-одиночке, оставшись наедине с собой, предался невеселым размышлениям. Вспомнил истории, которые любили рассказывать о Чека его прежние друзья, подумал, что улики против него имеются, а заступиться за «разоблаченного» врага, сына бека, бывшего управляющего промыслами, вряд ли кто захочет.

Нелепо все это получилось... Он уже ложился спать, когда услышал шаги в парадной, затем тихо скрипнули чьи-то туфли, словно бы скреблась мышь. Он затаил ды-

хание, ему почудилось, будто называют его имя. Сомнений не оставалось, снаружи в дверь слегка ударили костяшками пальцев. Он приоткрыл дверь, не снимая цепочки.

— Это я, Аслан, не бойся, — задышал ему в лицо Селимбек, младший брат Солтана Ширванского, земляка и старого приятеля Алибекова.

Аслан Алиевич пустил его в переднюю. Встряхивая промокшие пальто и шляпу, тот говорил, что два часа шел под дождем, продрог и валится с ног от усталости.

— Как ты очутился в Баку? — спросил Алибеков. — Солтан тоже здесь?

— Он остался в Стамбуле. А я не мог, — границу возле Астары перешел, еле до Баку добрался. Останусь на своей земле, обратно не уйду. Ты не бойся, я в милицию сам заявлюсь, пускай судят, ссылают, убивают, что хотят делают. На чужой стороне не могу, под своим небом хочу умереть.

Алибеков молчал, и Селимбек, заглянув ему в глаза, спросил:

— Ты — порядочный человек, не выгонишь меня на улицу, правда?

— Тише говори, Багию разбудишь, — сказал он Селимбеку. Аслан Алиевич не верил, что Селимбек раскаялся, странным выглядело его появление в Сураханах, ведь у него хватает единомышленников и дружков на Шемахинке, в Раманах, Даглинке. Прошлое Селимбека было хорошо известно Алибекову: в отличие от Солтана, который слыл у мусаватистов теоретиком, он занимался практическими делами, — распределял оружие, устраивал налеты на рабочие организации, ездил в районы подавлять крестьянские волнения.

— От Солтана тебе большой салам. Он говорил, что скучает по тебе, — вспомнил Селимбек.

— Спасибо, — сдержанно ответил Аслан Алиевич. Он порвал дружбу с Солтаном еще в восемнадцатом году, когда приятель стал заметной фигурой в мусаватской партии, — разглагольствования Солтана о национальном долге и союзе с турками—братьями по крови и вере — были ему чужды.

Алибеков интуитивно чувствовал, что от прихода нежданного гостя добра не будет, он брезговал его обществом даже на короткий срок, однако традиции восточ-

ного гостеприимства не позволяли ему показать на дверь человеку, искавшему крова.

— Оставайся... — разрешил он Селимбеку.

На цыпочках, чтобы не испугать Багию-ханум, пошел за чайником, согрел на газовой плите чай, поставил перед ночным гостем пайковый хлеб и пендир.* Стараясь не шуметь, постелил ему на тахте. Утром объяснил жене, как в их дом попал чужой человек, заверил ее, что Селимбек пробудет всего день-два.

— Приголубь ворону, она тебе глаза выклюет, — вздохнула Багия-ханум.

Перед уходом Алибекова на работу, Селимбек завтракал с ним, потом слонялся из угла в угол по комнате, остерегаясь приближаться к окну, а днем, не попрощавшись, исчез, забрав все свои вещи. Только саквояж его почему-то вдруг попал в сундук, который ни Аслан Алиевич, ни Багия-ханум давно не открывали.

...Оказавшись в камере, где едва мерцала крохотная лампочка с угольным витком, а за железной дверью слышались мерные удары сапог часового о каменный пол, Алибеков впервые подумал, что сам виноват в случившемся. Легкомысленно было пустить в свою квартиру Селимбека, человека злого, ожесточившегося. Кто скажет, куда делся Селимбек, что замышляет? Вольно, или невольно, но он стал его пособником, помог ему укрыться.

Обидно, он только-только нашел себя, почувствовал, что нужен людям и в состоянии чем-то улучшить их нелегкую жизнь, наполнив одновременно свою, как вдруг все рушится из-за глупого случая, несуразного стечения обстоятельств. Он долго ходил из угла в угол камеры, а когда заныла спина, лег на жесткие скрипучие нары, пахнувшие карболкой и слежавшейся отсыревшей соломой. Пытался заснуть, но мешали свет лампочки, заключенной в решетчатый колпак, стук кованых сапог часового и мысли, которые клубились в голове.

Сколько лет назад это было? Десять? Пожалуй, больше. Оскалив рот, Муса Нагиев двигал впалыми старушечьими губами, смеясь над наивным инженером:

— За бедных заступаешься, чудак-человек, за смутьянов?! Других пожалеешь, сам нищим станешь...

---

* Пендир — сыр.

Почему в двадцатом году он пошел на службу к большевикам, согласился помочь им в восстановлении промыслов? Его обрадовало, что те, кто были лишены всего, стали хозяевами жизни? В какой-то мере, да. Но он скорее разделял суждения своего старого приятеля инженера Арсеньева, считавшего, что после всех революций неизменно наступает термидор. Появятся со временем новые богачи — нувориши, в прошлом бедняки, они станут эксплуатировать ближних, снова возникнет общество избранных и обездоленная толпа.

Так, очевидно, будет в дальнейшем. А пока что революция бурей разметала былую сытую и упорядоченную до зевоты жизнь Алибекова, дала ему силы отказаться от ее условностей и нудного течения, окунуться в вихрь поисков, дерзаний, страстей, где человек только и становится Человеком.

Сколько лет он добровольно вычеркнул из своей жизни, погрузившись было в жалкое обывательское счастье?! Приехав с дипломом в Баку, он на первых порах был деятелен, старался вводить новшества, спорил, доказывал свою правоту. Любил свое дело, знал его, мечтал о многом, и даже известные инженеры признавали, что он чего-то стоит. Но вот он увлекся Багией, забыл про все на свете. Жена, дочь состоятельных родителей, создала ему уют, пошли гости, выход в свет, — она это любила. Багия и ее отец уговаривали его не перечить хозяину, — стену лбом не прошибешь. Ему бы на Багию прикрикнуть, подчинить своему влиянию, а он, наоборот, поддался. К черту опыты, поиски, разъезды, — а какой без них нефтяник-специалист?! Профессор Голубятников звал его в свою экспедицию, Иван Михайлович Губкин уговаривал вместе поехать на разведку Прикуринской низменности, — а он отказался. Ученый из него не вышел, — в управляющие у самодура-миллионера выбился. А ведь думал о большем, годился на большее..

Молодость снова не приходит, хотя ее и сравнивают с весной. Весна возвращается каждый год, а вешний поток лет умчался и его ни догнать, ни повернуть вспять. И все же ветер революции дал ему ощутить беспокойство и порывы далекой юности. Алибеков вытащил из нижнего ящика комода старые, пожелтевшие от времени чертежи, снова стал думать над тем, как герметизировать устья скважин, закрыть газу дорогу в воздух, изба-

виться от утечек нефти. Полгода назад он сам вызвался поехать в Грозный, помогал там поднять добычу.

Теперь всему этому — конец?!

Раздался скрежет открываемой двери, — Алибекова повели на допрос.

Комната, куда его ввели, была четырехугольная, светлая, с голыми побеленными стенами. Она выглядела пустой: маленький стол, два стула, и на полу остроугольный стальной ящик вместо сейфа. Это впечатление нарушали лишь массивные часы в футляре из мореного дуба и с золоченым циферблатом, стоявшие в углу.

Из-за стола, усевшись спиной к окну, на Аслана Алиевича смотрел следователь, — уже знакомый ему человек в кожанке. Глаза у него были словно посыпаны пеплом, — тусклые, сухие. Наклоном головы он показал Алибекову на стул, и достал из ящика стопку чистой бумаги.

— Социальное происхождение? Занятие до революции, при мусаватском режиме? — Следователь задавал вопросы, ответы на которые ему были заранее известны.

Утомив подследственного, он, наконец, добрался до сути, потребовав, чтобы Алибеков чистосердечно рассказал все, что знает о Селимбеке Ширванском и его брате Солтане, объяснил бы, как бежавший за границу преступник попал в его дом.

Аслан Алиевич ничего не скрыл, хотя и говорил волнуясь, — путался, заикался.

— Темнишь! — следователь сощурил глаза и ударил кулаком по столу. — Рабоче-крестьянскую власть запутать хочешь?! От суда и возмездия укрыться?!

— Больше мне нечего сказать, — тихо произнес Алибеков.

— Говори, контра! Спец! Предатель! Я кровь на фронте проливал, с Колчаком бился, я видел, как шкуры-военспецы нам в спину нож всаживали! — Человек в кожанке покружил вокруг арестованного, пуская в потолок колечки табачного дыма. Потом сел напротив него, заложил ногу на ногу и вынул из кармана связку ключей.

Следователь ощупывал ключи, сжимая в пальцах, гладил кольцо, скрепляющее их. Временами он морщил лоб, и на щеках явственно обозначались желваки. Ка-

залось, что он подавляет глубокую внутреннюю боль. Следователь страдал язвой желудка, и болезнь сделала его желчным, недоверчивым, мнительным, обострила худшие качества его натуры. Он не питал личной ненависти к инженеру, не хотел зла лично ему; он ненавидел класс, к которому в прошлом принадлежал Алибеков, и это определяло все. Недалекий, до тупости прямолинейный, очерствевший на войне, он искренне полагал, что человек из чуждой ему среды не станет честно служить народу, и даже, если бы против Аслана Алиевича не было никаких улик, видел бы в нем потенциального врага. А тут, на первый взгляд, все убеждало в его вине.

— Письма, которые лежали в саквояже — антисоветские. Адресованы непосредственно вам. — Человек в кожанке протянул их Алибекову.

Аслан Алиевич посмотрел на подписи, пожал плечами:

— Мне эти люди не знакомы.

— Что вы делали вчера? Когда и где были с Ширванским?

— Днем его не видел, я уже это говорил. С утра до двенадцати находился в управлении, потом — на втором промысле, с трех часов до шести был в «Азнефти».

— У кого?

— У технического директора Татевосова.

— Это ваш старый знакомый, друг?

— Как-будто...

— Так... — следователь нажал кнопку звонка, и дверь в комнату открыл часовой.

Вторая ночь, проведенная в камере, показалась Аслану Алиевичу короче первой. Сон не давался ему, но временами его охватывала рыхлая неспокойная дремота, вереницей проносились видения, одно ужаснее другого, и от этого тяжелела голова, испариной покрывался лоб. Он почти не отдохнул, однако ночь все-таки прошла.

Днем Аслана Алиевича вывели на прогулку, и на свежем воздухе он почувствовал себя бодрее; во второй половине дня его вызвали к следователю. В кабинете он увидел Татевосова, поздоровался с ним. Сумбат Геворкович торопливо кивнул и отвернулся. Какое у него бледное, осунувшееся лицо, а у следователя сегодня, — со-

всем землистое, — отметил про себя Алибеков. — Что делает здесь Татевосов?

Очная ставка, — понял Аслан Алиевич. — Но зачем?

— Скажите, — обратился следователь к Татевосову, — был у вас позавчера Алибеков?

— Был, — ответил Сумбат Геворкович.

— В какое время? В связи с чем?

— Ближе к концу дня. Примерно, в половине пятого мы расстались. Обсуждали технические заявки...

— В половине пятого? — вскинул глаза человек в кожанке. — Подследственный настаивает, что в шесть.

— Нет, я сказал точно, — подтвердил Татевосов. — Он, очевидно, уходя, не посмотрел на часы.

— Допустим. — Следователь побарабанил пальцами по столу и многозначительно спросил у Сумбата Геворковича, честно ли трудится Алибеков.

— Пожалуй... — нетвердо сказал Татевосов.

— Как вы думаете, мог ли он иметь контакт с белоэмигрантами, бывшими нефтепромышленниками?

— Осмелюсь просить вас не задавать мне подобных вопросов, — заерзал на стуле Сумбат Геворкович. — Вы ставите меня в трудное положение.

— Отвечайте конкретно, вы не на балу, а в Чека, — отрезал следователь.

— Не решаюсь сказать ни «да», ни «нет», — Татевосов развел руками, как бы извиняясь перед Асланом Алиевичем.

— Выходит, вы не ручаетесь за гражданина Алибекова, которого знаете много лет? Правильно я вас понял?

Татевосов кашлянул, затеребил пуговицы на пиджаке. Следователь повторил вопрос, но Сумбат Геворкович, уставившись в пространство, молчал.

— Вы свободны. — Человек в кожанке взял у Татевосова пропуск, подписался, оттиснул на нем треугольную печать.

Вздох облегчения вырвался из груди Сумбата Геворковича. Он встал, одернул пиджак, почтительно сказал следователю «до свидания», и, не глядя на Алибекова, удалился.

— Так... — выдавил человек в кожанке. — Старый дружок тоже сомневается в вас. Лучше признайтесь.

Вернувшись в камеру, Алибеков с облегчением вытянулся на нарах. От очной ставки он устал больше, чем

от предыдущих допросов. Вялость, безразличие, пустоту ощутил он после этой встречи с Татевосовым, — тот отвернулся от него, как от конченного человека. Ему был противен Сумбат Геворкович; он и прежде не очень заблуждался на его счет, а теперь увидел его в истинном свете.

С Татевосова спрос невелик. Но почему за него, арестованного, не заступились Киров и Серебровский, неужели они поверили, что он, Алибеков, изменник?! Возможно, Киров мог не знать о его аресте, однако Серебровского наверняка известили в тот же вечер.

Принесли ужин. Алибеков спросил, разрешат ли ему написать письмо в ЦК, на имя Кирова. Ему дали бумагу, чернила, сказали, что письмо будет без задержки отправлено по назначению. Аслан Алиевич по-прежнему верил в Кирова, надеялся на его помощь. «Уважаемый Сергей Миронович, — писал он. — Вероятно, в моем нынешнем положении я должен был бы называть вас иначе, — гражданин секретарь ЦК, но, поверьте, не поднимается рука. Я нахожусь в заключении, меня обвиняют в тяжких проступках, даже в политических преступлениях — в тесных связях с эмигрантами из партии мусават, ведущих борьбу с Советской властью, в подготовке вместе с ними вредительских актов. Меня с пристрастием допрашивают, советуют, не откладывая, во всем сознаться и тем самым облегчить свою участь.

Убежден, что вы, как никто другой, поймете мое состояние. Я и виноват, и не виноват, а, может быть, стал жертвой чьих-то наветов, или нелепых совпадений. Виноват в том, что дал на ночь прибежище человеку, которого знал, как опасного врага, что во мне заговорило ложное человеколюбие. Спасал одну душу, и, возможно, подставлял под удар сотни других. Не ради того, чтобы показать свое раскаяние, я хочу сообщить вам это,—вспоминая разговор с вами на субботнике, ваши жесткие и едкие слова о моем мнимом гуманизме, я глубоко осознал, насколько был неправ.

Большая часть моей жизни осталась позади. До ареста я думал, что это — не лучшая часть, надеялся, что маяк, осветивший дорогу народу, будет озарять и мое будущее. Неужели этой надежде не суждено сбыться? Неужели годы жизни, которые я могу и так хочу отдать

работе, мне предстоит провести в тюрьме?! И это сейчас, когда новое бурение, ради которого я готов сделать все возможное и невозможное, должно получить право на жизнь!

Я понимаю, что закон — один для всех, он не знает исключения, и я не прошу ни снисхождения, ни прощения. Прошу вас лишь поинтересоваться моим делом, и не сомневаюсь в том, что вы убедитесь, где правда, а где недоразумение или ложь.

Какой бы не была моя участь, остаюсь искренне расположенный к вам А. А. Алибеков».

Письмо в тот же день было доставлено в кабинет Кирова, однако прочел он его лишь неделю спустя; накануне Сергей Миронович уехал на Мугань, где реставрировались оросительные каналы, шел сев хлопка. А Серебровский не знал о том, что Аслан Алиевич арестован, — он находился в Батуме, ускоряя вывоз бакинских нефтепродуктов за границу.

На следующий день, в час, назначенный для допроса, Алибекова не отвели к следователю. В это время у того сидел Кудрат Ахмедов и, несмотря на все старания чекиста, не желал уходить.

— Понимаю, что ты старый друг Вацлава Викентьевича, он у нас в Чека уважаемый товарищ. И говорю я с тобой, как с нашим, рабочим человеком, — брось ты за чужака заступаться! — убеждал он Кудрата.

— Ручаюсь за него, как за самого себя. Честный он!— говорил Ахмедов.

— Смотри, так и партбилет замарать можно! — следователь повысил голос.

— Правда пятен не оставляет, — отпарировал Кудрат.

— Свалился ты на мою голову. Ну, что у тебя общего с ним? — вспыхнул человек в кожанке.

— Дело у нас общее. И мое, и его, и всей Советской власти. Вместе за нефть боремся, понял? А у тебя чутья нет, где друг, где враг, — побыстрее бы человека обвинить и упечь!

Следователь поднялся багровый, взмокший, задвигал острыми подвижными скулами:

— Попрошу оставить служебный кабинет! — официальным тоном объявил он.

— Уйду, но не на улицу. К другим, настоящим чекистам пойду. У которых большевистское сердце в груди бьется, а не жаба копошится! — Кудрат, не обернувшись, хлопнул дверью.

Вацлав Викентьевич проводил Кудрата к заместителю председателя Азчека. Очень высокий, плотный мужчина с умными темными глазами и жесткими продольными складками у рта встретил его радушно. Он внимательно, не задавая вопросов, выслушал довольно долгий рассказ бурового мастера об Алибекове.

— Все это весьма важно, — задумавшись, сказал чекист. — Я получил два письма, которые по духу близки тому, о чем вы говорили. Рабочие пятого промысла Сураханов и группа инженеров и выдвиженцев из «Азнефти» пишут, что, не зная, какие обвинения предъявлены Алибекову, они готовы взять его на поруки, как искреннего, любящего дело человека. Я уже наводил справки, на основании каких материалов в его квартире произвели обыск. Был сигнал, довольно-таки странный... К нам позвонили, а затем еще прислали записку без подписи о том, что Алибеков скрывает у себя белого разведчика Ширванского... Ширванский, действительно, у него ночевал. Кто звонил, кто писал — неизвестно.

— А, может, кто-то хотел опозорить, оклеветать его?!

— Не исключено. Скомпрометировать, изолировать от общества полезного человека — это тоже диверсия, — заметил чекист. — Но не будем спешить с выводами... Пока что, товарищ Ахмедов, я обещаю вам, что сегодня же сам займусь делом Алибекова, посмотрю все документы, поговорю с ним, вызову к себе следователя.

Кудрат уже поднялся с кожаного кресла, чтобы попрощаться, как вдруг его собеседник укоризненно покачал головой:

— Плохо, товарищ Ахмедов, не узнавать старых знакомых...

— Разве мы с вами встречались?

— Напомню... Партийная кличка «Товарищ Корней» вам ни о чем не говорит? — лукаво улыбнулся чекист. — От царских ищеек в девятьсот шестом году такого не прятали? Вечером на завод в Сабунчи его не провожали?

— И вы через забор перелезали, — в воротах охрана была. — Лицо Кудрата прояснилось.

...В тот же вечер Аслана Алиевича вызвали к заместителю председателя Азчека. Разговор длился свыше двух часов и удивил инженера, — он не был похож на допрос.

— Были бы вы членом партии, я бы проголосовал за ваше исключение. Были бы помоложе, отругал бы последними словами. Надо же, а, из сострадания, дать приют бандиту, распустить интеллигентские нюни. Но, поскольку вы беспартийный, собрания не будет. Ваше дело следствием прекращается, вы — свободны.

Он протянул Аслану Алиевичу руку, сказал:

— Надеюсь, что другой раз наша встреча будет приятней.

По улице Алибеков шел покачиваясь, опьяненный воздухом, светом, мельканием прохожих. Рядом с ним поравнялся фаэтон, зашуршали резиновые ободки колес о мостовую.

— Поедем, барин, — извозчик сказал привычное.

— В Сураханы мне... — протянул Аслан Алиевич, и, к изумлению фаэтонщика, развинченной походкой прошел дальше.

— Хлебнул он, видать, лишнего, или свихнулся, — заметил себе извозчик. — А с виду приличный, шляпу носит...

Уже темнело, а Алибеков все бродил мимо пристаней и пакгаузов, трижды пересекал большую немощеную площадь, откуда сквозь частокол мачт просматривалось море. Он не спешил возвращаться домой, хотел остаться один на один со своими мыслями.

Забрел на загранпристань, где сновали шумливые грузчики, наблюдал, как от причала отвалил старенький вырыжевший пароходик с пестрым флагштоком на корме. Черные клубы дыма валили из пасти трубы, тоненький серый дымок вился над камбузом: для команды, возвращавшейся в Персию, готовился ужин. Мог ли Аслан Алиевич вообразить, что в сапоге, между подметкой и стелькой, у толстенного кока была запрятана бумага, предназначенная английскому разведчику Джорджу Хиллу.

Если бы он мог прочесть записи, сделанные в этом листе, то узнал бы, что его арест не был случайностью. Санитарный врач из таможни сообщал, что с помощью агента Бабанова-Линевича он организовал арест и на-

дежную изоляцию главного инженера Сураханского нефтерайона Алибекова. Комиссия по внедрению вращательного бурения лишилась своего председателя, а чересчур ретивый поборник этого способа, угрожающего интересам «Ройял-Детч-шелла», дискредитирован.

Следствие по делу Алибекова было прекращено. Но дело это не сдали в архив, — после вмешательства заместителя председателя Азчека оно получило новое направление. Оперативная группа наткнулась на следы Селимбека Ширванского, — они тянулись к Раманам и дальше, в Бинагады. Когда несколько дней спустя чекисты оцепили участок, где должен был находиться Селимбек, он внезапно исчез. При тщательном обыске в одном из старых заброшенных колодцев обнаружили труп Ширванского. Свалился ли он туда в темноте из-за неосторожности, или его умышленно столкнули, — установить не удалось. Нити, ведущие к его сообщникам, терялись.

...Киров прочел письмо Аслана Алиевича на следующий день после того, как Алибеков был освобожден. Он позвонил в Чека, попросил заместителя председателя приехать в Центральный Комитет. Выслушав его объяснения, Сергей Миронович насупился:

— Алибекову дадут нагоняй. Серебровский его продраит с наждаком. Меня беспокоят произвол, шантаж, провокационные действия вашего следователя. Что это за человек, — примазавшийся, маньяк, фанфарон, флюгер?! Таких и на пушечный выстрел нельзя подпускать к Чека. В Астрахани я отдал под трибунал карьериста, который, пользуясь властью, расправлялся с людьми, не вникая, кто друг, кто враг. Он, подлец, теорию выдвинул: на войне, говорит, когда цепи идут в атаку, артиллерия, мол, бывает, бьет по ошибке, по своим, обеспечивая победу.

Сергей Миронович, обычно приветливый и веселый, был неузнаваем:

— Примите самые срочные и решительные меры! — потребовал он.

На собрании партийной ячейки следователь, грубо нарушивший революционную законность, был исключен из партии. Его уволили из Чека.

ГЛАВА XIV

Павел спал, накрывшись с головой одеялом. Потрепанная, с загнутыми краями книжка съехала с подушки на простыню. В изголовьи кровати, брошенные как попало, висели, испачканные глиной, брюки и рубашка. «Ночью работал, днем тоже», — отметил про себя Юсиф. Ему было жалко будить друга. Тихонько выдвинул из-под стола табуретку, присел на нее. Он шел сюда, настроенный воинственно. Чтобы предостеречь Павла от дружбы с эсером, указать на последствия. Но увидел спящего после дежурства Павла, и смягчился.

Тяжелые сапоги загромыхали по недавно вымытому полу, и Юсиф с укором посмотрел на долговязого парня, размахивавшего длинными жилистыми руками.

— Привет, брательник! — непринужденно бросил тот. — К нему?..

Юсиф приложил палец к губам, но долговязый, засмеявшись, притопнул ногами, словно проверяя прочность пола.

— У нас тут столпотворение вавилонское. Или вообще перестанешь спать, или научишься под любую музыку дрыхать.

Долговязый парень ловко запустил пальцы в рот и свистнул так, что у Юсифа зазвенело в ушах.

— Хоть бы хны... — Он радостно подмигнул Юсифу. — Будить, дорогуша, надо с учетом психики. — И принялся рассказывать о том, как в авиаотряде, где он служил, заставляли просыпаться моториста — большого любителя поспать. Изводил он всех своей сонливостью. Добро бы еще был совестливым во сне, а то храпел. Ни крики, хоть разорвись, ни выстрелы, ни гул самолетов его не поднимали. Однажды аэродром бомбили, а он не слышал. Помогало одно, — стоило внятно произнести над ним команду «Заводи!», и он с закрытыми глазами бросался к самолету крутить пропеллер.

— А для шофера есть подходящее слово? — Юсифу нравился долговязый парень.

— Смекай сам, — подмигнул тот. И поспешил подсказать Юсифу, — попробуй громко сказать «Тормози!»

Заметив, что Юсиф колеблется, он подбодрил его: — Буди смелее, четвертый час дрыхнет, по нонешним временам — буржуйская роскошь.

— Тормози! — крикнул Юсиф и присел, пряча голову, за тумбочку.

Одеяло зашевелилось. Павел сел, вытаращив глаза на долговязого и проворчал «Спать не даете, черти...»

— Все на свете проспишь, Савельюшка. Социализм без тебя построят... — засмеялся долговязый.

Этой репликой он еще больше расположил Юсифа к себе.

— Мирово мы тебя разыграли! — восторженно сказал Юсиф, приподнимаясь над тумбочкой.

— Сон помешали досмотреть. На самом интересном месте... — вздохнул Павел.

— За углом пивная, я — туда. — Долговязый дотронулся рукой до глянцевого околыша фуражки.

— Ты молодчина, что пришел, — сказал Павел, вернувшись из душевой. — Целую вечность не виделись...

— Тебя не дождешься, — в тон ему ответил Юсиф. В мыслях он уже отложил разговор, ради которого пришел к Павлу.

— Погуляем на бульваре, — предложил Павел.

Погода выдалась на славу. Накануне пронесся и где-то за морем исчез шквальный ветер. А теперь утихшее море нежилось у берегов, подставляя солнцу зеленовато-синюю кожу. Город посветлел, воздух был звонким, а улицы и дома казались приподнятыми над землей. Юсиф и Павел медленно шли вдоль каменного парапета бульвара, и на их лицах играли и солнечные блики, и отраженные краски моря. Оранжево-желтая купальня с фигурными башенками и деревянными колоннами, возле которой они задержались, была как дворец, уплывающий в море.

Напротив входа в купальню стояли окрашенные больнично-белой краской весы с надписью «Докторские», а рядом висели силомеры.

— Померимся силой? — кивнул Юсиф.

— Почему бы и нет?

Юсиф взял в правую руку динамометр.

— Пятьдесят килограммов. Не-пло-хо... — прошамкал старичок, хозяин силомера.

Павел подбоченился, накрыл ладонью левой руки динамометр, играючи описал в воздухе дугу и разжал пальцы. Стрелка-коротышка опять показывала пятьдесят килограммов.

— Видал миндал?.. Это — левой рукой. Правой — выжму все семьдесят!

— Ух ты, левою... Силен... — с завистью протянул Юсиф.

— То-то и оно, — подтвердил Павел и вдруг расхохотался.

Юсиф, настораживаясь, посмотрел на его руки, почесал макушку, соображая, где же подвох, и вдруг просиял.

— Осел я. Ты же левша. Тьфу, как я мог забыть?!

Бульвар обрывался у покосившейся закопченной стены маленького судоремонтного завода. Друзья расположились на обращенной к морю скамейке, в тени распушившейся акации.

— Промыслы далеко, а запах нефти и сюда доносится, — заметил Павел.

— Я к ней принюхался, и уже не чувствую. Но скажи, если вышек когда-нибудь будет в сто раз больше, воздух пропитается нефтью насквозь, и от любой искры взорвется? — спросил Юсиф.

— Лучше расскажи о буровой...

Юсиф уселся поудобнее, — о буровой он готов был говорить часами. Сказал, до какой глубины дошли, что за породы теперь крошит долото, насколько быстрее стал крутиться ротор. И начал выкладывать новости из жизни артели:

— У вас, у русских, или у евреев, — я в этом плохо подкован, бог, кажется, целый народ одним хлебом накормил. Приблизительно то же случилось у нас. Только вместо бога колдовала Дуся — сотри веснушки. Она — жена Сеньки, которого за пьянство из всех буровых артелей гнали. А Кудрат (Юсифу нравилось за глаза называть отца по имени) не побоялся взять его к нам. Сказал: «Не дадим человеку пропасть». Знаешь, у Кудрата это получается. Бросил Сенька пить, зарплату жене до копейки принес. Дуся, жена его, так обрадовалась, что прямо у нас на площадке разревелась, и от этого у нее веснушки еще темнее стали. Плачет, и сквозь слезы спрашивает: «Чем же мне, хлопчики, вас отблагодарить?» И на другой день, представляешь, тащится на буровую с двумя ведрами. Сама несет, и соседка ей помогает. Открывают крышки — пар в нос ударяет, и запах вкусный. А Дуся деревянные ложки раздает, говорит: «Кушайте,

родимые, кашу пшенную, только из печки»... Оказывается, она месячный паек не пожалела, и еще у соседки в долг взяла...

После истории с пшенной кашей Юсиф принялся рассказывать об Алибекове.

— Слышал, конечно, что его по ошибке в Чека держали? С тех пор он к нам на буровую зачастил. Колонну спускали, он три ночи подряд на площадке сидел. Кудрат шутил, что запишет его в члены артели.

— Слухи ходят, будто вы дом собираетесь строить. Коммуной хотите жить? — спросил Павел.

— Думали, да времени на это нет. Суток еле на буровую хватает. Собирались аллаху письмо писать, чтобы он сутки удлинил, но неудобно: Советская власть отменила аллаха. У нас состязание с американцами идет, которые тоже в Сураханах бурят. И еще в Сураханы делегация из Америки приезжала.

Об американской делегации Юсиф говорил особенно подробно, описывая внешность каждого из ее участников:

— Одеты по-буржуйски, хотя рабочие. Я сначала даже не поверил, что они рабочие, попросил, чтобы руки показали. Им наша артель и вообще рабочий Баку понравились. Выступали у нас, знаешь, что сказали: «Вы— великие герои. У вас мизерный оклад, живете впроголодь, но вы строите себе хорошую жизнь. Мы увидели у вас, какая это сила — пролетарское мужество и упорство».

Их много было, и все серьезные, солидные, лишь один был с веселыми глазами и большим красным носом. Подошел ко мне, объяснил, что у них в Америке «сухой закон», пить не разрешают, напитки не продают. У русских, говорит, есть водка, у украинцев — горилка, а что, интересно, пьете вы, азербайджанцы? Неплохо бы, говорит, перед отъездом на память попробовать. Я его огорчил: мы, говорю, кроме сладкого шербета ничего не пьем, коран раньше вашего конгресса ввел «сухой закон», запретил мусульманам спиртное.

Павел слушал Юсифа, думая о своем. Юсиф напомнил ему об аресте Алибекова, который был другом Татевосова, и он уловил какую-то связь между этим событием и хандрою Сумбата Геворковича. С ним произошло

непонятное, — позвал Павла к себе, стал изливать свою душу.

Павел, как обычно, утром подъехал к его дому и дал гудок. Сестра Татевосова, пожилая сухопарая женщина в черном, наглухо закрытом платье с жабо спустилась к машине и сказала, что Сумбат Геворкович заболел и просит его подняться наверх. Татевосов был небрит, сидел в кресле, ссутулившись, из-под пижамы выглядывала незастегнутая нижняя рубашка.

— Передашь, что я простыл. Голова раскалывается, температура... — мрачно сказал инженер.

Павел собрался уходить, он задержал его жестом, потребовал:

— Снимай шапку, присаживайся, — ты же у меня не был, чай вдвоем попьем.

Отказаться было неловко, и Павел остался. Сестра Татевосова с чопорностью старой девы взглянула на шофера, принесла чай, рассыпчатое домашнее печенье и удалилась, плотно прикрыв дверь.

— Одиноко живу, от нее больше пяти слов за день не услышишь, — Татевосов показал глазами на другую комнату. — Какую-то анкету заполнял, машинально написал «холост, живу с сестрой», — люди смеялись, и я делал вид, что смеюсь, хотя было невесело.

Павел молчал, а Сумбат Геворкович продолжал откровенничать:

— Удивляешься, почему я не женат? Тоже — радость невелика. Один философ-француз изрек: «Браки бывают удобные, счастливых браков не бывает».

Достав из буфета ликер, Татевосов заметил: «Довоенный «Бенедиктин», на день рождения мне подарили», и налил две полные рюмки. Павел отодвинул рюмку от себя, сказал: «Мне не положено», и мысленно усмехнулся, — если бы Сумбат Геворкович собирался ехать на машине, ни за что бы не дал шоферу спиртного.

— Выпей немного, не опьянеешь, — угвоваривал его Татевосов. Себе он, к изумлению Павла, наливал рюмку за рюмкой, заметно хмелел, морщил лоб, и его мохнатые брови, словно сросшиеся пауки, двигались над глазами.

Опустив голову на руки, он скорбно раскачивал ею, и вдруг заговорил жалостливо и быстро:

2904—10

— Гнусная штука — жизнь, и все мы рано или поздно становимся сволочами. Ты о Каине и Авеле слышал? Я — Каин! Единственного близкого мне человека в беде оставил, предал! Шкуру свою спасал... А что мне оставалось делать? Вступился бы я за него, сам бы погиб. Лучше, чтоб один пропал, чем двое. Но все равно, — в груди у меня горит, на лбу горит, каиново пятно на нем!

Он и не слышал, как Павел вышел из комнаты. Это случилось как раз накануне того дня, когда Алибекова освободили. Выйдя на работу, Сумбат Геворкович был молчалив, сидел в кабинете темнее тучи и старался не встречаться глазами с Павлом.

...Очнувшись, Павел удивился, что не слышит голоса Юсифа. Рядом его не было. Обиделся! Ушел!

О-ля-ля! — Юсиф сидел на перилах кружевной деревянной беседки.

Аллея, по которой они пошли, была удалена от моря, но оно напоминало о себе ракушками, хрустевшими под ногами. Ветка акации повисла так низко, что Павел был вынужден нагнуться. Он остановился, сорвал чистый, как первый снег, цветок и, пожевав его, сказал «вкусно».

— Вкусно, но не сытно, — подхватил Юсиф. — Я бы сейчас быка съел. Жареного, пареного, вареного, маринованного, — любого!

— По-моему, пахнет шашлыком...

— Сор в урнах жгут. У нас с тобой, как в пословице: бежал на жареный кебаб, прибежал — осла клеймят.

Стемнело, и на ближайшей к набережной аллее зажглись фонари. С канонерки, стоящей в порту, упал на воду и заскользил по ней дымчатый луч прожектора. Пошарил и погас. На каком-то невидимом пароходе пробили склянки. Где-то в море, под аккомпанемент гитары, пели «Славное море, священный Байкал», а на скамейках, под акациями и кипарисами целовались парочки.

Юсиф обдумывал, как начать трудный разговор с Павлом. Он был и рад, и не рад этому дню. Они вновь были друзьями, которых, казалось, ничто не разъединяло. И все-таки он не мог избежать этого разговора.

— Живешь ты в последнее время сурком: от нас отстал, к азнефтинским шоферам не пристал. Поэтому встречаешься с дурными людьми. Тебя и эсера Комова я около Песчаного видел, от людей слышал, что они тебя дважды с ним видели. — Юсиф посмотрел на Павла.

— Случайно встретил Комова, и все...

— Считаешь меня дураком?!

— А с какой стати ты меня допрашиваешь? — Павла тянуло сказать Юсифу правду, но его тайна не принадлежала лично ему. Открыть же ее несдержанному на язык Юсифу было бы равносильно срыву задания. Юсиф мог извести его своими вопросами, и Павлу не оставалось ничего другого, как оборвать разговор.

— Мои знакомства тебя не касаются. У каждого — своя голова на плечах. И — кончим об этом!

— Боюсь за тебя, Пашка, запутают тебя. Вдруг ты против нашего дела пойдешь?!

Павла тронули эти слова, хотелось раскрыться Юсифу, но сдержался.

— В последний раз спрашиваю тебя! — не отставал Юсиф.

— Я в тебе не сомневаюсь, и ты мне верь. Все!

— Твой отец был эсером, с врагами Коммуны путался, и в тебе его кровь заговорила! — вспылил Юсиф.

Он почувствовал, что сказал обидное, лишнее, в уме стал искать слова извинения, однако уже было поздно.

— Отца не трогай! — У Павла забилась жилка на лбу. Он забыл и о том, из-за чего возникла их стычка, и что толкнуло Юсифа сказать это, и о том, что любой ценой он должен сохранить тайну операции, на которую его послали. — Да понимаешь ли ты, что мне доверили, для чего я!.. — воскликнул он и внезапно осекся.

К счастью, Юсиф не уловил смысла этих слов.

Возвращаясь поездом в Сураханы, Юсиф мысленно повторял разговор с Павлом и укорял себя за то, что задел покойного отца друга, но во всем остальном находил свои действия правильными. Если гордость или самомнение мешают Павлу осознать ошибку, — это плохо. Если он действительно подпал под влияние Комова и других эсеров — это еще хуже.

Юсиф решил сообщить обо всем в райком, но вернулся в Сураханы в первом часу ночи, и в райкоме было темно. «Зайду перед вахтой», — подумал он. Однако утром, рассказав отцу о том, что произошло у него с Павлом, был обескуражен словами Кудрата:

— Лучше воздержись...

Подумав, что отец не разобрался, он снова, уже подробнее передал все, что знал о встречах Павла с эсерами, но Кудрат сказал:

— Да нет, Павел — честный комсомолец.

Авторитет отца был для Юсифа незыблем, и он не возражал ему. Что ж, он не станет вмешиваться в жизнь Павла, и будет держаться от него подальше, но со временем докажет Кудрату, кто был прав.

ГЛАВА XV

Полчаса он уже сидел в приемной. Секретарь поставил перед ним сифон и сказал, что наркома задержали в Кремле, но он будет с минуты на минуту. Бойль подумал, что для поддержания своего престижа следовало бы подняться и уйти. Пусть Красин его потом разыскивает, приносит извинения. Но полковнику надоела Москва, хотелось скорее покончить с делами, вернуться в Лондон. Поднимаясь по лестнице, Бойль при свете канделябр и люстры увидел свое лицо и расстроился. Опухший нос, помутневшие глаза...

Он простудился в Волхове, куда его возили, чтобы показать строющуюся гидростанцию. Гостиница едва отапливалась, и Бойль не смог согреться в обширном номере-зале. Зачем он согласился ехать в Волхов? Чтобы столкнуться с тем же порывом черни, который наблюдал в Баку?! Большевики оказывали на него психологический нажим. Наверное, чтобы сгладить впечатление от Волхова, Бойль долго толкался по Сухаревке — безбрежному морю торгашества, спекуляции, нужды. Хотелось верить, что эти волны захлестнут все новое в России.

Полковник взглянул на часы: он будет ждать еще десять минут, и ни минуты больше. В приемную бесшумно вошел Красин, кивнул Бойлю своей бородкой-клинышком. Сняв шляпу-котелок, он пригладил ладонями серебристые виски. Из-под рукавов пиджака блеснули накрахмаленные манжеты.

— Мы еще молодая власть, дорогой полковник. Открыли новую эру для человечества, а порой неумело распоряжаемся своим временем. Простите за опоздание. — Красин пригласил Бойля в кабинет.

— Завидую вам, побывавшему в Баку. Юг, теплынь, горячие, колоритные люди. Я, хоть и сибиряк, но скучаю по солнцу. Ну, а Баку — моя вторая родина, там прошли лучшие молодые годы. Понравился ли вам город?

— Трудно сказать. Смесь Азии и Европы, дикости и культуры. Бешеные, сбивающие с ног ветры, — кажется, они дуют с севера?! Почему вы зовете Баку «Форпостом на Востоке»? Это — форпост обороны или наступления?

— Форпост мира, дорогой полковник.

— Любопытно, что с помощью мирового капитала хотите возродить промыслы, — повел бровями Бойль.

— Вы, англичане, умеете ценить юмор, и я расскажу вам забавную историю. Это было ровно двадцать лет назад. Не хватало денег для подпольной типографии и я уговорил знаменитую актрису, приехавшую на гастроли в Баку, дать благотворительный концерт. Среди поклонников ее таланта был начальник жандармского управления, в доме которого она и выступала. Он сам преподнес ей букет из сторублевок. Представьте, огромные средства, пожертвованные жандармами, высшими чиновниками и банкирами пошли в фонд революции!

— Увлечения стоят дорого, — сухо заметил полковник.

— Пожалуй. Однако приступим к делу: в каком состоянии вы нашли промыслы?

— В крайне тяжелом. Мои худшие опасения подтвердились: скважины заброшены, обводнены, восстановление их повлекло бы крупные затраты, а выгоды весьма проблематичны. В Сураханах, Забрате, на острове Святом положение несколько иное...

— Но промыслы возрождаются и в старых нефтяных районах.

— Энтузиастов у вас много, и они пытаются что-то предпринять, — нехотя признал Бойль. — Только надолго ли их хватит?..

— Чистосердечно хвалить добрые дела — значит до некоторой степени принимать в них участие, — говорил Ларошфуко. — Красин скрестил руки на столе.

— Мы по-прежнему готовы участвовать в разработке Сураханов и ряда других участков, но на условиях, приемлемых для концерна.

— Сожалею, но в этом нам трудно уступить. В Копенгагене ко мне обращался мистер Томус из «Стандарт-

ойла»; речь шла о покупке бакинской нефти и нефтепродуктов. Недавно американцы снова написали нам. Возможно, они окажутся сговорчивей, — сказал Красин.

— Сомневаюсь. «Стандарт-ойл» согласится взять концессию, если ему обеспечат полную свободу действий. Вспомните аренду Панамского канала!

— Разбойничать мы никому не позволим. — Красин сжал карандаш.

— Концерн поступает благородно, отказываясь от части своих прав на бакинскую нефть. Взамен мы требуем немногого: желательных для нас концессий и признания долгов. Боюсь, что вы и другие лидеры не знаете, как велико влияние «Шелла» на «Форрейн-оффис» и Даунинг-стрит. Англия предпримет твердые меры, чтобы поддержать нас.

— Грозите войной? Уже была интервенция, и пора бы извлечь урок. — Красин сверкнул глазами. — Не советую... Есть русская пословица: «сила солому ломит». Но соломенной Руси больше нет. На силу мы ответим силой!

— В интересах России — пойти нам навстречу, — сбавил тон полковник.

— Что ж, двери для дальнейших переговоров остаются открытыми.

— Я доложу о вашем предложении сэру Генри, — откланялся Бойль.

Если бы полковник немного задержался у Красина, то столкнулся бы в подъезде с Алибековым и Серебровским. Исполняющий обязанности главного инженера «Азнефти», ярый противник вращательного бурения сдержал свое слово. Он послал в ЦК и Совнарком возмущенные письма, уговорил группу геологов подписать протест. С его ведома, враждебные Советской власти спецы из Горного надзора направили в Совет Труда и Обороны «материалы» о бесплодных попытках добыть на засыпанной Бухте нефть. Поэтому управляющего «Азнефти» и Алибекова, как председателя комиссии по новой технике, вызвали для объяснений в Москву.

— Здравствуйте, Леонид Борисович! — Серебровский шел по кабинету бочком, шаркающей торопливой походкой. Он был одет по промысловому: серая солдатская шинель, сбитые, запыленные сапоги.

Красин задержал его руку в своей, похлопал по тыльной стороне ладони:

— Не изменились, совсем не изменились, — добродушно проговорил он. — Все то же пренебрежение к внешности, воинственный чертик в глазах!

— Садитесь, Аслан Алиевич, — Красин помнил Алибекова еще по технологическому институту.

Позвав секретаря, Леонид Борисович попросил его принести чай.

— И, пожалуйста, заварите покрепче. Бакинцы — отчаянные чаевики, — добавил он.

— Перед вами и оробеть не грех, — вешая шинель, заметил Серебровский. — Изысканно одеты, элегантны, словно только что с раута у английского короля.

— Придется и английскому королю нас принимать, к этому идет, — засмеялся Красин. — Рассказывайте про бакинское житье-бытье!

Александр Павлович расстегнул тужурку, достал карманный альбом.

— Как у хорошего купца, товар — лицом! — Красин склонился над альбомом.

Серебровский пояснял:

— Узкоколейка в Бухте. Начинаем тянуть линию и в Мардакяны;

— Герметически закрытые резервуары на Солбазе. Первые в Баку...

— Восстановленный в Черном городе завод, бывший— ротшильдовский;

— Дома отдыха для рабочих в Шувелянах. Оборудуем санатории в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках;

— Субботник на электротоке. Достигли довоенной мощи. Кстати, обнаружили там потайные склады, у нас их окрестили «красинскими».

— На станции неплохо прятали «Искру»... — Красин поднял глаза.

— В девятьсот третьем мы получали у вас и оружие,— припомнил Серебровский. — Чинные дипломаты, с которыми вы якшаетесь, небось, и не подозревают, что столь блестящий господин некогда руководил налетами на почту, экспроприировал золото, возил динамит?!

— Борьба и нынче идет нелегкая: у светских джентльменов, с которыми ведешь переговоры, за пазухой — бомбы.

Секретарь опустил поднос с чаем, придвинул его к гостям.

— О-о, даже с лимоном! Прошу... — Леонид Борисович потянулся к подстаканнику.

Аслан Алиевич отпивал из стакана редкими глотками, он не захотел, чтобы лимон и сладость перебили аромат чая и обошелся двумя кусочками вприкуску. А Серебровский, размешав сахар в стакане, выдавил ложечкой лимон и чуть ли не залпом выпил горячий чай.

— Спасибо, Леонид Борисович, за поддержку. В Совнаркоме я узнал, что вы стояли за нас горой. — Он отодвинул стакан.

— Имеете в виду вращательное бурение? Все, что в моих силах, я сделал. Могу вас порадовать: наркомат закупил партию электромоторов и дизелей, половину дадим «Азнефти». Пытаемся разместить заказы на станки в Германию. В отделе у Клима Петровича сможете посмотреть проспекты.

Серебровский нетерпеливо привстал, но Красин положил ему руку на плечо.

— Если не возражаете, с проспектами пока познакомится Алибеков, а мы с вами потолкуем.

— Разговор тет-а-тет? — спросил Серебровский, когда они остались одни. Плутоватая улыбка еще не сошла с губ, но прищуренные глаза были настороже.

— Обиды в сторону, Александр Павлович, я буду откровенен до конца. При всем уважении к вам, я чрезвычайно недоволен партизанскими действиями «Азнефти» и не раз сообщал об этом Владимиру Ильичу. Подрываете монополию внешней торговли, в обход наркомата ведете переговоры с фирмами, пускаетесь в сомнительные, если не сказать авантюрные, сделки. Как я ни противоборствовал, вы упрямо продолжаете свою самостийную, грозящую самыми неприятными последствиями, линию!

— Эта линия дала нефтяникам продовольствие, одежду, трубы. Ее одобрил Ленин.

— Вам удалось переубедить его, вопреки моим советам. Но с тех пор «бакинская вольница» разгулялась. Перестали считаться с Внешторгом, заключаете направо и налево нефтяные договора. Это же ни в какие ворота!— Красин вытер вспотевший лоб.

— Милый Леонид Борисович, ну, ей-богу, зря вы так горячитесь! Мы все в Баку очень ценим Внешторг и при-

знательны лично вам. За внимание, помощь, доброе слово... Но обстановка вынуждает нас быть самостоятельными, действовать оперативно и подчас рискованно. Ловчим, маневрируем, хитрим не от хорошей жизни... Уж какие из нас удельные князья?! Голыми и босыми начали возрождать промыслы. Вы же сами писали Ильичу, что бакинское хозяйство в аховом состоянии, а мы все-таки даем нефть, и поднимаем добычу!

— Да, с нефтью вы творите чудеса. Но вам не кажется, Александр Павлович, что порою мы злоупотребляем дерзанием и бьющей через край энергией масс? Пролетариат идет на труд, как на штурм, и если это будет тянуться долго, то штурм перейдет в штурмовщину, рабочие выдохнутся, потеряют веру в свои силы. Без солидной технической базы нет надежного движения вперед. Поэтому в концессиях, как ни прискорбно, наше спасение от хозяйственной разрухи.

— Неужели мы покончили с царскими долгами, чтобы снова лезть в петлю? Как коммунист, я подчиняюсь решениям партии и не отступлю от них ни на шаг. Владимир Ильич распушил меня за довод «сами сладим». Но в глубине души я сомневаюсь, что с концессиями выгорит и не жду от них пользы.

— Убежден в чистоте ваших побуждений. Увы, без глубокой веры, и соблюдая партийную дисциплину, будешь бездействовать или медлить. В Баку был полковник Бойль из «Шелла», — разве вы пытались его заинтересовать?! Приняли кое-как, поспешили отвязаться. И с «Барнсдальской корпорацией» у вас не клеится...

— А у Бойля серьезные намерения? Он прибыл нас прощупать. Барнсдальцы мозги морочат, саботируют...— Серебровский мотнул головой.

— Ясно, что они к нам не с открытой душой. Иначе,— это было бы противно их природе. Однако конкуренция, распри заставят американцев и англичан, на худой конец, французов или шведов принять наши концессионные условия. Найдутся трезвые головы...

Красин поднялся с кресла, прошелся по кабинету. Встал и Серебровский, нервно покусывая губу. Леонид Борисович уставился на барометр, висевший у карты. «Показывал «пасмурно», теперь клонится к «буре». Под стать нашему разговору», — грустно заметил он.

— Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что Ленин и

вы, Леонид Борисович, по-разному смотрите на концессии. Для него концессии — один из путей восстановления хозяйства, для вас — единственный, — сказал Серебровский.

— Мы с вами не убедили друг друга. — Красин оставил замечание без ответа.

— Заглянули бы в Баку, Леонид Борисович... — ласково протянул Александр Павлович. — Ей богу, на месте виднее.

— Охотно приехал бы, но работы невпроворот и опять посылают за границу. Насчет Бухты я дал записку в СТО,* — всецело на вашей стороне. Послезавтра встретимся в Совнаркоме.

Несмотря на возражения Серебровского, Красин помог ему одеть шинель: «Я не ваш подчиненный и могу поухаживать...»

Пожимая руку в дверях, Леонид Борисович вздохнул:

— Что ж, и у единомышленников бывают расхождения, не без этого. А в решающем, главном мы — вместе.

Вечером Серебровский и Алибеков были в Камерном театре. Билеты на расиновскую «Федру» им дали в СТО.

Спектакль взволновал обоих.

— К черту, в мире столько горя и бед, а мы переживаем страдания пелопонесской царицы! — проворчал в антракте Серебровский.

— Власть искусства, — уныло подтвердил Алибеков. Аслан Алиевич был удручен: один из членов СТО отверг его доклад, как не внушающий доверия. Он намекнул на прошлое Алибекова, упомянул об аресте. А Серебровский не вступился за его доброе имя.

Угадав, что тревожит Алибекова, Александр Павлович сказал: «Бросьте дуться, брань на вороте не виснет. А сражение за ротор мы выиграли, как ни мешали наши рутинеры».

— Речь идет о моей чести...

— Наша честь — в наших поступках и делах. Я не оправдываю товарища, обидевшего вас, но и вы поймите его. Кто для него Алибеков? Бывший помещик, бек, в прошлом инженер-приказчик у богатого промышленника, человек, чуждый идеям революции. Зачем, думает он,

---

* СТО — Совет Труда и Обороны.

Алибеков служит теперь трудовому народу? За страх, или за совесть? И решает, — из корысти.

— А мнение управляющего «Азнефти»?

— Конечно, иное, — взял его под руку Серебровский. — Вас увлекает грандиозность наших замыслов, ну, и приятно созидать для обновленного мира. А со временем идеи, во имя которых мы боремся и живем, согреют и вас, сольются с вашим «я».

На заседании в СТО Алибекова удивила чудаческая выходка Александра Павловича: от видного работника, настроенного против ротора он стал требовать, чтобы тот перевелся в бурильщики. «Намучаетесь с ударным бурением, тогда и поймете, что к чему!» — бросил Серебровский. Руководящий товарищ обомлел, а Серебровский прикинулся простачком: «Договорились? Ну, и отлично!»

— Здорово я его уложил! Наповал... — сказал Александр Павлович.

— Не совсем деликатно, — возразил Алибеков.

— Пустяки! Он был бездушен к тысячам и глух к интересам государства! Почему я должен церемониться с ним?

На сцене передвигали декорации, стучали молотками. Антракт затягивался. В фойе было теплее, чем в зале, и почти все зрители гуляли по кругу.

— Холодно, даже столичный театр нечем топить. Сколько еще нужно тепла, чтобы отогреть всю страну! — говорил Аслану Алиевичу Серебровский. — А придет время, и мы перестанем использовать нефть, как топливо, научимся создавать из нее сотни изумительных вещей. Построим химические фабрики, комбинаты, заводы... Недаром Менделеев писал, что в топках сжигать нефть — преступление, и вовсе не оригинальничал Губкин, уверяя, что она дороже золота.

— Это будет через сотни лет?

— Выпадет на наш век. Все то, что сдерживалось старым строем, взойдет ярким цветом. Талантливых, одержимых людей в народе не счесть, дай им только волю и крылья! Еще при жизни Пушкина, Гаджи Касимбек добывал на Каспии нефть, пока волны не снесли его колодцы-срубы. В «Русской старине» я читал о бывшем крепостном Шипове, который восемьдесят лет назад перегнал черную нефть в белую и надумал приготовить из нее газ для освещения Херсона. Питерские мастеровые

перевели дизели на нефть, и Россия, несмотря на свою отсталость, имела больше теплоходов, чем все страны вместе взятые.

Среди немногих, оставшихся в зале, был Фрэнк Стоун. Американец избегал встречи с Алибековым и Серебровским, и сидел в глубине ложи, покачивая ногой. Стоуну дали задание выехать вслед за Бойлем в Москву и узнать, что он предпримет. Фрэнк обрадовался поездке, но в гостинице его ждала неприятная шифровка. Инженеру поручили убить Бойля и, тем самым, сорвать дальнейшие переговоры между Наркомвнешторгом и «Шеллом». Спектакль должен был кончиться в десять двадцать, а пунктуальный Бойль ровно в одиннадцать выходил прогуляться перед сном. Вблизи от гостиницы начинался пустынный, погруженный во тьму сад. Спрятавшись за деревом, Фрэнк мог без промаха выстрелить в полковника и скрыться. Он не питал симпатии к Бойлю, но расправу с ним находил излишней. И покушения на убийство было бы достаточно, чтобы обострить, а то и сорвать переговоры.

Рука скользнула по карману брюк, нащупала пистолет. Казалось, что сталь холодит и сквозь шерстяную ткань. Подняли занавес и со сцены в зал смотрел мифический Тезей, а Стоун видел перед собой Бойля, его длинное тонкое лицо, немигающие колючие глаза. «Он бы меня не пощадил... Или не захотел бы марать руки?» — подумал Фрэнк. — Выстрелю мимо, вспугну его, поднимется шум... — решил он.

ГЛАВА XVI

Революция привела в театр нового зрителя. Люди в шинелях и бушлатах, в промасленных куртках и выцветших рубахах повалили на спектакли.

Пролетарский Баку собирался в самом большом и красивом театре города — маиловском.

Юсиф потянул Фатьму в амфитеатр.

— Сверху виднее, там, как на макушке вышки, — сказал он.

Фатьма ладонью погладила плюшевый ворс барьера, сосчитала, сколько лампочек в самой большой люстре и стала рассматривать юпитеры. А Юсиф наблюдал, как людской поток, растекаясь в проходах, заполняет ряды.

Солнечные зайчики забегали по стенам и ближайшим к сцене ложам, — это в оркестровой яме размещался духовой оркестр, и свет рампы отразился от медной глади труб. Людской поток в проходах остановился, замер, опоздавшие стояли уже за креслами в ложах, у стечок в амфитеатре, толпились в многочисленных дверях, ведущих из фойе в зал. Даже сцена была запружена народом.

Около двух лет назад Юсиф впервые был в этом театре. Он стоял в проходе, с красной повязкой на рукаве. Комсомольцам поручили поддерживать порядок в зале. Но порядка не было. Делегаты с криками вскакивали с мест, потрясали кинжалами и винтовками, подкидывали вверх шапки, срывали с головы чалму.

Юсиф запомнил дехканина-афганца с желтым пергаментным лицом. Он протягивал жилистые сухие руки и, не понимая слов, пел «Интернационал». А в перерыве афганец чинно совершал намаз. Делегатам-туркам в театре перевязывали раны: они тайком пробирались в советскую Россию и английский катер обстрелял их в море.

...Шел Первый съезд народов Востока.

Обездоленные и угнетенные посылали проклятье империализму, клялись посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Потом все собрались на площади, где хоронили двадцать шесть бакинских комиссаров...

— Нариманов говорить будет! — пронеслось по залу.

— И на том съезде тоже выступал Нариманов, — подумал Юсиф.

— Это правда, что он за границу едет? — спросила Фатьма.

— Нариманов — делегат. А Ленин делегацией руководит... — Юсиф облокотился о барьер: он хотел все видеть и слышать.

Шорохи ветерком пробежали по рядам, словно по команде заскрипели стулья, и сразу оборвался шум. Нариманов, не спеша, вышел к самому краю сцены, окинул спокойным взглядом зал и, заложив руки за спину, начал говорить:

— Скоро откроется конференция в Генуе. Первый раз министры Англии, Франции, Японии, Италии сядут за один стол с большевиками. Не от хорошей жизни они

идут на это. Убедились, что войной нас не сломить, блокадой не задушить. «Ни одной гайки и гвоздя мы вам не дадим!» — пугали нас прежде капиталисты, а теперь ратуют за всеобщее братство.

Нариманов говорил негромко, но его было хорошо слышно и в амфитеатре, — такая тишина стояла в зале.

— У империалистов доброе сердце. «Верните нам промыслы и заводы, а мы за это вас признаем», —обещают они. Что ж, мы готовы посчитаться с ними, — пусть скажут, какой убыток понесли от революции они, а мы предъявим свой иск — города и деревни, разрушенные интервентами, нефть, уголь, металл, награбленные ими...

— Не видать им нашей нефти, как своих ушей!

— От ворот — поворот, — крикнули из зала.

Нариманов протянул руку вперед, призывая к спокойствию.

— Чувства товарищей понятны, — сказал он. — И все-таки, мы пойдем на переговоры с буржуазией. Нашим республикам нужен мир. Мы готовы сотрудничать и торговать со всеми странами, и даже пойти на концессию, но при одном условии: от завоеваний революции не отступимся ни на шаг.

Нариманова сменил котельщик-усач: «У меня записано, какой урон нанесли англичане электрохозяйству. Небось, в Генуе он пригодится».

— И по нашему заводу список есть! — раздалось с галерки.

— За весь Биби-Эйбат счет готов! — потрясали папкой из президиума.

— Отец на сцену поднимается, — просиял Юсиф.

— Много есть любителей бакинской нефти. Спят, и во сне ее видят. Учуяв запах нефти, суют свой нос в чужие дела. Отдадим им нашу нефть? Может, они и проценты взыщут за то, что мы пользуемся заводами и промыслами? Подождут господа хорошие... Запах-то они чуют, но останутся с носом!

Слова Кудрата были покрыты аплодисментами.

— Проклятие змее, будь она черная, будь белая! — вскочил с места старик-тартальщик.

— Ленин пусть в Геную не едет! Буржуи на все готовы, — заявил с трибуны слесарь-шмидтовец.

— Правильно говоришь! Не отпустим Ильича! — зашумели в зале.

— Видишь, как за его жизнь боятся, — Юсиф нагнулся к Фатьме. — За ним Временное правительство гонялось, когда он в шалаше скрывался, в него эсеры отравленными пулями стреляли. — По-моему, капиталисты захотят целый дом в Генуе со всеми своими министрами и помощниками взорвать, если там Ленин будет, лишь бы с ним расправиться. Министры — дело наживное, а Ленин — один!

И, присоединившись к хору голосов, Юсиф кричал: «Ильича не пускать!»

Снова встал Нариманов:

— У всех пролетариев — одно чувство к Ильичу. Любить — это значит беречь. Московские, петроградские, одесские рабочие так же, как и вы, требуют, чтобы Ленин за границу не ехал. Думаю, Владимир Ильич прислушается к массам. А счета и претензии к капиталистам я захвачу с собой и предъявлю, от имени бакинцев, мировой буржуазии.

Рядом с Наримановым оказался рабочий-сабунчинец.

— Мы наказ составили делегату, — сказал он. — Чтобы знал товарищ Нариманов, как в Генуе говорить!

— Читай! — одобрительно зашумел зал.

— Наказ бакинских рабочих делегату Нариману Нариманову... — торжественно начал сабунчинец. — Обязываем тебя напомнить мировой буржуазии о тех величайших разрушениях, которые были нам причинены гражданской войной, навязанной нам империализмом, и потребовать полного возмещения убытков, имея в виду, что на Генуэзской конференции международная буржуазия сделает попытку произвести нажим с целью разбойничьего ограбления и экономического закабаления трудовых народов советских республик.

...Две тысячи рук взметнулись вверх. Наказ был отдан.

Собрание закончилось. Объявили, что после перерыва — выступление «Живой газеты» и концерт театра «Сатир-агит».

В фойе секретарь ячейки и машинист отчаянно спорили о том, чем кончатся переговоры. Юсиф встрял в их разговор:

— Буржуи на попятную пойдут. Выгодный договор подпишем...

— А там и до мировой революции недолго... — поддел его машинист.

— Факт. — И глазом не моргнул Юсиф. Его не смущало, что с мировой революцией заминка. Выбиваются из графика поезда, отстают часы, может запоздать и всемирное восстание рабочих.

Возле вешалки, опираясь спиной о перила, стоял Павел. Фатьма улыбнулась ему глазами, а Юсиф отвернулся.

— Подойдем к Павлу, он скучает, — предложила Фатьма.

— Тебе хочется, — иди. У меня с ним ничего общего.

Фатьма энергично направилась в сторону Павла, а, оглянувшись, перехватила ревнивый взгляд Юсифа.

— Как живешь? — она протянула Павлу руку.

— Живем, пайковый хлеб жуем. В общем, невесело.

— Обидно, что с Юсифом поссорился. Ему тоже плохо без тебя.

— Не моя вина. А, в общем, перемелется, мука будет.

По дороге в театр Павел видел фаэтон, в котором сидели Лида и художник. Было противно, что после скандала они опять вместе. Утром, в условленном месте Павел встречался с Комовым, и Аким Ильич снова вспоминал отца. У Павла вырвалось «Прошлое лучше не ворошить!», и Комов настороженно взглянул на него. «Диктатура рабочая, а денежки буржуйские», обмолвился о нэпе Аким Ильич. Есть ли у Павла моральное право бороться с эсерами? Или, он мстит им за отца? Кругом — пустота: сестра стала чужой, с Юсифом — разрыв, он безответно любит Фатьму. Умереть не страшно, страшно не жить... Он рискует быть разоблаченным эсерами и тогда — неминуемая смерть.

— И все-таки я вас помирю... — Фатьма искала глазами Юсифа. Секретарь ячейки и машинист все еще продолжали свой спор, — они не заметили, как Юсиф отошел от них. Фатьма и Павел осмотрели амфитеатр, партер, боковые коридоры, — Юсифа нигде не было.

* * *

В театре Кудрат узнал, что вместе с Наримановым он поедет в Геную. Его включили в делегацию, как эксперта-нефтяника. Он пытался было отговорить Нарима-

нова и Кирова, — на буровой аврал, а эксперт из него неважнецкий, но те и слышать не хотели.

— Ленину прикажешь писать, что коммунист Ахмедов отказывается от поездки? — этот довод сломил сопротивление Кудрата.

Старшим в артели оставался Трофим Степанов.

— Мастер с мировым капиталом воевать будет, а мы его поддержим, — сказал он рабочим.

— Время терять не будем. Чего там... — откликнулся, похожий на цыгана, сменщик Юсифа.

— Мы тебя, Степанов, тоже, как уста, уважать будем, — объявил старик Осман.

Лишь Аждар был недоволен:

— Русский начальником стал, мусульман зажмет.

— Замолчи, бесстыжие твои глаза! — накинулся на него Осман. А Степанову он, как бы извиняясь за Аждара, сказал: собака лает, а караван идет. Не смотри на него, дурного!

— Чопура* я слушать не буду, — кто он такой?.. — ворчал Аждар.

Юсиф не любил, когда отец уезжал, но на этот раз не скрывал своей радости: шутка ли, какое государственное дело поручают Кудрату!

Уже кончилась дневная вахта, когда на буровую вернулся Кудрат. Он был с обновой — большим, крокодиловой кожи портфелем, который неуклюже держал подмышкой. Так носил портфель Киров, и Кудрат, никогда в жизни не имевший портфеля, явно подражал ему. Только у Сергея Мироновича портфель был потрепанный, старенький, а у Кудрата — новый, с блестящими серебряными застежками.

— Серебровский подарил. Покажешь, говорит, буржуям, что и мы не лыком шиты, — рассказывал Кудрат.

Пока буровики разглядывали портфель, Кудрат делился, о чем говорили с ним в Совнаркоме и «Азнефти».

— Нариманов сказал, чтобы вежливо разговаривал с буржуями, — все-таки дипломат, а Серебровский посоветовал: будут мозги крутить, крой по-рабочему правду-матку. Велел посмотреть, нет ли в Генуе подходящих машин, чтобы на нефть их обменять.

— Если Ленин поедет, ты от него ни на шаг не отхо-

---

* Чопур — рябой.

ди. Нариманова тоже береги. Тебе за это аллах воздаст, — предупредил его старик Осман.

— Он и в аллаха верит, и в Ленина! — удивленно воскликнул Юсиф.

— С проходкой нажимайте. Не то американцы вас обгонят. Их инженер Стоун на свой портсигар поспорил, что первым дойдет до нефти, — напомнил Кудрат.

— Как же ты, друг, в замасленном пиджаке с министрами будешь разговаривать? У тебя, вроде бы, и нет лучшего? Со свадьбы у меня остался шевиотовый, может, возьмешь? — спросил Степанов.

— Подумаешь, пиджак?! Уста-Кудрат фрак оденет, белую накрахмаленную сорочку, цилиндр... Днем — фрак, вечером — смокинг, и на приемах — длиннющие сигары, — нарочито серьезно заговорил кучерявый верховой.

— Про фрак — это ты зря. Но к портному меня посылали. К самому лучшему, — Халатов мерку снимал. Бостоновый костюм будет шить — брюки, жилет, пиджак, — сказал Кудрат.

— Увидит тебя, разодетого, Лианозов, и хватит его в этой Генуе кондрашка! — засмеялся Степанов.

У Лианозова Кудрат работал много лет, и миллионщик, узнав от полиции, что рабочий Ахмедов неблагонадежен, прогнал его с промысла.

— Волчий билет дал он мне тогда. Ни один хозяин после этого брать не хотел, — вспомнил Кудрат.

— Думал я, что как власть будет пролетарской, ни одного рабочего не станут увольнять. Теперь вижу, что ошибался. И в рабочей семье не без урода, — сказал Степанов. — Зайдем в будку, разговор есть.

Трофим Денисович расстегнул бушлат, оставшийся у него со времен службы во флоте, и достал из кармана обручальное кольцо:

— Чистого золота. Проба есть. У Аждара выпало из пальто.

— Откуда у него кольцо? — насторожился Кудрат.

— То-то и оно... У Аждара и дружки, и выходки больно подозрительные. На той неделе два дня прогулял, где был неизвестно. И эта история с ключом... В аварии на буровой комиссия злого умысла не нашла. Установили, что Юсиф не виноват. А возле него был Аждар. Кто знает...

— Что предлагаешь?

— Ты уедешь, мне достанется. С Аждаром работать боюсь. От домашнего вора и домашнего врага не убережешься.

— Сделаю по-твоему, — кивнул Кудрат.

Он был недоволен собой: больше года стоял с Аждаром на одной площадке и не замечал его. Принял пьющего парня со стороны, нашел к нему подход, а об Аждаре, сыне соседа, не подумал, — считал, что он непутевый малый, и все. Выгнать человека — расписаться в своем бессилии. Но, видно, с Аждаром зашло слишком далеко.

Когда Кудрат сказал Аждару, что увольняет его, тот исподлобья взглянул на мастера, бросил на землю дырявые рукавицы.

— В пинечи* не пойду. Найдется работа почище!

...Вечером на пригорок взобралась машина. Огни вспученных фар-глаз осветили рослую фигуру человека, спускавшегося по узкой, крутой тропке. Сумбат Геворкович приехал в столь поздний час на буровую, чтобы помочь вахтенным. Сопровождаемый Степановым (Кудрат часом раньше пошел домой), он тщательно осмотрел все хозяйство, проверил, на каком режиме идет проходка.

Беседуя со Степановым, набрасывая для него на обложке тетради чертеж, Сумбат Геворкович в полутьме и не заметил Алибекова. Степанов привстал, шагнул навстречу Аслану Алиевичу: «Опять к нам полуночничать?» Алибеков наклонил голову и трудно было сказать, относится ли его приветствие и к Татевосову.

— Товарищ Татевосов советует нам поставить еще один насос. Он говорит, что тогда с выносом разбуренных пород будет лучше, и бурение пойдет быстрее.

— Это дельно, — одобрил Алибеков. — А где насос возьмете?

— Татевосов обещает... — сказал Степанов.

— Для перспективной буровой многим стоит поступиться, — заметил Сумбат Геворкович.

Алибеков словно и не слышал этих слов. Он подошел к бурильщику, занятому смазкой лебедки и, ото-

---

* Пинечи — сапожник.

гнув манжеты, стал помогать ему. А, увидев, что Татевосов собирается уезжать, подозвал к себе Степанова:

— Спросите, когда технический директор пришлет насос!

— На этой неделе я еще заеду. — Сумбат Геворкович понял, что примирение с Алибековым не состоялось, и поспешил уехать.

Сомневаясь в благих порывах Татевосова, Аслан Алиевич был и прав, и неправ. Сумбат Геворкович теперь был полон желания внести и свою запоздалую долю во внедрение ротора. Он хотел сделать это без широкой огласки в печати, но так, чтобы и в «Азнефти», и в ЦК его усилия остались бы замеченными. От своих бывших хозяев и их покровителей он в душе отмежевывался, осознав, что они лишены будущего. Прозреть ему помогла предстоящая Генуэзская конференция: трезвый ум Татевосова оценил ее, как слабость врагов большевизма. И с энергией, которая у него была в избытке, Сумбат Геворкович наверстывал упущенное.

ГЛАВА XVII

Небо — небу рознь. Над Черным городом оно было мутное и темное, закопченное трубами заводов, а над Зыхом — светлое, вымытое солнцем. Отошли колонны и кубы, перегоняющие нефть, а впереди — море и степь, синь и желтизна, разрезанные острием дороги. Не выпуская руль, Павел закурил папиросу, отогнав рукою дым. Папиросы ему подарил Татевосов. Он стал благосклонно относиться к Павлу, — удостаивал его беседой, позволял отлучаться с машиной, давал книги из своей библиотеки.

Сумбат Геворкович рассказывал, каких трудов стоило ему достать насосы для сураханской буровой: он снял их с водокачки и заставил переделать по своему проекту.

— Осенью откроют курсы механиков. Составляли списки, я назвал тебя, хотя жаль будет с тобой расстаться,— сказал он Павлу.

Широкие жесты не были свойственны Татевосову, к Павлу он питал пристрастие, наверное, стремился видеть

возле себя более или менее близкого человека, — после разрыва с Алибековым Сумбат Геворкович остался одиноким.

— Молодчина, что ладишь со своим крокодилом! — поощрял Павла Комов. Его устраивало, что шофер все свободное время располагает автомобилем.

Неделю назад Павел объезжал городские и пригородные аптеки в поисках аспирина. У Лиды была инфлюэнца, и встревоженный Сурен примчался к Павлу в общежитие: «Врач сказал, что без лекарства она пропадет...» В какой-то амбулатории им указали на кубинку. И там Павел снова увидел изнанку жизни.

Кубинка оглушила обоих. Людской поток, сжатый среди глиняных хибарок, подхватил и понес их в гущу «черного рынка». Невозможно было понять, кто здесь продает, кто покупает, — все о чем-то спорили, шушукались, ругались. Торговали старыми галошами и новыми джемперами, ржавыми шпингалетами и лужеными тазами, кальсонами и цветочными горшками, колченогими стульями и пузатыми «буржуйками». Рубашки и куртки мерили на ходу, получив деньги, щупали их, торговались до хрипоты, а порою, не сойдясь в цене, обменивались зуботычинами. У самых стен тянулись обжорные ряды, — над ними стоял чад, смешанный с жирными и пряными ароматами джыз-быза и хаша. От этих запахов кружилась голова и жалобно урчало в животе. Павла спросили, нет ли у него кожаного пояса и тут же предложили зажигалку. Однако аспирина ни у кого не было. «Бери лучше анашу», — деловито посоветовал им какой-то проныра.

Прыщавый, в гороховом костюме парень запросил деньги вперед и вынул из кармана мешочек с баночками и конвертами.

Сурен недоверчиво понюхал купленные порошки, заставил барышника проглотить один из них. «Кажется, у него лоб вспотел, — шепнул он Павлу. — Действует...».

В комнате у Лиды они застали художника, надушенного, расфранченного. Одетый в зеленую репсовую куртку и диагоналевые галифе с крагами, он болтал о какой-то марсельской певичке и парусных гонках в бухте.

— Дрянной человек. Зачем она такого выбрала?.. — вздохнул Сурен, когда они вышли.

И сказал Павлу, что, проходя по промыслу, видел, как часовой и начальник караула задержали лидиного ухажера.

— Странная личность, — караульный начальник кивнул на Доренского. — Вздумал здесь план снимать. — Он раскрыл альбом, изъятый у задержанного, — там были карандашные наброски скоплений вышек, резервуары, компрессорные станции.

— Я — художник, в чем, собственно говоря, дело?! — возмущался Доренский.

— Да, он — художник, — подтвердил Сурен, и Доренского отпустили.

...Он едет на Зых по заданию Комова. Между Зыхом и Говсанами Павла ждет женщина в клетчатом платке. Увидев поднятую руку, он должен остановить машину и действовать по указанию пассажирки.

В отличие от шумного Балаханского шоссе, дорога на Зых была пустынной, грузовики и арбы встречались редко, и Павел мчал с ветерком. Фигура женщины с поднятой рукой возникла на шоссе внезапно. Он резко затормозил, оставляя на булыжнике синие ленты от шин, открыл заднюю дверцу. Женщина в клетчатом платке, не сказав ни слова, захлопнула ее и села рядом с ним:

— Я так и думала, что опять пошлют тебя.

— Куда поедем? — спросил Павел.

— Пока прямо, — ответила она. С этой женщиной, рассказавшей ему об отце, он уже встречался в Белом городе и у Зыха.

— Поверни направо! — Полчаса спустя Павел снова услышал ее низкий глухой голос.

Машина шла по проселку, мимо зеленеющих ползучих виноградников, к маленькому, занесенному сыпучими песками селению Туркяны. Загнав автомобиль в каменный тупик, женщина велела Павлу ждать и затерялась среди серых, похожих друг на друга домов.

— Обратно! — сказала она вернувшись, и устало опустилась на сиденье.

Автомобиль задним ходом выбрался на дорогу. Павел сидел прямо, не поворачивая головы, все время ощущая на себе ее пытливые, изучающие глаза.

— Запомни, что передать тому, кто тебя послал! — женщина дотронулась до его плеча. — Бородач высадил рассаду, ждет опытного садовника.

Она заставила Павла дважды повторить эту фразу и подсела к нему поближе. Тряская проселочная дорога, в которую нырял «Бенц», кончилась, — машина неслась по ровному булыжному шоссе. Павел протянул женщине папиросы «Южанка», она жадно затянулась, сжав мундштук в зубах. Выкурив папиросу, смяла ее:

— Богато живешь!

...Из-за поворота выглянула оранжево-фиолетовая гора со срезаной вершиной, по ней карабкались плоские безликие домишки.

— Вы оттуда приходите? — спросил Павел.

Она не ответила.

Когда дорога взвилась над морем и под высоким обрывистым склоном открылся берег, женщина положила свою руку на руль. Став спиной к машине, она откинула платок и долго смотрела на море.

— Подойди ко мне! — бросила она, не оборачиваясь.

Павел выключил мотор, стал рядом с ней.

— Почему ты не послушал меня? — оглушила она его вопросом. — Впрочем, это не имеет значения. — Она круто повернулась, заглянула ему в глаза.

— Можно заводить машину? — сказал он, с трудом выдержав ее пронзительный взгляд.

— Погоди... Машина не волк, в лес не убежит. А мы с тобой — в скверной компании.

Слова ее звучали искренне.

— Видишь, море, россыпи солнца на нем, видишь, чайки кружат, — они свободны и принадлежат себе! А мы с тобой рабы, рабы дела, обреченного на провал! Бросай его, бросай, пока не поздно, и я сделаю так же. Ты понимаешь, о чем я говорю!

— Иди в «чрезвычайку» с повинной, и я пойду с тобой, — вдвоем легче! Когда захочешь, — завтра, сегодня, сейчас, мы не главные, — там нас пощадят! — с жаром говорила женщина.

— Лишнее это...

— Неужели ты веришь, что мы осилим большевиков? — передернула она плечами.

До Черного города они ехали молча. Около эшелона с цистернами, который маневрировал у завода, женщина приказала ему остановиться:

— Прочти, а потом сожги. Это у меня случайно сохранилось... — Она передала ему конверт.

Павел взглянул на конверт и вздрогнул, — он был надписан рукой отца. Ошибка исключалась. Это его почерк, правда, буквы разламываются и строчки косые, — их писал возбужденный, чем-то глубоко потрясенный человек. Из конверта выглядывало письмо. Павла поразила дата: в правом верхнем углу было проставлено число — 6 июня 1920 года — день смерти отца.

Вот они, прощальные слова самого дорогого Павлу человека, сказанные перед уходом из жизни!

«...Пятнадцать лет я состоял в партии. Я вступил в нее после 9 января, я был с нею и в годы подъема революции, и в годы реакции. Я преклонялся перед ее героями, которые с поднятой головой шли в тюрьмы, на царскую каторгу, на смерть. Душой и телом я был предан нашему делу, искренне считал, что нет в России партии более революционной, партии, готовой принести любые жертвы во имя правды, народного блага. С четырнадцати лет я рабочий, но мой отец из крестьян, я жил в деревне, видел и принимал близко к сердцу страдания крестьян. Я убедил себя, что нет у крестьян лучшего защитника, чем мужицкая партия социалистов-революционеров.

Я благоговел перед нашим девизом «В борьбе обретешь ты право свое», мне казалось, что он отражает боевой дух и романтику социалистов-революционеров.

Я пишу длинно, а ведь мне осталось жить так немного! Исповедь моя горькая, но я должен сказать о том, что накопилось на сердце.

Страшно сознавать, что то, чему ты поклонялся, для чего жил, было ложью. Я думал, что иду по ровной, освещенной идеями дороге, а теперь понял, что погружался в трясину. Куда мы шли, куда скатились, во что выродились?!

В дни Бакинской коммуны, я, как и все, был за приглашение англичан. Думал, что лучше меньшее зло, чем большее. Лучше цивилизованные англичане, нежели дикие турки. Но хрен редьки не слаще. Англичане вели себя, как в побежденной стране. А как вели себя мы, социалисты-революционеры? Где были наши революционная страсть, революционная ярость? Я сгорал от стыда, видя, как руководители организации лебезят перед английскими офицерами, послушно исполняют их приказы.

Быть может, найди я тогда в себе мужество и решимость порвать с партией, я не оказался бы на краю пропасти. А я молчал и покорно делал, что говорили мне, рядовому члену партии. Теперь я сознаю, что это и я повинен в расправе над 26, в злодействах эсеровских правительств, которые находили общий язык с белогвардейцами, но не желали примириться с большевиками.

Победили большевики. Бороться с ними теперь бессмысленно. Три дня назад мне дали задание — сломать исправный компрессор, задержать пуск станции. Совесть моя не позволяет сделать это. Я отказался, и меня назвали предателем. Нет, я не изменник. Я не перекинулся к большевикам после их прихода к власти. Мои чувства к ним хорошо известны. Я, как и вы, считал их чуждыми крестьянской массе, чуждыми демократии. Возможно, что истина на их стороне, но я не с ними. Я ухожу из жизни, не покинув своей партии.

У меня остаются дети. Я прошу не проявлять о них заботы, они уже взрослые, и сами определят свое будущее. Пусть они будут подальше от нашей партии.

Как ни печально сложилась моя жизнь, подчеркиваю, личные мотивы — не решающие в моей смерти. Дорогой ценой приходится платить за свои заблуждения.

Прощайте. Я не верующий, но как хочется мне воскликнуть: «Господи, прими мою грешную душу!»

И хотя Павел уже знал о письме отца и причине его смерти, каждая строчка болью отозвалась в сердце. Теперь он понял, на что толкали отца эсеры, в каком безвыходном положении тот оказался. Если бы Павел мог ему тогда помочь... Как это трагично и как просто, — приложить револьвер к виску и нажать курок. Выстрел, толчок, — и ты ушел из жизни. Умереть не страшно, страшно не жить! — это осознал отец. Но во имя чего он погиб?! Достойная смерть — смерть в бою, когда добываешь радость людям!

Он не уничтожит письмо, а сохранит его до конца своих дней, как память об отце и предостережение себе.

Но кто она, эта эсерка, — раскаявшаяся, истеричка, или провокатор? Может, она и вправду хочет вырваться из эсеровской организации, пытается найти в нем союзника! Или то была вспышка минутного прозрения, сознания безвыходности борьбы, которую ведет ее партия? Скорее всего, она запуталась, устала, осознала свою ошибку. Поэтому предостерегала его, рискнула отдать

ему письмо. И все-таки с ней нужно быть настороже. Он не может ставить под удар задание. Он не вправе откровенничать с этой женщиной. У нее лицо фанатички, в ее порыве много чувства, пожалуй, слишком много, чтобы ей поверить! Возможно, это проверка, ловушка, которую ему ставит Комов. Эсеры и доверяют, и не доверяют ему, они стали все чаще прибегать к его услугам и хотят быть уверенными в его преданности.

Назревают какие-то события, — это видно и по озабоченному лицу Комова, и по той нервозности, с которой он отдает распоряжения Павлу и вслушивается в донесения, привезенные им с мест. Они, конечно, зашифрованные, эти приказы и ответы. Что означает, к примеру, сообщение о высаженной рассаде и садовнике?! Не отгадаешь... Его расшифровкой займутся чекисты, — они держат с Павлом постоянную связь, которую эсерам не раскрыть.

За ним следили. Кто-то подкарауливал его около общежития, кто-то с ленцой прогуливался напротив гаража, посматривал в его сторону. Услышав за собой шаги, Павел однажды пошел быстрее, но незнакомец не отставал. Тогда Павел остановился, однако человек, который шел сзади, не обогнал его.

Его проверяли, или заподозрили неладное? Он знал, что, если эсеры разоблачат его, расправы не избежать. Завгар, которого уважали все шофера, выговаривал Павлу за то, что он без Татевосова «мотался у черта на куличках», позоря имя комсомольца, а Савельев слушал его с виноватым видом. Павла подмывало оправдаться, сказать завгару, что он выполнял боевое задание. Тот, как бывший партизан и коммунист, понял бы его, не заставил бы пускаться в подробности. Но он смолчал. Завгар грозил, что переведет его в мойщики, и лишь Татевосов отвел от Павла грозу.

— Я посылал его по делу, — позвонил он в гараж.

Оставшись наедине с Павлом, Сумбат Геворкович, однако, отечески пожурил его:

— И да не увлечет она тебя своими ресницами, как говорится в библии. С амурами будь поосторожней. Больше покрывать тебя не стану.

Поздно вечером Павел пешком возвращался с Биби-Эйбата. На углу его поджидали двое.

— Откуда идешь? — спросил один из них, небрежно показав удостоверение чекиста.

— Был на субботнике, — ответил Павел.

— Говори, что удалось узнать! Теперь нам будешь передавать сведения, — сказал один из них.

— Какие сведения? — прикинулся непонимающим Павел. Он помнил строгое предупреждение, — только с одним, знакомым ему человеком он будет держать контакт.

— Чего ерепенишься? Время не терпит, — торопили его.

— Вы меня приняли за кого-то другого, — пожав плечами, сказал он.

— Нам все известно! — перебили его. — Скажешь правду, жизнь сбережешь! Отвечай, куда тебя посылали эсеры, кто у них вожак, что они затевают! — сыпались на Павла вопросы.

Он понял, что эсеры опять проверяют его. Последнее ли это испытание?

— Ничего не знаю, вы ошиблись, — твердо сказал Павел.

Мужчины, задержавшие его, переглянулись, и один из них неуверенно произнес:

— Иди, и держи язык за зубами! — Они окликнули извозчика.

...В комнате общежития уже был выключен свет. Не зажигая его, Павел на цыпочках прошел к своей койке, быстро разделся. Вскоре глаза его привыкли к темноте, и он увидел, что все постели разобраны, значит, никто из ребят не дежурил.

Павел был слишком возбужден, чтобы сразу уснуть. В тумбочке, обернутый в газету, лежал «Рокамболь» — чтиво для вентиляции мозгов, как сказал об этой книге Татевосов. Читая ее на ночь, Павел успокоился бы и уснул, но повернуть выключатель — нельзя.

Голова до того тяжелая, что ее не оторвешь от подушки. Перед глазами маячили незнакомцы, остановившие его на углу, он вспомнил, что они держали руки в карманах. Выдал бы он себя, и эти люди, не колеблясь, спустили бы курок.

Полосы света мелькали на потолке, они пробивались сквозь щели рассохшихся ставен. Отступил Комов, и сверху на Павла смотрела женщина с раскосыми глазами. В них были упрек и отчаяние. Его и пугала эта женщина, и вызывала непонятное сочувствие. Он словно бы

в чем-то виноват перед нею. В чем? Они оба играли, — каждый свою роль: ей, видимо, поручили прощупать его, но она сама завязла в паутине, которую плела, — в ней прорвалось то, что накипело, что волновало и мучило ее. Она была искренней, осуждая дело, в которое перестала верить, из добрых чувств дала ему письмо отца. А он от начала до конца врал ей, все время носил маску.

Он притворялся, обманывал, лгал во имя правды на земле, ему не в чем раскаиваться, незачем пытать себя, и все-таки на душе у него неспокойно. Волей обстоятельств он попал к людям, которые были товарищами его отца, и он предает их, ставит под удар их замыслы и цели. Вряд ли бы отец одобрил то,что он делает. Нелегко признаться в этом и самому себе, но ведь вначале он решил стать разведчиком, чтобы отомстить эсерам за смерть отца. А ведь он — солдат, охраняющий от покушения жизнь людей, нефть, которую они добывают, дома, в которых они живут, революцию, за которую они пролили столько крови. Война кончилась, но бои еще идут, и он не провокатор, затесавшийся в организацию эсеров, а боец, действующий в тылу врага. Кронштадтский мятеж, мятежи, поднятые эсерами на Тамбовщине, на Волге оправдывали его поступок.

Он думал, что хороший человек может быть счастлив, если счастливы все те, кто его окружает. А Кудрат озадачил его: увлеченно рассказывая о годах подполья и ссылки, назвал их счастливой порой. Павел осторожно заметил, что страдания и тяготы со временем забываются и самое мрачное видишь уже в ином свете. «В борьбе своя радость», — улыбнулся Кудрат.

Павел не скрывал от Кудрата своих тревог:

— По-твоему, нэп — отступление, бегство? Это даже не остановка. Перестраиваем свои ряды, чтоб увереннеи наступать. — Кудрат опрокидывал все его доводы.

...Заснул он поздно, проснулся рано. Под утро видел страшный сон: вымерший город, дома, напоминающие склепы, и змеи, застывшие в сонных подворотнях. Одна из них уже подползла к нему, когда он проснулся.

Дверь открылась. Шаркая ногами, к Павлу подошел сторож.

— Там до тебя пришли. Одевайся.

Еще не было шести, и Павел встревожился, — не случилось ли что с Лидой: она заметно сдала после болезни, вдруг снова свалилась... Он выбежал на улицу, оглянулся и увидел Комова, который, читая газету, вышагивал по тротуару.

— Доброе утро, крестник! — Аким Ильич был приветлив. — До работы у тебя пара часов, может, проветримся в садике?!

Сад был закован в тяжелую железную ограду, а каменные тумбы, окружавшие его, напоминали сторожевые башни. По старой памяти, его еще называли Губернаторским, новое имя — сад Революции прививалось с трудом. В этот ранний час аллеи были безлюдны, лишь садовник подметал площадку у цветника и беспризорные лениво потягивались в искусственном гроте.

— Страсть как люблю утром пройтись, — сказал Комов. Он выбрал скамейку у Крепостной стены, к которой примыкал сад, и, сдув с нее пыль, уселся, растопырив ноги.

Позади послышались чьи-то осторожные шаги. Аким Ильич и Павел увидели старика в замасленной одежде и чарыках, который мягко ступал по черной, вскопанной вокруг деревьев земле.

— Чего тебе? Уходи... — напустился на него Комов.

Старик стал что-то объяснять, мешая азербайджанские и фарсидские слова. Павел понимал по-азербайджански и уловил смысл сказанного.

— Он говорит, что пришел к земле своих отцов, он родом из Пехлеви.

— А ведь верно, — земля тут привозная, ее на баржах с Персии таскали! — подтвердил Аким Ильич. — На наших песках такой сад бы не вырос.

Иранец опустился на колени и бережно поднес ком земли к губам.

— Ишь ты, — персюк, а туда же... — удивленно произнес Комов. — На его родине куска хлеба не заработаешь, с голоду сдохнешь, а он чтит ее. Крестьянское сознание везде, брат, одно и то же. Большевики этого старого хрыча, небось, в рабочие зачисляют, а он днем и ночью о земле бредит. В мужиках, а не в рабочих сила, так-то оно...

Старик скрылся из виду, и Аким Ильич ударился в воспоминания:

— Мы в этом саду в жандармского генерала бомбу метали. Он из Петербурга приезжал, у губернатора возле сада гостил. Бомбы в чемодане принес я, их наш человек с кислотного завода сварганил. Но сатрап в сорочке родился. Первая бомба у его ног упала и не разорвалась, а когда вторую метнули, он отбежал и отделался ушибами. Нас никого не поймали. В ссылку меня позже упекли, три года в Сибири отчебучил.

Павел достал папиросы, но Комов властно положил свою руку на коробку:

— Брось курить! Я покойного Григория от курева отучил, а тебе это, как старший, говорю. Между прочим, — он поднял свои белесые редкие брови, — я твоего отца тогда выручил. По одному делу проходили, всю вину я на себя взял и в тайгу угодил, а он с месяц в Баиловской тюрьме просидел.

Аким Ильич дернул носом, и уже другим, жалобным тоном сказал:

— Эх, Григорий, Григорий, царство ему небесное... Был бы жив, гордился бы тобой, радовался бы, что ты с нами.

Павел опустил голову, боясь, что Комов прочтет в его глазах ненависть.

— Не было у меня человека ближе, чем Григорий. И о тебе я, как о сыне своем, пекусь... — заверял Комов.

Минутная слабость прошла. Павел овладел собой и снова поднял глаза.

Аким Ильич говорил, не рассчитывая на ответы, — то, что находил нужным.

— Признайся, тебя удивили чекисты... Ты не дурак и, ясно, смекнул, что чекисты липовые. За проверку не взыщи, меня в свое время тоже испытывали. А экзамен ты сдал.

— Еще проверять будут?

— Это от тебя зависит... И, потом, я не часовщик, чтобы гарантии давать! — вскинул на него глаза Аким Ильич.

Было уже около восьми, когда Комов снисходительно разрешил:

— Тебе пора идти. Выпроси у своего крокодила машину, — на днях потребуется.

В субботу Аким Ильич впервые сел к Павлу в автомобиль, а по дороге они взяли еще двух пассажиров.

Комов велел Павлу натянуть брезентовый верх и, низко опустив на лоб фуражку, забился в угол. Бак с горючим был полон, поездка намечалась дальняя, но конечной остановки шофер не знал.

Миновали Шихово, Карадаг, Сангачалы, ехали уже за пределами Апшерона. Возле станции Дуванный Аким Ильич оживился:

— Сворачивай в горы. Отсюда — недалеко.

Они проскочили переезд под самым носом поезда и, обогнув станционные постройки, стали взбираться вверх. Шоссе обрывалось у ближайших холмов, дальше начинался старый караванный путь.

— Езжай потихоньку, доберемся, — сказал Комов.

По этой узкой, петлявшей среди солончаков дороге недавно прошла повозка: на влажном, сверкавшем стеклянным бисером соли песке тянулись следы от колес.

Вокруг было пустынно и угрюмо, — ни кустарника, ни травы и колючек, лишь пепельно-серые камни и песок.

Еще выше поднялась машина, и по дымчато-сизым солончакам поползли бурые полосы, а на литых тушах холмов выступили ржавые потеки. Глубокие впадины, овраги и ямы так неожиданно открылись взору, что, казалось, будто это те же горы, только вывернутые внутрь. На дне балок «коби» сверкала дождевая вода, а вокруг ям пенилось месиво размытой глины. По дну огромной трещины тянулась к морю тоненькая, кофейного цвета река.

...Вот он каков, Кобистан, — страна оврагов и балок! Павел знал его лишь понаслышке. «Ахтарма!»,* «Джейран кечмез»,** — так назывались эти гибельные места. Зачем едут в глубь Кобистана его спутники, кто проследовал раньше их по караванной дороге? Очевидно, люди, с которыми они сговорились, — иначе бы Комов давно насторожился, — говорил себе Павел.

Автомобиль заносило у воронки с грозно темнеющим дном. Павел повел его в самый хаос камней, и, вывернув руль, уткнулся в отвесную стенку горы; за ней был обрыв.

---

* Ахтарма — не ищи.
** Джейран кечмез — джейран не пройдет.

— Приехали! — потянув козырек наверх, сказал Комов.

Из расщелины горы, заросшей густым кустарником, выглянул светловолосый, одетый в полотняный костюм человек.

— С прибытием! — сказал он.

Аким Ильич велел Павлу стоять на стреме и не отлучаться.

— Увидишь кого, поднимай тревогу. Окромя чабанов, конечно, — проинструктировал его Комов и, озираясь по сторонам, вместе со своими спутниками вошел в пещеру.

Оставшись один, Павел покружил вокруг машины, которую каменные завалы и гора закрывали от чужого взора. Даже, если бы в тридцати метрах от пещеры проходили бы люди, они бы не обнаружили «Бенц»! «Хитрое место для сходки выбрали эсеры», — отметил Павел. Их собралось тут немало, — троих он привез, несколько человек добрались на подводе, кто-то шел от станции пешком, — на тропке, вьющейся по карнизу, впечатались следы ботинок.

Стараясь не шуметь, Павел приблизился к расщелине. Но вход в пещеру закрывала изнутри каменная плита. Сдвинуть ее он был не в силах. Павел вернулся к автомобилю и вздрогнул, ощутив на своем затылке чье-то дыхание. Это был Комов.

— В оба гляди! — прикрикнул Аким Ильич. — Не картошку сторожишь...

Он послал Павла посмотреть, в порядке ли мотор, и пока тот поднимал капот, исчез за его спиной. Очевидно, пещера имела второй ход, скрытый где-то среди камней, или поросший колючкой.

Камни окружали скалу, — большие и маленькие, гладкие и шершавые, с безукоризненными геометрическими линиями и причудливыми формами. Они были похожи на грибы, пчелиные соты, на тыквы, кувшины, столбы... И вдруг Павлу померещилась лодка, плывущая по волнам, охотник, стреляющий из лука в дикую козу. Он дал отдых глазам и снова, внимательнее посмотрел на камень, — лодка и охотник были отчетливо высечены на базальтовой глыбе. Пораженный, он нагнулся над соседними камнями и увидел изображение солнца, восходящего над морем, очертания неведомой

рыбы, великана-быка, людей, танцующих какой-то странный танец.

Сколько лет этим рисункам? Сотни? Тысячи? Кремневым ножом, или топором из бронзы высекались они на каменных стенах? Может, в пещере была стоянка первобытного человека?

...Холодок пробежал по спине, почудилось, что он слышит чьи-то приглушенные голоса. Он прижался ухом к скале, и голоса стали еще слышнее, но разобрать отдельные слова было невозможно. Павел ощупал рукою стенку, пальцы нашли трещину, откуда тянуло сырой прохладой. Он затаил дыхание, чтобы разобрать, о чем говорят в пещере. Сквозь нестройный гул голосов прорвались слова: «Ловко... Домициан отомстит за нас!»

Больше он не уловил ни звука, — или эсеры углубились в пещеру, или, кончив совещаться, они направились к выходу. Павел отпрянул от скалы, солнечный луч скользнул по квадратному камню, стоявшему в стороне, высветил палочки и знаки. Кто высек на камне эту загадочную надпись? Павел не учил в школе латынь, но такие буквы и цифры он, будучи мальчишкой, встречал в тетрадях гимназистки Фатьмы. Из любопытства он срисовал их на путевой лист.

К машине вышел Комов и сухощавый, в косоворотке мужчина. Аким Ильич почтительно пропустил его вперед, открыл дверцу автомобиля.

— Вернешься той же дорогой. Запомни эти места, — сказал он Павлу.

...Утром, отвозя Татевосова в «Азнефть», Павел показал ему надпись.

— Центурион XII римского легиона «фульмината», посланный императором Домицианом, — перевел Сумбат Геворкович. — Откуда ты это взял?

— Из книги. Вижу, латынь, а примечания нет, — нашелся Павел.

— Легионы Домициана, если не ошибаюсь, в первом веке нашей эры достигли Малой Азии, были на Кавказе, — блеснул своей эрудицией Татевосов. — А когда император умер, сенат распорядился уничтожить по всему свету его статуи, бюсты, все надписи, где упоминалось его имя.

— Домициан! — вспомнил Павел. «...Домициан отомстит за нас!» — говорили в пещере. Не спрятали ли

эсеры под этим камнем, или близ него взрывчатку, ружья, гранаты?! Он ощутил, как горят его щеки, как дрожат от волнения пальцы, нетерпеливо перебирающие руль. Скорее бы настал час, когда он сможет сообщить о своей догадке!

Но раньше, чем Павел встретился с нужным человеком, напомнил о себе Комов.

— В пять часов приходи на бульвар, — сказал он. — На скеттинг-ринге тебя будет обгонять парень в кремовом костюме, он здорово шпарит на коньках. Поговоришь с ним...

На пятачке асфальта, огороженном скамейками, кружили конькобежцы. Роликовые коньки выдавали в деревянной будочке под залог. Любители покататься оставляли там деньги, документы, шапки, пиджаки. Павел не надевал коньков уже года полтора и неуверенно вошел в круг.

— Вы новичок? Давайте кататься вместе, — мило улыбнулась ему голубоглазая девушка.

— Я немножко умею, — сказал он ей и, разогнавшись, вырвался вперед. Девушка не успела догнать Павла, а с ним уже поравнялся мужчина в кремовом, отлично сшитом костюме, говоривший с заметным акцентом:

— Вашу руку, дружище!

...Синий «Форд», белые узорчатые шины, широкое ветровое стекло... Машину, которой правил этот человек, Павел часто видел на дорогах. Владелец ее, он же и водитель, — американский инженер Фрэнк Стоун. Этот американец поджидал Лиду в Сураханах. Какое, однако, он имеет отношение к Комову, для чего было затеяно это свидание?

— Будем говорить напрямик, — сказал Стоун. — Вы могли бы мне быть полезны. В меру своих сил я помогаю вашим друзьям, и рассчитываю на вашу помощь. В долгу я не останусь.

— Что нужно сделать? — спросил Павел.

— Это по-деловому. Я тоже люблю брать быка за рога, — подмигнул ему американец. — Вы — шофер технического директора треста. Попробуйте узнать, с какими иностранными фирмами ведет переговоры «Азнефть», с кем она заключила договор на поставку оборудования из Германии, Франции, Англии. Только и всего.

— Подумаю...

— Думайте, дружище, но торопитесь. Я плачу щедро. — Стоун по-дружески обнял его за плечи.

Скеттинг-ринг показался американцу тесным, и он, махнув Павлу на прощанье рукой, раздвинул скамейки и понесся на роликовых коньках по центральной аллее бульвара.

Девушка, которая мчалась наперегонки с Павлом, чем-то неуловимо напоминала Фатьму. Захотелось снова встретиться с Фатьмой, но он с горечью вспомнил, как она металась по театру, разыскивая Юсифа, и сникла, поняв, что он ушел из-за нее. Сознавала ли она, или просто боялась себе признаться в том, что любит Юсифа?!

...Как всегда, в шесть вечера в общежитии шоферов проводилась политинформация. Павел опоздал на семь минут, и агитатор — тридцатилетний, с открытым лицом мужчина, приходивший из райкома, упрекнул его. После занятий, когда все разошлись, он оставил Павла.

— Говори, — тихо сказал он.

Агитатор был чекистом, с которым Павел держал связь.

ГЛАВА XVIII

Красный флаг развевался над Генуей. От него шарахались сытые буржуа, на него с изумлением смотрели докеры и металлисты. Полицейские разгоняли рабочих, но весь гарнизон Генуи, усиленный тысячами карабинеров, королевских гвардейцев и гусаров был бессилен перед этим знаменем. Алое полотнище с эмблемой серпа и молота висело на твердыне генуэзского купечества — дворце Сан-Джиорджио. Там, где был основан Международный банк, где впервые в мире были изобретены орудия кредита — чеки и векселя, словно торжествуя над капиталом, реяло знамя Октября.

Карабинеры и гусары заполнили город, чтобы не допустить демонстраций солидарности с красной Россией, а тем временем в церквах шел молебен за счастливый исход конференции. Сам Папа Пий XI обратился к верующим с посланием: «В исторический час, когда обсуждается вопрос о том, чтобы допустить Россию в семью цивилизованных народов, Святой престол выража-

ет пожелание об ограждении в России интересов религии, являющейся основой всякой цивилизации».

День открытия конференции совпадал с началом страстной недели. Поминая арест, суд и смерть Христа, святые отцы сравнивали его воскрешение с тем возрождением, которое ждет мир после страданий войны.

Газеты вышли с портретами Чичерина и Нариманова, а в переполненных кинотеатрах показывали хронику, — при появлении на экране советской делегации в зале раздавались аплодисменты. Карабинеры, стоявшие на страже порядка, были беспомощны: в темноте не разберешь, кто рукоплещет красным.

Новые отели и старые дворцы были переполнены. В Геную съехались премьер-министры и министры, экономические советники и финансовые консультанты, представители Лиги Наций, «Интернационального сельскохозяйственного института», «Международного бюро рабочих». Семьсот журналистов рыскали по городу, ловя сенсации.

Беседуя с журналистами, миллиардер Франк Вандермент, сказал, что он прибыл в Геную из Америки, дабы отдохнуть на лоне природы и выразил свое восхищение живописным заливом и гористыми бирюзовыми берегами. Английский миллионер Лесли Уркварт тоже превозносил красоту Лигурийских Альп, однако подчеркнул, что кровно заинтересован в работе международного форума с участием России. Нефтепромышленники были откровеннее. Их было больше, чем членов делегаций, и это они, задолго до открытия конференции, назвали ее «Нефтяной». «Стандарт-ойл» в Генуе представляли генерал Гасуэн и личный секретарь Рокфеллера, от «Ройял-Детч-шелла» здесь были полковник Бойль и Джордж Хилл, Франко-Бельгийский керосиновый трест прислал трех своих директоров...

Нефтью были пропитаны страницы газет и журналов, о нефти кричали на углах и в залах дворцов. Рупор французских промышленников и финансистов «Журнал Эндустриаль» вещал: «Наше участие в мессопотамской нефти для нас недостаточно. Мы хотим большего. В Генуе будет обсуждаться признание Советов. Предварительно будут настаивать на обязательстве уплаты долгов старого русского правительства. Но какие гарантии

они дадут? Они разорены. У них остается лишь одно богатство — нефть. Пусть дадут ее нам в залог».

Еще решительнее был настроен политик Жорж Бонэ: «Прежде, чем идти в Геную, сочтемся», — требовал он.

Газета «Нью-Йоркский Мир» прикидывалась объективной: «Русские спутали все политические расчеты союзников. Русская нефть является большим козырем в руках советской делегации, которая расстраивает союзные ряды и усиливает позиции русских», — писала она.

Перед открытием конференции в газетах, как по команде, появились пространные сообщения из Баку, полные таинственных намеков.

«Нефтяная столица бурлит, население выражает недовольство хозяйничаньем большевиков. Ожидаются большие события...»;

«Промыслы и бензиновые заводы под властью Советов пришли в негодность. Крах нефтяного хозяйства неминуем...»

Полковник Бойль, собрав представителей печати, живо описал свою поездку в Баку и Грозный и поведал, что всюду был свидетелем хаоса и развала. «Я не удивлюсь, если там с часу на час произойдет катастрофа!» — тоном оракула изрек он.

К Фрэнку Стоуну, который только что приехал из Баку, шли консультироваться по вопросу русской нефти. Добродушно посмеиваясь, Фрэнк поругивал большевиков, охваченных шпиономанией, говорил, что его в двадцать четыре часа выслали из России, предъявив смехотворные обвинения.

В центральных отелях для советской делегации не нашлось места, и она остановилась в «Палаццо Империале», на окраине Генуи. Тихий пригород Сан-Маргарет кипел: полиция разгоняла демонстрацию, около гостиницы галдели репортеры. Несмотря на усиленный надзор, в «Палаццо Империале» проникли рабочие. Они говорили делегатам, что прежде в Геную приходило много пароходов с нефтью, лесом и зерном из России, но

торговля оборвалась, и город захирел. Жаловались на безработицу, низкие заработки и тяжелые условия труда.

Оплошав, полиция заторопилась ввести особые пропуска для входа и выхода в «Палаццо Империале».

— Не отель, а Бутырки! И кругом конвоиры... — возмущался Рудзутак. Он особенно был нетерпим к охране, потому, что много лет провел на каторге. Ян Эрнестович заметно прихрамывал, — следы от кандалов давали себя знать при ходьбе. Еще по дороге в Геную, Рудзутак собрал станционных рабочих. Ошалевшие жандармы стали прикладами бить людей, потребовали, чтобы Рудзутак поднялся в вагон. Но он оставался на перроне. Офицер навел на Яна Эрнестовича карабин.

— Мне не привыкать, — спокойно сказал Рудзутак. Приветливо помахав рабочим, он вскочил на подножку, когда тронулся поезд.

Толпы репортеров ходили по пятам за членами советской делегации. «У Георгия Чичерина, Леонида Красина, Наримана Нариманова, Максима Литвинова, Яна Рудзутака, Вацлава Воровского вполне благопристойная внешность и респектабельный вид», — отмечали они в своих блокнотах. Но стоило делегатам-большевикам выйти на прогулку по улицам Генуи, как вслед им был выслан эскадрон драгун, а карабинеры бросились оцеплять тротуар.

Делегаты заглянули в магазин, и полицейские, застряв в дверях, не знали, как себя вести. А хроникеры кинулись выспрашивать у продавцов, какую рубаху купил Чичерин и сколько лир заплатил за три галстука Красин.

Вместе с делегатами прогуливался и Кудрат.

— В этом городе столько говорят о нефти, что без тебя, — ни на шаг, — пошутил Нариманов.

Экскурсоводом был Воровский. Худощавый, сугорбый, он с высоты своего роста иронически поглядывал на охрану, изредка поглаживая острую седую бородку и рассказывал об истории генуэзских улиц, о зодчих и строителях города. Первый советский посол в Италии хорошо знал страну.

— Нам повезло с чичероне! — весело потирал руки Рудзутак.

Центральные кварталы с пышным великолепием и холодным мрамором своих особняков и дворцов, кипарисовые аллеи, лакированные «Бьюики» и «Паккарды», скользящие шинами по зеркальной глади мостовой оставили Кудрата глубоко равнодушным. А старая часть города напоминала ему бакинскую крепость, — такие же узкие и кривые улочки, бесконечные переулки и закоулки с лестницами, дома, круто взбегающие по склонам гор, и мулы, бредущие с поклажей у самой кромки тротуара.

Когда советские делегаты повернули к порту, карабинеры и драгуны растерялись, и срочно затребовали подкреплений. Но раньше, чем им на помощь пришли новые подразделения, Красина, Нариманова, Рудзутака, Кудрата обступили докеры и моряки.

Чтобы отвлечь рабочих от советских людей, в порту подняли тревогу. Взвыли сирены, загудели стоявшие у причалов суда.

— Ваше присутствие здесь нежелательно. На одном их пароходов был случай азиатской холеры, — сказал делегатам инспектор.

Возле инспектора крутились двое, — в старомодных костюмах и котелках. Стоило Нариманову посмотреть в их сторону, как они поспешно отвернулись. Но он узнал этих людей — чиновников свергнутого мусаватского правительства. Накануне приезда в Италию Нариманов высмеял их главарей своим «Открытым письмом».

«Законным» представителям народов Закавказских республик в Европе (Топчибашеву, Хатисову и Церетели)! — с едким сарказмом писал он. — Милостивые государи, вы перед открытием Генуэзской конференции обиваете пороги Пуанкарэ и Ллойд-Джорджа и заявляете, что единственными законными представителями Закавказских республик являетесь вы, то-есть в ваших лицах те партии, членами коих вы состоите. Я должен разочаровать вас и ваших бывших и настоящих опекунов, которым так и хочется, чтобы именно вы являлись представителями народов Закавказья из-за личных выгод...»

В конце дня Нариманов договорился встретиться с профессором Миланской консерватории, гостившим в Генуе. Пользуясь своим пребыванием в Италии, он хотел

уточнить, когда консерватория примет певцов из Азербайджана, где они будут размещены, сколько времени уйдет на их обучение.

Профессор ждал его в кабинете директора театра. Итальянец был деликатен, сказал, что хотя он не понимает, во имя чего большевики потрясли весь мир, но раз они собираются готовить хороших певцов, то он верит в их добрые намерения. Условились, что студенты-азербайджанцы уже в мае прибудут в Милан.

Закончив разговор, профессор смутился:

— В соседней комнате вас дожидается какой-то сеньор. Я боялся, не террорист ли он, но полицейские, охраняющие театр, заверили меня, что это очень богатый и знатный англичанин. Вы меня извините...

Итальянец удалился, а в директорский кабинет вошел Бойль.

— Поверьте, бесцеремонность не в моих правилах, но я искал приватной встречи с вами, — сказал англичанин.

— Чтобы поговорить о бакинской погоде и моих генуэзских впечатлениях?.

— Увы, о более прозаических вещах, — нефть далека от поэзии. — Бойль сел в кресло напротив Нариманова.

— Надеюсь, вы понимаете, что я не уполномочен ни Советским правительством, ни делегацией вести с вами переговоры, — сказал Нариманов.

— Я пришел к вам, как частное лицо к частному лицу. Думаю, что у нас имеются точки соприкосновения, — заметил полковник.

— Слушаю вас...

— Убежден, что вам, как и мне, нравится Генуя, — я отдыхаю здесь от лондонских туманов, — вы от бакинской пыли. Мы оба по-своему любим нефть, точнее блага, которые она дает. И очень хочется чтобы нефть сближала, а не разъединяла народы. Поэтому ваши предложения о концессиях вызвали интерес у «Шелла». Но в московской «Правде» напечатано интервью с вами. Как понять ваше заявление, что вопрос о сдаче бакинских промыслов в концессии еще не решен?.

— Мы посмотрим, насколько искренни претенденты, — ответил Нариманов.

— Не будем ворошить былое и отбросим подозрения. Мы вложили немало средств в бакинские промыслы, и нам трудно смириться с их потерей.

— Ваши доходы давно превзошли затраты...

— У вас неточные сведения... Однако я пришел не для того, чтобы препираться. Моя цель — найти общий язык. — Бойль сделал паузу. — Говорят, что вы интернационалист, но ведь интересы Азербайджана вам дороги прежде всего.

— Очень дороги, и я всей душой люблю свой народ. Но интересы Азербайджана неразрывно связаны с интересами советских республик, — уточнил Нариманов.

Бойль достал из кармана сигару, повертел ее в руках и спрятал. Он был недоволен собой: разговор не удавалось направить в нужное русло.

— Хорошо, — наконец, выдавил полковник, — я буду предельно откровенен. — Как вы посмотрите, если Англия осудит французские претензии к вам, поможет вам отказаться от нефтяных акций, попавших к «Стандарт-ойлу». Взамен, — вы признаете права «Шелла»!.

— Мы выплатим свои старые «долги» Англии, Америке и Франции, когда нам компенсируют убытки, нанесенные интервенцией.

— Вздор! — не сдержался полковник.

— А разве бумаги, скупленные у бежавших миллионеров, имеют ценность?.

— За сэром Детердингом — вся мощь Британской империи.

— Я очень люблю Гоголя, в молодости перевел его «Ревизора», играл городничего в любительском спектакле. Вы мне напомнили одного из гоголевских героев — Чичикова. Тот скупал «мертвые души», вы скупаете мертвые бумаги.

Полковник встал, и, едва кивнув Нариманову, вышел.

— Выходит, торг сорвался! — смеялись Литвинов и Красин, услышав о столкновении Нариманова с Бойлем. — Это цветики, дорогой Нариман!

— Будет еще немало и наскоков, и посулов. Кое-кто надеется на перерождение советской власти в буржуазную и расценивает наше участие в конференции,как возвращение блудного сына в отчий дом, — сказал Чичерин.

ГЛАВА XIX

«В восемь будь на вокзале в Сураханах. Стой в конце платформы, и жди. К сестре и дружкам не заходи» — распорядился Комов. Он сказал, чтобы Павел приехал в Сураханы поездом, — автомобиль привлечет внимание. Днем, по заданию Акима Ильича, Павел встречался в Балаханах и Забрате с какими-то людьми и запомнил то, что они передали для Комова: «На базаре ждут орехов», «Марфа заболела, фельдшер потерял рецепт».

...Стрелки на вокзальных часах показывали четверть девятого, когда он услышал позади себя голос Комова: «Незаметно ступай в Храм, и смотри, чтобы ни одна собака не увязалась за тобой...»

В Храме огнепоклонников сейчас ни души, темень, — зачем Комов зовет его туда? — встревожился Павел. Он вспомнил, как год назад из заброшенной близ «Атешга» скважины извлекли труп рабочего, которого сбросил в шахту убийца — кочи Саттар-хан. Вдруг Комов выследил его и хочет расправиться с ним?! Возможно ли это?! Он, Павел, был осторожен, предельно осторожен.

А что, если Комов связал разоблачение американца со свиданием на скеттинг-ринге? Вряд-ли... Сигнал Павла был каплей, переполнившей чашу терпения чекистов. Об американском инженере-разведчике они собрали большой материал. Ему предъявили обвинение в сборе экономической информации и провокационном покушении на Бойля, но не показали, что осведомлены о его связях с эсерами. И все-таки...

На него напал страх, или это предчувствие?

Павел перешел пути, огибая станционный склад и ветхие деревянные домишки, направился к храму «Атешга». Углубленный в свои мысли, он не заметил, как от склада отделилась фигура человека и тенью скользнула среди домов.

У ворот Храма он остановился. На этом месте он и Фатьма кланялись каменным стражам — львам. Сознавала ли Фатьма, или боялась признаться себе в том, что любит Юсифа?

...Острие фонарика полоснуло по груди, врезалось в лицо, растворилось в черноте ночи. Комов взял Павла за локоть, повел в ближайшую каменную келью. За ни-

ми с трудом поспевал худой, с опущенными плечами мужчина, прихрамывающий на левую ногу.

— Теперь — говори! — сказал Комов.

Услышав донесение Павла, он обрадовался: «Дело на мази...»

Потом снова включил карманный фонарь, закрывая его от оконного проема фуражкой, и отчеканил: «Запомни этого человека, — нужно будет, он тебя найдет. Поведешь его в горы, где мы прошлый раз были, сделаешь все, что он скажет».

Помолчав, Аким Ильич еще сильнее сжал руку Павла:

— Все мы одной веревкой связаны, понял? — Мы — под откос, и ты — с нами! Удастся, что замыслили, — из грязи выйдешь в князи.

Хромой ушел первым, Аким Ильич велел Павлу выждать минуту-две, а сам бесшумно двинулся к воротам.

Опасность миновала, — Комов был в неведении и попрежнему доверял ему! Но тяжесть не отлегла от сердца. Оставшись в пустынном храме один, Павел чувствовал себя угнетенно, словно опасность таилась в стенах, сомкнувшихся вокруг него, в сводах потолка, в потрескавшихся плитах пола.

Скорее уходить отсюда, скорее! На улицу, на станцию, к людям! — И почти вслед за Комовым бросился бежать из кельи.

— Изменник! Яланчи!* — услышал он вдруг над ухом гневные, обжигающие слова, и чьи-то руки обхватили его за пояс, бросили на лестницу.

Он вырвался, оттолкнул навалившееся на него тело.

— Гадина. Контра! Эсер! — ожесточенно бросали ему в лицо. Это был голос Юсифа.

Павлу стало страшно: Комов и другой, неизвестный ему человек, находятся близко, может, они слышали шум во дворе Храма и бегут обратно. Они застрелят Юсифа, а он, Павел, безоружен и не сможет защитить его... Нет, Комов и хромой еще, к счастью, не вернулись, но Юсиф будет кричать, звать на помощь, и тогда беды не миновать.

— Молчи, Юсиф, молчи! Так надо, для Коммуны надо! — зашептал Павел.

— Предатель! Задушу тебя... — свирепел Юсиф.

---

* Яланчи — обманщик, врун.

Иного выхода у Павла не было: он с силой сжал подбородок Юсифа, подмял отбивавшегося парня под себя. Только бы он выиграл время, чтобы Комов и хромой ушли подальше, уехали на казалаке, фаэтоне, поездом, чтобы не узнали о том, что они раскрыты!

Изловчившись, Юсиф головой ударил Павла в живот. Боль разрезала тело, перебила дыхание, неясные круги поплыли перед глазами. Собрав последние силы, Павел наотмашь ударил его в грудь. Юсиф обмяк, упал на землю.

За воротами храма Павел перевел дух у старого трансформаторного киоска. Как быть? Вернуться к Юсифу, потерявшему сознание, бежать из Сураханов? Оставив укрытие, он едва успел прижаться к забору. Озираясь по сторонам, из храма выходил Юсиф. Он теперь поднимет всех на ноги, всполошит милицию, райком, ЧОН. Юсиф демаскирует его, невольно предупредит эсеров, что они раскрыты, сорвет операцию, которая близится к концу! Как нелепо, что Юсиф выследил его и Комова, проник в «Атешга».

А до города добираться полтора-два часа, возможно и больше. Время будет упущено. Нужно срочно связаться с Чека, найти «агитатора», объяснить ему, что произошло. Павлу дали номер, по которому он имел право позвонить лишь в крайнем случае. Он обязан во что бы то ни стало добраться до ближайшего телефона... На вокзал идти опасно, — там могут быть Комов и хромой, он должен идти в другую сторону, к промысловому управлению! Павел шел, избегая встречных, по узкой, залитой мазутом тропинке. Черные вышки, как надгробия, вставали над нефтяными колодцами, черный глянец амбаров зловеще сверкал среди деревянных пирамид.

Возле управления было тихо. Над входом в парадное горела лампочка, и вахтер, притулившись к двери, поглаживал скользкое ложе винтовки. Он проверил удостоверение Павла, полюбопытствовал, не сын ли он покойного Григория Петровича и разрешил пройти к дежурному.

— Звоните, — добродушно сказал тот. — Если разговор деликатный, я выйду.

— Пожалуйста, — попросил Павел, и назвал телефонистке номер.

— Слушаю, — ответили на другом конце провода.

— Это 9-85?

— Вы не ошиблись, продолжайте! — голос принадлежал «агитатору».

— Говорит слесарь Сергеев...

— Я узнал вас, сожалею, что вы не были на политинформации... Объясните, что случилось!

Павел оглянулся. Дверь была плотно закрыта за дежурным, который вышел в коридор покурить, и тихо, но внятно сказал в трубку:

— Наш разговор подслушал мой товарищ. Он горяч и нетерпелив, полез в драку. Уверен, что он поднял всех на ноги.

— Понял. Это очень серьезно. Возвращайтесь в общежитие, мы примем меры...

Поблагодарив дежурного, Павел, минуя поселок, вышел на шоссе и остановил фаэтон.

— Покажи свет! — потребовал извозчик, недоверчиво скользнув по нему глазами.

— Гони! — Павел вытащил из кармана пачку денег, помахал ими перед извозчиком (накануне в гараже выдавали зарплату).

Фаэтон проехал до города лишь полпути, а Комов, успев сесть в Сураханах на отходивший поезд, уже спускался с платформы бакинского вокзала. К тому времени хромой — комендант общежития Бабанов на случайном грузовике добрался до Раманов.

Услышав, о чем Комов говорил с Павлом, Юсиф был так поражен, что упустил третьего — Бабанова и не дал милиционерам и чоновцам никаких примет. Погоню вели за Комовым и Павлом. Звонок из Чека запоздал, — «измена» Павла получила в Сураханах огласку.

Юсиф спешил задержать Павла не только потому, что стремился поскорее обезвредить его. «Враг, сын врага», как он мысленно называл теперь Павла, не мог уйти далеко, и, понимая, что раскрыт, не решился бы на вредительство. Своему бывшему другу, жестоко обманувшему его, Юсиф хотел сказать все то, что мучило и возмущало его. Он вырывал его из сердца, уязвленный дружбой с чужим, враждебным ему и Советской власти человеком, оскорбленный былой верой в него, раскаиваясь в чувствах, которые ему открывал, ругая себя за мысли, которыми с ним делился. Он злился на Павла

и за Кудрата, — отец доверял ему, запрещал Юсифу говорить о нем плохо. Павел ослепил, обманул всех, — и Фатьму, поругавшуюся из-за него с Юсифом, и Сурена, который всегда был за него горой.

...«Агитатор» ждал Павла в общежитии.

— Наконец-то! — успокоился он. Послал Павла сполоснуть под краном лицо, усадил его в каморке уборщицы: — Рассказывай, что произошло...

Неожиданное вмешательство Юсифа ускорило события. «Агитатор» сообщил Павлу, что через час после их телефонного разговора, Чека начала аресты эсеров — участников диверсионных групп. Не все нити заговора имелись в руках чекистов, но медлить было нельзя.

К утру задержали десятки эсеров на Биби-Эйбате и Зыхе, в Сабунчах, Черном городе, Бинагадах. В кобистанском тайнике, у камня с надписью, оставленной римскими легионами Домициана, чекисты нашли гранаты и динамит. Взрывчатку обнаружили и на территории, примыкающей к нефтеперегонным заводам, в гавани, где грузились танкеры. Рабочие-чоновцы открыли подкоп под станцию нефтеперекачки,—взорвав ее, заговорщики надолго вывели бы из строя керосинопровод Баку—Батум.

Комов исчез. Его тщетно искали в доме, где он жил, в Черном городе, где он работал. Скрылся и хромой — комендант рабочей казармы Бабанов, с которым он был в храме «Атешга».

— Веди себя так, словно ничего не произошло, — наказал Павлу «агитатор». — Возможно, что Комов попытается «выйти» на тебя. Сиди за рулем, и будь бдителен...

Прикидываясь беззаботным, Павел забивал «козла», когда в шоферскую дежурку заглянул Сумбат Геворкович:

— Заводи автомобиль! Едем в Раманы... — сказал он.

— На весь день?

— Провожу совещание. Успеешь отоспаться в машине, если ночью было не до сна, — ухмыльнулся Татевосов.

Сумбат Геворкович был в отличном настроении, — вечером, на заседании правления «Азнефти» заместитель управляющего отметил его усилия в развертывании

вращательного бурения, а партиец-бурильщик с девятнадцатой буровой, выступая в присутствии Кирова на активе, сказал, что артели помогают и товарищ Алибеков, и товарищ Татевосов.

Хмурясь на солнце, щедро заливавшем дорогу, Татевосов напевал арию тореадора и обдумывал свое выступление на совещании в Раманах.

— Рассказать тебе свежие анекдоты?! — любезно предложил он Павлу. — Слушай! В Греции декретом короля объявили вне закона всех почтальонов и евреев...

— Почему почтальонов? — невольно вырвалось у Павла.

— А почему евреев? — залился смехом Сумбат Геворкович. — Слушай армянскую загадку: маленький, розовый, круглый идет и стесняется. Кто такой? Поросенок. Почему стесняется? Потому, что у него мама свинья.

Поставив машину в гараж, Павел бродил возле управления.

— Берегись! — неожиданно он увидел перед собой бородатого возчика и кособокий темносерый фургон.

Павел посторонился, но возчик туго натянул поводья.

— Иди сюда! Тут тебя люди добрые требуют, — крикнул он.

Павел приблизился к фургону.

— Залезай под брезент, сам бог послал тебя к нам!— донесся до него голос Комова.

Какие-то секунду-две Павел колебался, — Комов будет мстить за провал заговора, он ни перед чем не остановится. Поблизости — ни души, но если кинуться бежать, на выручку к нему придут рабочие, быть может, они успеют захватить фургон. Быть может... А Комова надо брать наверняка. Неспроста Аким Ильич очутился в промысловом районе, — он вел большую игру и, конечно, не смирился с поражением. Заговор раскрыт не до конца, враг, гуляющий на свободе, способен нанести тяжелый удар. Возможно, присоединившись к Акиму Ильичу, не спуская с него глаз, он, Павел, сорвет происки эсеров.

— Надолго поедем? А-то Татевосов меня искать будет... — спросил Павел.

— Чихать на твоего патлатого! Нам теперь не до цирлих-манирлих, — отрезал Комов.

Внутри фургона, на охапках прелой соломы, кроме Комова сидели еще двое. Они даже не взглянули на Павла.

— Лезь ко мне поближе! — позвал его Аким Ильич.

Живым я им не дамся, в случае чего, — ударю Комова, выброшусь на дорогу, — подумал Павел.

— Каждая голова у нас на счету. Много наших людей Чека схватила, но большевики за это поплатятся, — процедил сквозь зубы Аким Ильич.

Я ему нужен, и поэтому — в безопасности, — успокоил себя Павел.

Фургон поравнялся с одноэтажным, сложенным из камня и кирпича домом, который стоял на отшибе от остальных домов Московского поселка.

— Тишь, гладь, божья благодать, — не поворачивая головы, сказал возчик.

— Добрались! — Комов нащупал в кармане брюк революьвер...

Только они спрыгнули на землю, как возчик взвил кнут над лошадьми:

— Пошел!

В большой, прямоугольной комнате у окна стоял, сбрасывая в цветочный горшок пепел от цигарки, Бабанов-Линевич. Он с явным неодобрением посмотрел на Павла:

— Мы знакомились в Храме... Вас не замели комиссары? Странно...

Бабанов, прихрамывая, пошел навстречу Комову.

— Ограш здесь? — спросил его Аким Ильич.

— В соседней комнате. Накурился, сукин сын, блаженствует...

— Привели бы его в чувства!

— Лишнее. Он погрезит, и станет злее.

— Так... — протянул Аким Ильич, — так...

Сделав знак, чтобы все подсели к нему поближе, Комов сказал:

— Мы пустим «красного петуха», голосистого петуха, его и в Европе, и в Америке услышат! — он сжал руками фуражку так, что хрустнул козырек.

Санитарный врач из таможни, дремавший в углу под иконой, словно бы все это его не касалось, открыл глаза, и Бабанов понимающе кивнул головой.

— Довольно болтать, от эсеровской говорильни что толку! — презрительно бросил он.

— Ссориться не будем. Свой своя не едаша, — примирительно сказал Комов.

— Пламя! В Раманах горит! Участок «Аршалуйс»...— крикнул лопоухий, с толстой шеей детина, охранявший вход во двор.

— Началось! — гримаса исказила лицо Акима Ильича. — В Балаханах «Фарос» уже полыхает... В Черном городе машинист паровоза — наш человек — подаст цистерны со спиртом к поселку, мужики перепьются, бросят работу.

Сегодня десятое апреля, в Генуе открылась конференция. Вот к какой дате приурочили они свое выступление! — понял Павел. Хладнокровно, продуманно шли на поджоги и взрывы эсеры, объявившие себя «защитниками народа». Он, Павел, оказался в логове врага, но он изолирован от своих, беспомощен, и удастся ли вообще уйти отсюда живым?! Хотя, о своей ли жизни думать ему сейчас? Будь у него с собой граната, он бы подорвал это сборище поджигателей.

Ветер закружил за окном песок и бумагу, застучал по стеклам, завыл в дымоходе.

— Норд идет! Гаврилов с метеостанции не подвел, точный прогноз дал... — все более возбуждаясь, говорил Аким Ильич.

— Мои люди сработали, а ветер поможет, — сказал Бабанов.

Скрипнули часы, стоявшие на старомодном комоде, и выскочившая из дупла заводная кукушка прокуковала шесть раз.

— Через два часа загорятся Сураханы, — со зловещим торжеством произнес Комов. — Поджоги в Балаханах и Раманах — это мелочь. Главный наш подарочек комиссарам — Сураханы.

Желтые огоньки вспыхнули в глазах Акима Ильича, когда он стал говорить о предстоящем поджоге. Горящие вышки и мерник в Балаханах и Раманах оттянут на себя пожарные дружины, они ликвидируют огонь, но выбьются из сил. И тогда запылают богатейшие промыслы в Сураханах — надежда большевиков. Взлетят на воздух резервуары, огонь будет лизать открытые неф-

тяные амбары с легкой сураханской нефтью. Полопаются нефтепроводы, дотла сгорят скважины, в которых идет вращательное бурение. Этот пожар большевикам не одолеть.

Санитарный врач, молитвенно сложивший белые дряблые руки на груди, кивком подозвал к себе Бабанова, о чем-то пошептался с ним. Кривая улыбка пробежала по губам коменданта казармы.

— Пора, — напомнил Бабанов увлеченному своим рассказом Комову.

— Он, — Аким Ильич дотронулся до плеча Бабанова, — поведет вас в Сураханы. Начнется пожар, поднимете панику. Ты, Павел, пойдешь со мной и Евсеем: разрушим дорогу, чтобы машины и дроги не добрались до промыслов.

Предупредить, немедленно предупредить! — тугая жилка билась на лбу Павла. Когда он выйдет отсюда вместе с Комовым, будет поздно, — огонь охватит промыслы. Нужно вмешаться раньше, чем преступники чиркнут спичкой. Он еще успеет предотвратить поджог, — только бы выбраться из этой комнаты... Умереть не страшно, страшно не жить! Жилка забилась сильнее... Один эсер караулит во дворе, второй — у парадной двери. Они не дадут ему прорваться. Броситься в окно комнаты — бессмысленно: оно наглухо закрыто, а снаружи к нему прибита решетка. Найти бы предлог, чтобы выйти на улицу... Павел схватился за живот, кусая губы, застонал.

— Мутит... — страдальчески сказал он Комову.

— Парень на сносях? — с издевкой бросил Бабанов.

— Уборная — в коридоре. Идем, я покажу! — Аким Ильич поднялся, отодвинув ногою стул. Встал и Бабанов.

— Тут! — Комов предупредительно зажег свет. — Постарайся скорее, время — дорого.

— Постараюсь! — Павел скрючился, словно его пронзила боль, бросился в ноги Комову, сбил его и рванулся к открытому окну галереи.

— Назад! — рявкнул Комов. — Застрелю. — Он выхватил наган, прицелился в Павла.

— Не уйдет! — опередивший Акима Ильича, Бабанов взмахнул ножом. Острое лезвие разорвало пиджак, ушло

под лопатку. Оседая, Павел упал на вымытый, пахнущий мокрицами и веником пол.

Отряхнув пиджак, Комов подошел к Павлу, ударил его револьвером по голове:

— Отец был рохлей, а этот — стервец!

— Палить из нагана было бы глупо. Могли услышать... — спокойно заметил Бабанов.

— Убирать труп некогда. Займетесь им потом, — сказал Комов одному из эсеров.

Но Павел был еще жив. Он слышал неясные голоса, топот ног, стук захлопнутой двери. Вата ворохом обволакивала уши, тысячи игл впивались в глаза, тяжелый пресс сжимал лоб.

Воспоминания всплывали, теснились,блекли, сменялись видениями, отогнать которые он не мог.

...Матросский костюмчик, бескозырка с оранжево-черной гвардейской лентой... Он смотрится в нем в нефтяную лужу, которая отражает, как зеркало, и стягивает бескозырку набок. Испуганный женский крик: «Ты испачкаешь новый костюм!» Ах, да, это было при матери...

...Скакалка описывает дугу, ударяет об землю, поднимая с собой пыль. Все быстрее носится в воздухе веревка, со свистом режет воздух, едва касается земли. И как только выдерживает этот бешеный ритм Фатьма, — она прыгает, прыгает. Фатьма скачет, подбоченившись, вызывающе смотрит на Павла, и, взмахивая косами, дразнит его: «Видал, какая я ловкая!»

...«Атешга». Взявшись за руки, он и Фатьма проходят под воротами Храма. Дрожащее семячко движется им навстречу. Это горит газ, которым дышат недра. Люди в белом возникают в окнах-овалах келий, они склоняются перед огнем. Огнепоклонники, индусы... Они надувают бурдюки священным газом, они повезут газ к мрачным берегам Ганга. Пламя расплывается, языки его тянутся в высь, охватывают Храм, ползут к нему и Фатьме. Огонь всюду, он гудит в кельях, бушует позади него и Фатьмы. Павел рвется, закрывает своею грудью Фатьму, но спасения нет...

Тучный, с бородавкой на носу, буржуй запускает в Павла и Юсифа стаканом. Он взбешен тем, что они кричат под его окном: «Красные пришли»! Юсиф доказывает Павлу, что они видели этого человека в черной, об-

тянутой шелком шапочке на балконе, в котором помещалась деникинская военная миссия. Это при мусавате большевики-подпольщики готовили нападение на белогвардейское гнездо, а комсомольцы вели наблюдение за домом.

Тогда тоже был солнечный апрельский день! Двадцать восьмое число... Он и Юсиф взобрались на перила моста, перекинутого через станцию, и видели, одетые в стальной панцирь, вагоны бронепоезда Одиннадцатой армии, красноармейцев, стиснутых ликующей толпой, Кирова и Орджоникидзе, спрыгнувших на вокзальный перрон.

— Ата!* — Юсиф закричал так громко, что, кажется, перекрыл гул внизу. Среди бойцов он различил Кудрата, отца.

Павел был рад за друга и завидовал ему. Возвращаясь домой с вокзала, он увидел своего отца, стоявшего у окна. Шел дождь, по оконному стеклу косыми струями сползала вода, искажая черты отцовского лица, — оно было оплывшим, жалким, кривым.

— Большевики, конечно, тоже революционеры, не чета мусаватистам, — грустно сказал отец, — но...

Нескладно вышло у него с Юсифом. Служили одному делу, а лучший друг видит в нем врага. Теперь он узнает правду...

...Тысячи лиц, как на одно лицо. Оно тускнеет, сливается с голубой землей. Почему земля голубая? Это — небо, опрокинутое вниз? Или земля станет когда-нибудь такой же светлой и чистой, как небо?

...Проходя по коридору, Аждар остановился у распростертого на полу Павла. Суженные, после курения анаши, зрачки его впились в Павла, с губ сорвалось «Дождался, грязный пес!» Он пнул ногой тело и что-то похожее на удивление мелькнуло в его остекленевших глазах. Павел пошевелился. Добить его? Сказать о нем тем, кто остался в комнате? Рука Аждара полезла в карман, но нащупала не нож, а спички. Сдохнет и так... А ему велели торопиться, время поджигать скважины. И, переступив через Павла, Аждар пошел к двери.

---

* Ата — отец.

ГЛАВА XX

Вышки тянутся по равнине, взбегают на косогор. Застыли на откосе гроздья соли, бурым цветом окрасила песок промысловая вода.

По наброскам Доренского выбрали место для нанесения удара. И вот в сотне шагов от него — скважина, которая загорится первой. Дороги поблизости нет, по обе стороны — вышки-амбары, полные нефти. Добраться к этой скважине можно лишь по доске, переброшенной через озеро мазута. Огонь от нее быстро перекинется на соседние скважины и нефтяные чаны...

...Было ровно восемь, когда из темноты выросли две согбенные фигуры. Это люди, с которыми он подожжет промысел.

— Пошли — шепнул ему пожилой эсер.

Притаившись за вышкой, Аждар поджидал часового. Мелкая дрожь охватила тело Доренского.

«Это от нетерпения», — он пытался успокоить себя.

Аждар был за спиной охранника, их тени сложились в одну. Еще миг, и он ударил часового ножом.

— Шевелись! — торопил Доренского эсер. — Зажигай паклю, бросай!

Виктор ступил на доску, ведущую к скважине. Узенькая, провисшая доска покачнулась под ним. Он схватился руками за косяк вышки, чтобы не поскользнуться на замазученных мостках. Дрожащие пальцы вытащили из кармана паклю. Провел спичкой, сера зашипела, но ветер загасил огонь. Доренский повернулся спиной к ветру, снова полоснул спичкой по коробке.

Пакля вспыхнула, он бросил ее к вышке, отступил от двери. Оглянувшись, увидел Аждара, швырнувшего факел в амбар.

— Бежать! — Он успеет спастись от огня и людей, которые будут искать поджигателей.

...Пламя тянулось по деревянной, пропитанной нефтью вышке, ветер раскидал его по доскам, оно кинулось к отстоечным чанам, выкидному ящику, желобам. Заметалось, охваченное огнем, нефтяное хранилище, горящий поток уже бежал к резервуару.

Свисток разрезал воздух, ударили в набат.

— Пятый горит!

— Старый — ротшильдовский... Там — самые богатые скважины!

— Все — на косогор! — Пожар... — всколыхнулись, взволновались Сураханы.

Ветер рванул пламенем в людей, бросил огонь на юг. Лопнули тросы, рухнули останки вышки, космами заплелись по земле.

Норд крепчал. Султаны дыма стелились по озерам, багровые сполохи раздирали мрак. Огонь взвился столбами, они раскачивались, опадали и снова бились в небо.

...Юсиф снимает кепку, прячет ее в карман, — иначе ветер унесет. В такую погоду обычно не бурят, но Денисыч не прекращает проходки. Недовольна земля, что так глубоко в нее ушли трубы, шипит, вырываясь наверх, газ, предостерегает людей, а они рады ему, — знают: где газ, там и нефть. Денисыч собрал их всех у желоба, чтобы видели они налет нефти на отработанном растворе. Скоро забьет фонтан, скоро...

Денисыч сколотил себе топчан, поставил в шалаше и сутками не уходит с буровой.

— Боюсь фонтан дома проспать, — отшучивается он.

Но боится Денисыч не фонтана, а новой аварии: каверзные породы встречаются на их пути.

...Чудной ветер. Он пахнет гарью... Юсиф всматривается в даль. Красные клинья пронизывают темноту. Это в тысяче метров от буровой.

— Пожар! — что есть силы кричит Юсиф.

Его не слышат.

— Горит!

Снизу ему машут фонарем: спускайся, объясни, что случилось.

— Иду! — пытается перекричать вой ветра Юсиф.

Он сбегает по ступенькам на деревянные мостки:

— Пожар! Вышка на пятом промысле горит!

Денисыч оставляет на буровой старика Османа и моториста, — остальные с лопатами и ведрами бегут на пожар.

...Этой ночью всюду от Сураханов до Сабунчей и Забрата никто не ложился спать. Спасать скважины шли нефтяники из Мухтарово и Раманов, шли жители из ближних селений. Поднятые по тревоге, грузились в машины курсанты и бойцы «Летучих отрядов» «Азнефти».

Враг рассчитывал на огонь и ветер — силы стихии. И поджог, диверсия стали стихийным бедствием. На земле, где когда-то молились пламени, как божеству, бушевал огненный шквал. Даже фанатичные огнепоклонники не могли вообразить такого буйства огня.

Вышки, сама земля были пропитаны нефтью. Пламя ревело в воздухе, как в печах, — воздух был насыщен бензиновыми парами и газом. Горели не только нефтяные амбары и нефтяные лужи, горели водяные бассейны и озера, покрытые пленкой нефти. Взрывались емкости с горючим, и огненные ручьи неслись по земле. От искр и головешек вспыхивали вышки и чаны и на отдаленных промыслах. Дым стелился над землей, мешая разобраться в хаосе огня.

Что могли противопоставить люди стихии? Маломощные помпы и гидропульты, о беспомощности которых говорило само название «костыль»? Редкие пожарные водоемы и одиночные водяные линии со стояками? Несколько пожарных автомашин и ручные насосы на конной тяге — трубные ходы. Это было то же, что идти с копьями и луками на гаубицы и танки.

Организованность и сила духа против стихии, — так шла битва на сураханской земле. Паники — неизбежной в бедствиях — не было. Киров и Серебровский наладили взаимодействие отрядов, соединили усилия разрозненных групп. Появились фронт и тыл, передний край и второй эшелон, штурмовые дружины и резервные части. Глубокая оборона проходила по всем сураханским промыслам.

Для таежного пожара обрыв стал бы преградой. А горящая нефть обрушилась вниз, к пологому котловану, густо усеянному вышками, к скважинам с легкой, как бензин, нефтью — «сураханкой». Она стремилась к раскинутому в низине нефтяному озеру, к окружающим его амбарам, складу с горючим, парку резервуаров.

Туда и направили ударные отряды нефтяников, пожарных, саперов.

— Возводить земляные валы! Засыпать канавы! — получили они приказ.

На промыслах, не тронутых огнем, почти у всех скважин с надветренной стороны были расставлены рабочие. Комсомольцы дежурили на ступеньках лестниц и голубятнях вышек. Тушили горевшие доски и головеш-

ки, заброшенные ветром, гасили искры, сбивали комочки пламени с верхушек вышек, отрывали топорами и баграми вспыхнувшие планки.

Северный ветер «норд» был неузнаваем, — пройдя сквозь огонь, он становился жарче моряны. Лица людей лоснились от пота, одежда прилипала к телу, нечем было дышать. Возле закопченной каменной будки полулежал, стиснув от боли зубы, райкомовский секретарь: на нем разрезали обгоревшую кожанку, которая покоробилась от жары и сдавила ему тело. Дружинники с обожженной кожей плескали себе в лицо водой и снова шли на огонь.

Юсиф увидел Кирова: брезентовый плащ на нем обгорел, фуражка была порвана. В какой-то миг он уловил выражение глаз Сергея Мироновича, — они светились решимостью и удалью. Киров пытался накинуть задвижку на острие фонтана. Огонь бесновался, но Киров был уверен в себе, и его выдержка передавалась людям.

Дружинники продвигались вперед, к горевшим вышкам. Юсиф шел с ними. На земляных валах, опоясывающих амбары с нефтью, рабочие сдерживали огонь. Амбары не были тронуты им и, казалось, что их удастся отстоять. Но с вышки оторвало горящую доску, она врезалась в амбар, уже позади вала, и нефть воспламенилась.

— Пробьемся! Двум смертям не бывать... — это был голос Денисыча.

Двигаясь вдоль вала, отгоняя пылающие чурки, они спешили к мощеному шоссе.

— Осталось немного! — подбадривал их Денисыч.

Но огонь вставал стеной, и в нем не было бреши.

— Хана! — упавшим голосом сказал кто-то.

— Выручат! Нас видели, — выручат! — твердил Денисыч.

И, как бы в подтверждение его слов, в разрывах, пробитых водяными стволами, сверкнули каски дружинников «Летучего отряда».

В полночь на этом участке уже не было огня.

— Третий промысел горит! Третий... — внезапно раздались тревожные возгласы.

— Скорее на буровую! Беда... — Денисыч позвал Юсифа.

По пути их нагнал Сурен.

— Стой! — Юсиф взял под уздцы лошадей фаэтона, невесть как очутившегося на промысле, показал извозчику, куда ехать.

ГЛАВА XXI

Стоун храбрился, держался бодрячком, но положение его было незавидное. Генерал Гасуэн и секретарь Рокфеллера расценили высылку Фрэнка из России, как провал. Ему припомнили и неудачное покушение на Бойля. Стоуну стало ясно, что в Генуе он должен реабилитировать себя.

Внимание Фрэнка привлек Кудрат Ахмедов — эксперт — нефтяник советской делегации. Американец знал его в лицо, — будучи в Баку, он заезжал на девятнадцатую буровую. Шантаж и провокации претили Стоуну, он предпочитал более «чистые» методы, но тут, когда на карту была поставлена его будущность, выбирать не приходилось.

Утром в номер отеля, где жил Кудрат, постучали. Кровать еще не была застелена. Кудрат был в нижней рубашке, но, решив, что это монтер, обещавший исправить люстру, сказал: «Войдите!»

Оставив дверь распахнутой, в комнату, семеня тоненькими ножками, вошли ярко намазанные девицы в сильно декольтированных платьях. Они несли подносы с откупоренными бутылками.

— Я не звал! — обернулся Кудрат.

Однако женщины, не реагируя, приближались к нему. Опустив подносы на постель, они внезапно повисли на шее опешившего Кудрата, стали его целовать. С трудом оторвав их от себя, Кудрат не заметил, как в дверях щелкнула фотокамера. Девицы сказали, что ошиблись номером и, взяв подносы, скрылись. Кудрат сплюнул от отвращения, снова умылся и подумал, что не стоит придавать значения этой ерунде: «Вернусь на промысел, расскажу рабочим о нравах Европы...»

После обеда в вестибюле гостиницы его остановил Стоун.

— С бакинским приветом! — расплылся в улыбке американец. — Мир тесен.

Кудрат уехал из Баку до того, как Фрэнк был выдворен оттуда, и он вежливо поздоровался с ним.

— Присядем на минитку, у меня к вам небольшое дельце, — сказал Стоун. — Он изобразил на лице сочувствие и, понизив голос, заговорил: — Вас ждут крупные неприятности, дружище! Я пришел вам помочь...

— Другой раз, — поморщился Кудрат.

— Взгляните на эту карточку... — Стоун не отступал. — Мне сказали, что завтра она появится во всех газетах.

На фотографии были видны полуодетый Кудрат и женщины на фоне помятой постели и батареи бутылок.

— Подпись, говорят, будет такая: «В России они обобществляют жен, в Генуе соблазняют девушек...»

— Ну, и что дальше? — Кудрат был сдержан.

— Дальше? Наркомы отправят вас на родину за разврат, там вас отдадут под трибунал, — и прощай карьера!

— Как же вы мне поможете?

— Я, пожалуй, имею влияние на владельца этой карточки. Но, я — вам, вы — мне, рука руку моет, как говорят русские. — Стоун перешел на шепот: — Дайте мне копии ваших материалов.

— Грубая работа! — Кудрат возвратил фотографию Фрэнку. — Царский ротмистр Хромов был тоньше. Арестовал семь большевиков, одного из них выпустил, думал, что товарищи отвернутся от меня и он сумеет меня завербовать. Сорвалось у ротмистра, — товарищи мне поверили.

Дверь комнаты, в которой жил Кудрат, захлопнулась перед американцем.

— Прельщать его деньгами было бы еще глупее... — Стоун выругался, с досады порвал карточку в клочья. Можно было бы, конечно, отдать ее в газету, но расположения шефа этим не вернешь. Следовало попытать счастья в другом, — выведать планы посланцев Детердинга, подставить ножку самонадеянному Бойлю.

Но Стоун недооценивал Бойля. По заданию полковника, капитан Джордж Хилл разрабатывал план секретной операции «Дувр». Под этим шифром готовился налет на гостиницу, где помещалась советская делегация.

Белогвардейцы, которых в Генуе хватало, должны были обезоружить полицейских, охраняющих здание, попасть в комнаты делегатов и выкрасть документы.

По замыслу организаторов, выдержки из документов, умело обработанные и поданные в печати, скомпрометируют большевиков, запугают их, сделают покладистее. Скандала, вызванного налетом, полковник и Хилл не опасались: они устраивали дело так, что все нити вели к «Стандарт-ойлу». Этим Бойль и Хилл надеялись восстановить русских против рокфеллеровского треста и добиться того, чтобы итальянцы выслали агентов «Стандарт-ойла» из Генуи.

...Десятого апреля в 3 часа дня по среднеевропейскому времени открылась конференция. Половина большого зала дворца Сан-Джиорджио была отведена под трибуны прессы, в ложах сидели почетные гости. Столы были составлены в форме буквы «П»: в центре располагались делегации Англии, Франции, Италии, Бельгии, Японии, представители остальных стран в алфавитном порядке занимали места за двумя боковыми столами. США официально не участвовали в конференции, — посол Чайльд присутствовал в качестве наблюдателя.

Вспыхнули хрустальные люстры, шепот «Спаситель Европы» пробежал по рядам, когда увидели Ллойд-Джорджа. А следом за ним и премьером Италии Факто вошли советские делегаты. Ллойд-Джордж поднялся на трибуну. У него была внешность проповедника, — благородная седина, добродушное подвижное лицо. Говорил он тоже, как проповедник:

— Европа, истощенная яростной борьбой, материальными убытками и потерей крови, и сейчас еще несет колоссальное бремя долгов и возмещений, унаследованных от войны... Она нуждается в отдыхе, тишине и спокойствии, — британский премьер красноречиво посмотрел в сторону советской делегации, и Кудрат зажмурил глаза от яркого света юпитеров, — стрекотали ручки киносъемочных аппаратов.

— Без участия России экономическое восстановление Европы немыслимо! — Ллойд-Джордж эффектно бросил фразу, ставшую крылатой.

Зал пришел в движение, когда назвали имя советского наркома иностранных дел Георгия Чичерина. Личность его вызывала интерес, — потомственный дипло-

мат, дворянин, давно связавший себя с революцией. У Чичерина была профессорская внешность: гордая посадка головы, высокий, с залысинами лоб, бородка, подстриженная лопатой, и усы. Глаза с прищуром холодно смотрели в зал, косые складки резко обозначались у выбритых до синевы щек. На темном жилете поблескивала цепочка часов. Глухое настороженное молчание держалось все время, пока он говорил:

— Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является настоятельно необходимым для всеобщего экономического восстановления.

Кудрат боялся проронить хоть слово из речи руководителя делегации. Чичерин говорил по-французски, а перевод ее бакинец слышал от консультанта, который сидел рядом.

— Предлагаем от имени Советской России всеобщее разоружение, которое облегчит народам бремя милитаризма, — сказал Чичерин.

Не успел он сойти с трибуны, как вскочил с места красный, разъяренный Барту — представитель Франции.

— Никакого разоружения! Разоружению мы говорим — нет! Это — вызов Франции! — в исступлении кричал он.

...В перерыве между заседаниями журналисты столпились вокруг советских делегатов. Кудрат был возле Нариманова, когда председателя Азербайджанского Совнаркома забросал вопросами корреспондент нью-йоркской газеты:

— Ваши впечатления о жизни на Западе?

— Разум за границей в плену у капитала. Каждый заботится о себе. Это действует на меня угнетающе, — ответил Нариманов.

— А в чьих интересах действует ваша делегация?

— В интересах тружеников. Мы на стороне тех, кто своими руками воздвиг дворцы и виллы на берегах Итальянской Ривьеры.

Корреспондент пропустил эти слова мимо ушей.

— Вы уверены, что победите в соревновании двух социальных систем? Почему?

— В борьбе возьмет верх тот, у кого сильнее воля и кто способен для общего дела забыть свое личное благополучие. Значит, победа за нами.

Нариманову нездоровилось, он знал, что болен тяжелой неизлечимой болезнью. Его тянуло на воздух, но назойливый репортер не отставал:

— По-вашему, большевистская Россия застрахована от поражений?

— Восемь лет назад я работал страховым врачом. Как специалист, могу сказать, — капитализм теперь выглядит так плохо, что я бы не выписал ему страховку. — Он кивнул и заспешил к выходу. Увы, корреспондент нагнал его в дверях:

— Одну минуту... Допускаете ли вы, что без помощи развитых стран советские республики могут восстановить свою промышленность?

— Не только восстановить, но и поднять ее! А в будущем мы вас обгоним.

— Но это — красивые слова?! Насколько мне известно, с нефтью и углем у вас провал...

— На это вам лучше ответит, — Нариманов покосился на Кудрата, — эксперт Ахмедов, мастер-нефтяник из Баку.

Кудрат встретился взглядом с репортером, — у американца были тусклые бездумные глаза, лишенные даже любопытства. «Выполняет чужой заказ, — подумал Кудрат. — Чем нахальнее охаит нас, тем больше ему заплатят. Холуи противнее хозяев...»

— С промыслами мы сами справимся, а охотники до нашей нефти пусть катятся подальше! — отрезал он.

Репортер закрыл блокнот, стал протискиваться к выходу.

— Круто, но, в общем, правильно, — одобрил Нариманов. — Он меня уже раздражал.

— Не всегда я нахожу подходящие слова, — развел руками Кудрат.

— Это и со мной бывает, — успокоил его Нариманов. — Наткнулся как-то в уезде на сборище беков и вздумал уговаривать их, чтобы они не шли против Советской власти. В ответ — угрозы, насмешки. Еле живым выбрался. А увлекся я так потому, что убедил тол-

пу верующих разойтись, отказаться от «шахсей-вахсея». Сказал им: «Разве вы рвали цепи рабства, чтобы бить себя цепями по груди?!» Но верующие, в большинстве своем, были бедняками, это — не помещики, не классовый враг.

...От первого дня конференции Кудрат устал не меньше, чем от напряженной вахты на буровой.

До позднего вечера заседали экономическая комиссия и комитет экспертов. Обсуждались претензии и контрпретензии, шли споры из-за золота, вывезенного интервентами и белогвардейцами, до хрипоты в горле говорили о военных долгах и прибылях. Цифры ущерба, нанесенного нефтяному хозяйству Баку и Грозного, которые назвал Кудрат, сочли фантастическими, но он привел неопровержимые доказательства.

Членом экономической комиссии был Красин. Выступая, он стоял, чуть откинувшись назад, заложив руку за спину.

Кудрат восхищался Красиным: итальянского делегата, взявшего было грубый тон, он упрекнул в негостеприимстве, английского профессора-эксперта срезал острой репликой, споря с немцем, прочел строки из «Фауста».

С англичанами, французами, немцами Леонид Борисович легко говорил на их родном языке.

— Спуску вы им не даете, — вполголоса сказал Кудрат.

— Не срезав кончика фитиля, лампу не зажжешь. — Красин привел азербайджанскую поговорку.

Помнит язык,—отметил Кудрат. Много лет назад, совсем еще юношей, Кудрат был на Баиловской электростанции. Его послали к инженеру — большевику Красину с письмом балаханцев в рабочую газету. Инженера он нашел возле котла: сбросив пиджак, Красин с засученными рукавами разбирал шибер, и по-азербайджански объяснял рабочим, куда тянуть трубы.

...Был второй час ночи, и работу комиссии перенесли на другой день, так ничего и не решив. И все-таки, перед сном Кудрат дописал письмо, которое было адресовано Денисычу, а предназначалось всем рабочим сураханской буровой артели: «Вот я и в Европе. Чувствую себя так, будто нахожусь среди двух горнов, — нечем

дышать. Кругом и ото всех только и слышно о деньгах,— это у них — соль жизни.

Генуя — красивый город. Однако, какой ценой добыты ее богатства?! Купцы разбойничали и свозили награбленное в Генуя. Я запомнил то, что сказал Нариманов, когда мы шли по разукрашенной набережной: «Говорят: «Это — культура»! Да, но сколько горьких слез пролито на каждый кирпич этих роскошных зданий. Сколько проклятий брошено по адресу хозяев этих дворцов детьми и женами тех, которые легли на поле битвы ради спасения капитала в последней войне!»

Зал, где идет конференция, большой, нарядный, перед председателем на столе — не бомба, — колокольчик, а война здесь, как на фронте. Трудно разговаривать с буржуями, но у нас сил хватит. Правда, их не исправишь: черное от стирки не белеет. Советская нефть стала гвоздем конференции, и у товарища Нариманова нет отбоя от торгашей и жуликов.

Представьте, Лианозов приехал сюда, у входа во дворец я с ним столкнулся, только он меня не узнал. Прогоревший миллионер был пьян, говорят, он спускает последнее.

Как там на нашей буровой? Скучаю без всех вас. Нажимайте, дорогие, с проходкой, — чем скорее ударит нефтяной фонтан, тем крепче мы заткнем рот капиталистам!

Ваш Кудрат».

Письмо на почтамте не приняли.

— С Советской Россией почтовой связи нет, — сказал чиновник.

ГЛАВА XXII

Мулла взволнован: он читает молитву, но взгляд его обращен не к аллаху, а к окну. Так светло, что погаси все свечи и без них увидишь каждую строчку священной книги. Искры и горящие щепки достигают селения, — они плавят кир, грозят зажечь саманные постройки. Мулла — за то, чтобы промыслы сгорели дотла, он призывает огонь на головы неверных, вероотступников и богохульников-комиссаров. Но мулла просит аллаха по-

щадить мечеть и дома старого селения Сураханы, в котором живут верные слуги всевышнего, достойные мусульмане.

Ага Салим не отваживается перечить мулле, — ученому человеку виднее. Однако Ага Салим не хочет гибели промыслов, — они созданы руками трудовых людей. Он больше не боится, что потеряет работу, коммунисты, хвала им за это, бурят много новых скважин. Отныне он не будет бастовать: сосед Кудрат тогда, на Солбазе и у горы Разина, дал ему хороший урок. Кудрат далеко, его самые большие московские начальники — наркомы взяли с собой за границу, он там с чужеземными министрами разговаривает — спорит. «Картошкой объелся, человеком стал» — злобно говорит о нем кечаль-Гасан. А ведь Кудрат не сделал кечалю ничего плохого. Что поделаешь, зависть непримиримее ненависти.

Дрожат стекла... Давно не было такого дикого норда. Словно тысячи шакалов воют за окном. Только бы ветер не бросил пламя на дома! Сколько огненно-красных звезд носится в воздухе... Он не пошел тушить пожар, — не его это печаль. Да и какая разница, одним человеком там будет больше, или меньше? Во имя чего ему рисковать жизнью? Чтобы заслужить чье-то одобрение? Все земные страсти бесплодны... Он души не чаял в своей жене, — она ушла от него в иной мир, он был привязан к детям, но дочь покинула дом, а сын — отрезанный ломоть, — водится с хулиганами и кочи. От рока, кисмета никуда не деться. Разве исправишь своей рукой то, что начертала судьба?

...Пустеет мечеть. Тщетны надежды на милость аллаха, — будто стаи птиц, летят уже пылающие головешки, и люди расходятся по домам, чтобы спасти свой кров. Стены мечети пропускают крики и мольбы перепуганных женщин, плач детей.

— Бисмиллах! — повышает голос мулла.

— Выходи, Ага Салим. Дочь твоя по дворам бродит, — шепчет тартальщику вездесущий кечаль-Гасан.

У этого человека язык не на привязи (чирей бы ему на язык!), но, видно, он правду говорит. Тяжесть спадает с души Ага Салима: он боялся, что Фатьма побежала тушить пожар. Но что она делает в селении?

Кечаль-Гасан следует за ним неотступно, как тень.

— Только что она была здесь, — уверяет он.

Ага Салим расспрашивает прохожих, не видели ли они девушку с длинными косами.

— Это, которая с непокрытой головой? — свирепо говорят мужчины и отворачиваются.

— Пойдем ко мне. В такую ночь женщине без мужчин страшно. Сестра обрадуется тебе, — тянет его кечаль-Гасан.

— Надо Фатьму найти...

— Ищи ветра в поле... — Кечаль-Гасан наконец-то отстает от него: он боится за свой дом.

Навстречу идут русские девушки в красных платочках и парень-азербайджанец в гимнастерке. Это, наверное, партийные или комсомольцы, — с такими людьми дружит Фатьма. Тартальщик спрашивает их:

— Фатьма из общежития не с вами была?

— Фатьма? Она на складе работает? Тут она, недалеко...

Эти люди торопятся: вон, они подбегают к воротам дома, который в страхе, схватив свои пожитки, покидают старик и женщины, прижавшие к себе малышей. Во дворе мерцают непотушенные, занесенные с промысла головешки.

Парень топчет ногой угли, а девушки уговаривают растерявшихся людей вернуться к себе. Они зовут из соседнего дома подростка, поручают ему набрать из колодца воды и дежурить с ведрами во дворе.

Чем дальше в глубь селения идет Ага Салим, тем больше юношей и мальчишек, занявших посты во дворах, на крыльце, на крышах, встречает он. Суматохи и растерянности уже нет. Он понимает, — это постарались партийные и комсомольцы, может быть, и Фатьма.

— Убить бы ее, проклятую! Из-за таких, как она, аллах карает нас, — слышит Ага Салим злобные слова. Не к его ли дочери они относятся?

Он поднимает голову и видит на крыше Фатьму, сбрасывающую вниз, на песок, горящие щепки.

Что ей до людей, живущих под этой крышей, чем она им обязана? Она рискует, а ее еще бранят мужчины...

— Фатьма! Дочь моя! — кричит Ага Салим.

Она не слышит. Ветер относит его слова в сторону, разрывает, искажает их. Он подходит вплотную к забору, снова зовет ее.

— Отец? — удивляется Фатьма. — Подожди, я быстро...

Смелая она, никого не боится... Ловкая... Легко прыгает с крыши. Ей бы мальчишкой родиться... Искал он дочь, а о чем с ней будет говорить, не знает.

— Я здорова, отец. У меня все хорошо... — Фатьма сама начинает разговор.

— Для чего ты сюда пришла?

— Райком послал. Чтобы людей успокоить, помочь им.

— Большой пожар. Горе... — роняет Ага Салим. — Прогневался на нас аллах.

— Аллах тут не при чем, отец. Вышки подожгли.

— Кто мог поджечь? Выдумываешь, дочка!

— Плохие люди подожгли... — С ее губ едва не сорвалось имя Аждара. На промысле ей сказали, кого задержали Юсиф и Сурен. Она должна будет теперь вернуться в дом к отцу, нельзя оставить его, одинокого.

Фатьма не спрашивает Ага Салима, что он делает в поздний час в селении, лишь говорит:

— Много мужчин и женщин сейчас на пожаре. И наши рабочие, и сабунчинские, даже из Балаханов пришли. Тартальщиков я там тоже видела.

Дочь упрекает его? У нее еще молоко на губах не обсохло, чтобы учить его! Ага Салим хмурится, но теперь не время ругаться, и, потом, он так рад, что нашел ее. Слава аллаху, что она в селении, где не так опасно, как на пожаре...

— Не мое добро горит, — отвечает ей Ага Салим.

— Ты неисправим...

— Чужое добро мне вообще не нужно. — Упрямая складка пробивается у него на лбу. — Аждар давал деньги на папаху из каракуля, я не взял. Незаработанные у него деньги...

Сказать ему про Аждара, или не сказать? — колеблется Фатьма. Эта новость не ужаснула, не потрясла ее, она давно говорила себе, что от Аждара можно ожидать любое, но отцу будет тяжело, очень тяжело! А виноваты в случившемся и Ага Салим, и она, потому что они молчали о делах Аждара, волей-неволей выгораживали его.

Тогда, может, и этого пожара не было бы? — мелькнула у нее мысль, но, здраво рассудив, Фатьма заметила себе: Аждар поджигал не один, он был орудием в руках врага. Не пошел бы на это он, подкупили, натравили бы другого.

...Мимо них бегут парень-азербайджанец и русские девушки, у которых Ага Салим спрашивал про Фатьму.

— По цепочке передали, — девятнадцатая в опасности! На которой по-новому бурят... — сообщают они на ходу.

— Мне пора, отец, — Фатьма дотрагивается до его руки и спешит догнать своих товарищей.

— В огонь не лезь! — кричит ей вдогонку Ага Салим.

* * *

Взрывались резервуары. Трескались нефтепроводы, и нефть подбиралась к валу, ища в нем лазейки. Поток вздымался, грозил стать вровень с валом, захлестнуть его. За первой насыпью поднимали вторую. Лопаты входили в мягкую промысловую землю, и люди клали земляные лепешки на ограду.

Алибекова поливали из брандспойтов, чтобы он выстоял в пекле, но горячий воздух высушивал одежду, и она ссохлась, встала колтуном. На глазах Алибекова, молния рванулась из чана, пламя смешалось с дымом и огненные пенки вздулись по бокам резервуара. Вишнево-красная стрела устремилась к амбару. Вспыхни он, и пожар на озере стал бы неминуем.

— За мной! — Киров схватил сорванную с вышки доску, бросился к амбару.

Алибеков побежал наперехват огненному лучу. Обгоняя его, ринулись туда курсанты, тартальщики, монтеры. Досками, лопатами, носилками отбивали они огонь, но огненные змеи уползали все дальше.

— Не пускать огонь! — Взмахивая доской, как веслом, Киров толкал назад рыжевато-синее пламя. Он не видел, как островки огня подбираются к его тужурке.

— Сергей Мироныч! — Алибеков, забыв о своем ревматизме, бросился в нефтяную топь и, едва не увязнув в илистом, мягком дне, догнал Кирова.

Выбрались они из нефтяного амбара уже после того, как огонь, отброшенный на сушу, был засыпан песком.

— В бою вы человек надежный, — сказал ему Киров.

— Это мой долг...

— И акционера Салаева, умершего в Твери под забором, больше не жалеете? Его друзья передали нам горячий привет.

К Кирову подбежал врач, доложил, что прибыла санитарная бригада.

— Где размещать раненых и обожженных? — переспросил Сергей Миронович. — Товарищ Алибеков, найдите помещение!

...К месту пожара Татевосов приехал с начальником Раманинского управления. Они не успели добраться до промысла, как автомобиль остановили. Инженер-раманинец с дружинниками побежал вперед, а Сумбат Геворкович умышленно отстал. Там, где на виду тысячи, отсутствие одного будет незаметным, — сообразил Татевосов. Но то, что он прибыл на пожар, будет говорить в его пользу. Быть может, окажись Сумбат Геворкович в условиях, когда все взоры были бы устремлены на него, и от того, как поступит он, зависели бы его репутация, благополучие, будущность, он бы пошел на риск. Но подвергать свою жизнь опасности здесь, затерявшись в массе рабочих, считал бесцельным.

Здание на пригорке, заброшенное и безлюдное, показалось ему удобным укрытием. Там его и застал Алибеков, искавший помещение под госпиталь.

— Какое несчастье... Я никак не приду в себя... — промямлил Татевосов.

Алибеков ощупал глазами стены, потолок и направился к выходу:

— Помещение — освободите, разместим пострадавших!

Когда он возвращался, ветер сорвал с него шапку, швырнул в нефтяную лужу. Искры, долетавшие с пожара, кружились над его головой. Сравнивая Татевосова с людьми, к которым он спешил, Алибеков думал о том, что как ни трагичны такие события, как этот пожар, они имеют и доброе начало. Люди, совершившие массовый подвиг, обретают еще большую веру в себя, познают несметные силы коллектива, проникаются ду-

хом созидания в противовес духу разрушения, который несли многие годы неурядиц и войн. Он укрепился в мысли, что инженер Арсеньев, человек тонкого ума, чьи взгляды Аслан Алиевич разделял, ошибается, потому что эти люди никогда не станут ни нуворишами, ни перерожденцами. Будут, очевидно, и в дальнейшем в их среде такие, как следователь, с которым его столкнула жизнь, будут глупцы, зазнайки, новоиспеченные барчуки, но здоровые силы все равно возьмут верх.

А то, что он и Арсеньев бывают чем-то недовольными, — не беда. Кто ругает, тот не низвергает. Опасны те, кто подпевают или молчат, они с равным рвением будут и за истину, и за ложь, будут славить и хорошее, и дурное.

ГЛАВА XXIII

Огненная река плыла к буровой. Канава, которую не успели засыпать, стала ее руслом.

— Девятнадцатую спасай!

— Девятнадцатую!

— Любой ценой отстоять ее! — взывал Серебровский. Он отменил демонтаж оборудования, сам возглавил рытье траншей. Со всех сторон на вышку направляли стволы, — вода охлаждала ее, защищала от огня. Но поток захлестнул насыпь, рванулся к буровой.

— Бежим! Всех нас сожжет! — истошно закричал кто-то.

Дружинники дрогнули, отступили.

— Назад — ни шагу! -- Серебровский метнулся к лаве.

— Александр Павлович! — Денисыч обхватил Серебровского за плечи, потянул его в сторону.

— Все, кто с лопатами и стволами — сюда! — позвал Серебровский.

Вокруг него собралось человек двадцать.

— Поливай! — приказал Серебровский дружиннику, державшему лафет, и, вонзив лопату в землю, стал бросать песок на охваченную огнем нефть. Песок скрипел, покрывался струпьями, но поток разбивался на рукава, захлебывался, тускнел, часть его хлынула в траншею, которую вырыли наспех.

Юсиф потерял Сурена из виду, стал искать его гла-

зами. Взгляд его задержался на девушке, подававшей ведра. Это была Фатьма. Никогда он не звал ее на буровую, боялся, что, увидев Фатьму на площадке, ребята засмеют его. А она сама пришла сюда, спасать буровую.

Сменилась цепочка, другие люди уже передавали ведра. Фатьмы не было.

— Простудишься, уходи... — услышал Юсиф голос Серебровского. На Сурене дотла сгорела гимнастерка, расползлась нижняя рубаха, которую он стянул с плеч, и подоткнул за пояс.

Ветер подхватил горящие доски, отнес их к вышке. Загорелись лестница, деревянная обшивка верхотуры.

— Сурен, скорей! — крикнул Юсиф. Подняв гидропульт, он ринулся к лестнице.

— Все понял! — отозвался Сурен, хотя и не представлял, как можно подняться по горящим ступенькам.

— Потушим лестницу, поднимем шланги, дадим воду на обшивку, — объяснил Юсиф.

...Пятая из загоревшихся ступенек была свободна от огня. Оставались две, всего две. Но воды уже не было в ведрах. Юсиф стянул с себя пиджак, накрыл им пламя. Потянуло дымом, и фитилек огня вырвался из-под тлеющей полы. Сурен ладонями прижал его.

Им подали шланги. Юсиф сжал шланг подмышкой, полез дальше. За ним карабкался Сурен.

Брезентовые рукава набухали, тяжелели в руках. Струи воды вырвались из стволов, столкнулись с огнем.

Вышка была спасена.

...В недостроенной, без кровли казарме отдыхали девчата из общежития, слесари с водокачки, тартальщики. Тут было сыро и зябко, но не так дуло.

— Бессовестная! Дал бы ей аллах чесотку и вырвал бы ногти, — услышала Фатьма придушенный шепот тартальщиков. Ругали ее за то, что она ходит без чадры, разговаривает с мужчинами.

Фатьма вздохнула: долго ли ее еще будут сверлить глазами фанатики?!

Торгаш, пытавшийся ее похитить, теперь действовал по-другому, подкарауливал ее на углу:

— Иди за меня замуж. Кябин составим, по-хорошему...

Фатьма не отвечала, а он уговаривал ее:

— Запачкают тебя грязью, — жизни не будет тебе. Видела, как чайки побеждают над морем ястреба? Поднимаются над ним тучей, обдают нечистотами, и он со слипшимися крыльями падает вниз. Грязью можно одолеть любого.

Забил колокол.

— Комсомольцы, кого ноги держат, вставай! — раздалось в дверях.

Они бежали к высокой, покосившейся вышке, стоявшей над самой кручей, — Фатьма, ее подруги по общежитию. Огненный жгут, переполнив траншею, стянул скважину, взвился по дощатому покрытию вышки.

Фатьма схватила багор, чтобы снять горевшие доски.

— Берегись! — крикнули ей. Но было поздно. От вышки с грохотом оторвалась стойка, сбила Фатьму с ног. Край стойки загорелся, и огонь подбирался к легонькому платью девушки, лежавшей на подмостках. Нависли подрубленные доски.

— Пропадет! — завопила масленщица.

Денисыч отпихнул ее, бросился к вышке. Он поднял Фатьму, успел сбить огонь с подола ее платья.

— Скорее! — торопили его дружинники, спешившие навстречу. Они видели, что доски раскачивались над его головой, а укосины вышки уже лизали пламя. Прыгать с мостков, держа Фатьму на руках, было опасно. Денисыч передал ее рабочим, и в этот момент рухнувший упор потянул за собой доски.

Фатьму несли в лощину, к шоссе. Там стояли автомобили, оттуда легче было добраться до больницы.

...Из-за вышек показался Ага Салим. Он увидел Фатьму, которую несли на руках, и весь сжался. Подошел к незнакомым людям, тихо сказал: «Я знал, что это случится, Фатьма, поэтому я здесь...»

— Она жива. Нужно везти ее в больницу, — сказали ему.

Он вытянул руки, бережно прислонил ее к своей груди и понес вниз мелкими осторожными шагами.

— Ты не щадила себя, дочка... Ты любила людей и мало любила себя, — шевелил он губами.

Чуть приподнялись брови Фатьмы, слегка вздрогнули губы. Хотела ли она успокоить отца, сказать, что

жива, или ее мучила нестерпимая боль? В забытьи она повторяла имя Юсифа.

...Ага Салим уже слышал о том, что Аждар арестован, как поджигатель. «На то воля аллаха!» — сказал он было привычное, и вдруг ужаснулся тому, что сказал. Волею бога от прямого дерева отходят кривые ветви, но почему от человека, который всю жизнь шел дорогой праведника, должны идти дурные побеги? Его «сон бешик» больше не вернется домой, больше никогда Ага Салим не увидит его своими стареющими глазами! Хотелось упасть на землю и крикнуть, чтобы с криком ушла боль. Но вокруг ревело пламя, гудел ветер, беда стучала в окна к людям. Сокрушаться ли ему о сыне, или поражаться злодеянию, которое тот совершил?!

Пришло горе, — от него не скроешься. Одна беда влечет за собой другую.

— Фатьма! — Он наклонил над нею лицо. — Какую жертву я должен принести?

Это было всего три-четыре часа назад... Она уходила из селения на пожар, он не успел остановить ее. Ему стало жутко. Он посмотрел туда, где огонь занимал полнеба и ему показалось, что Фатьма с распущенными косами и глазами, полными ужаса, выглядывает из разрывов пламени.

Как он нашел ее? Он искал дочь среди полыхающих вышек, у тлеющих развалин насосных будок, возле извивающихся в корчах огня чанов, вблизи от огненных ручьев нефти. Ее не было ни в низине у земляных стен, вставших на пути огня, ни у потрепанной огнем, но оставшейся целой буровой Кудрата. Он не находил ее на привалах, где отдыхали дружинники, не узнавал среди тех, кто стонал на мокром брезенте полевого лазарета.

Чем дольше длились эти поиски, тем сильнее убеждал он себя в том, что с Фатьмой случилась беда.

...Люди, встречавшиеся на пути, расступались перед ним, несущим на руках свою дочь. Он ушел уже далеко от горящей вышки, но двое парней, неотступно следуя за ним, пытались ему помочь.

— Дейме*! — говорил им Ага Салим.

Он не думал, будет или не будет жить Фатьма. Страшился представить себе ее мертвой и боялся верить в то, что ее могут спасти.

* Дейме — не трогайте.

— Все мы во власти аллаха! — внушал он себе. И сам же восстал против этого: зачем богу нужно, чтобы горели промыслы, неужели бог нашел в Аждаре исполнителя своей воли?! Что-то совсем другое, а не внушенное ей аллахом владело Фатьмой, когда она, не думая о своей жизни, бросилась в огонь спасать вышку. Она не обманула Ага Салима с качалками, большевики и она оказались правы. В ее лучистых глазах больше веры, чем в гноящихся глазах муллы, хотя ее вера обращена не к аллаху. Очень много сил дает она ей, эта вера! Может, он, Ага Салим, всю свою жизнь был не праведником, а блуждал в потемках, может, истинная правда открыта не ему, а Фатьме и людям, с которыми она дружна?!

...Рассвет вставал над Сураханами. Таяли сумерки, светлело небо. Даже зарево пожара бледнело, и дым уже не казался таким густым, как ночью. В прогалинах дыма виднелось серо-голубое небо, далеко над морем розовела заря. Ветер стихал, и капельки росы, на которые оседала сажа, лежали на мостках и площадках скважин.

У развилки дорог толпились люди. Это были те, кто не отважился пойти на промыслы, и с безопасного места глазели на пожар, жадно ловя сплетни и слухи. Десятки пар любопытных глаз уставились на Ага Салима, несущего Фатьму.

— Совсем еще молодая...

— Господи, и пожить-то не успела...

— Понесла ее туда нелегкая! — зашептались зеваки.

Лида, узнав Фатьму, невольно пригнулась, словно та могла ее видеть. Потом стала убеждать себя, что нужно подойти к соседу Ага Салиму и выразить ему сочувствие. Подумав, отказалась от этого. Проводила глазами Ага Салима с Фатьмой на руках, и парней, в скорбном молчании сопровождавших его, и поймала себя на мысли, что завидует Фатьме, тяжело раненной или убитой, но завидует ей и чувствует себя теперь еще более жалкой и никчемной.

* * *

Расстаться со шляпой было трудно. Фетровая, с тонкой шелковой ленточкой у широких полей и золотистым оттиском короны на атласной подкладке, она служила Сумбату Геворковичу семь лет. Он не любил менять ни

вещи, ни убеждения. Однако в жизни приходилось менять и то, и другое. Взгляды стареют, как и одежда, нуждаются в замене, подобно штанам и рубахе, если ты хочешь в любых условиях выглядеть прилично.

На пожаре шляпа была неуместна, и он выбросил ее в яму. Прислонился спиною к резервуару, задел его боком, и на пиджаке, брюках выступили мазутные полосы. Подобрал с земли потухшую головешку, зола осела на руках. Он медленно провел ими по вспотевшему лицу, оставляя на нем пепельно-черные подтеки. «Еще бы посыпать голову пеплом, — усмехнувшись, сказал он себе. — Впрочем, в наши дни это — не в моде». Этот маскарад был ему неприятен, но Сумбат Геворкович давно усвоил немудреную истину: приятно то, что выгодно.

Уже темнело, вокруг не было ни души, и он не опасался, что его застанут за этим занятием. Он набрался терпения, выждал, — теперь настала пора действовать. С начала пожара прошли почти сутки, и Татевосов мог подвести первые итоги. Пожар локализован, основные очаги огня давно подавлены, большинство скважин остались целыми. Норд идет на убыль. Рабочие выиграли эту битву, несмотря на то, что все было против них. Они убедительно доказали, что он сделал правильный выбор.

Сумбат Геворкович устал за эту чудовищно длинную ночь. До рассвета бродил он по узеньким кривым улочкам поселка, держался в стороне от дорог, опасаясь нежеланных встреч, возвращался на промысел, расположенный вдали от пожара. Днем отсиживался в какой-то тесной, полуразвалившейся будке. Он не боялся, что Алибеков воспользуется случаем и очернит его в чьих-то глазах. Это было не в природе его бывшего друга. Да и поступи Алибеков так, Сумбат Геворкович сумел бы объяснить свое поведение. Устал, зашел в укрытие передохнуть...

Теперь пламя, еще недавно бушевавшее вволю, напоминает загнанного в клетку зверя, — оно не опасно. «Время», — сказал себе Татевосов. — Он окажется среди рабочих, разыщет Серебровского, Кирова. Словно бы невзначай заговорит с ними. У него будет свежий глаз, возможно, он даст ценный совет. В решающие минуты он мыслит особенно смело и плодотворно. А в скором

будущем он проанализирует ход событий, подробно опишет средства и тактику, использованные в Сураханах, и его статья, опубликованная в московской печати, наделает шуму.

Прикрывая рукой глаза, Сумбат Геворкович искал управляющего «Азнефти» среди дружинников и курсантов и старался все же держаться подальше от гудящего пламени. Наконец, он нашел его вблизи от горящей скважины.

— Пока мы не подавим факел, работу на промысле не восстановить, — говорил Серебровский командиру саперов.

— Может, пламя само спадет? Истощится пласт? — спрашивал тот.

— В Калифорнии был случай, — буровая полгода горела.

— Калифорния, Америка... Саперы... — Татевосов вспомнил, что он читал в американском журнале о любопытной, но малоудачной попытке погасить горящий фонтан взрывом. Правда, там высота пылающего столба была очень большая, а нитроглицерина заложили мало. Здесь факел относительно мал, взрыв отнимет у воздуха кислород, огонь потухнет. Вышки над этой скважиной нет, она расположена поодаль от остальных скважин, и взрыв им не повредит.

Татевосов увлекся своей идеей, придвинулся к рабочим-дружинникам, создавшим водяной зонт вокруг фонтана, взвесил, где и как было бы лучше поместить заряды, откуда надвинуть на устье скважины массивную задвижку.

Брызги воды коснулись его волос, лица; кожа на тыльной стороне рук покраснела, и никто бы теперь не усомнился в том, где был Сумбат Геворкович в эти тяжелые ночь и день.

— Разрешите высказать мои соображения?! — спросил он Серебровского.

— Говорите...

Выслушав Татевосова, Серебровский улыбнулся: «По-моему, дельно», и посмотрел на командира саперов.

— Исполнить будет нелегко, но попытаться стоит, — после некоторого раздумья ответил командир.

— Аслан Алиевич! — Серебровский окликнул Алибекова. — Послушайте, что предлагает Татевосов!

Алибеков взглянул на Сумбата Геворковича, тот отвел глаза. Татевосов уловил в этом взгляде и откровенную насмешку, и презренье, и, он готов был поклясться, какую-то неловкость. Аслану Алиевичу было стыдно за человека, которого он знал почти четверть века, которому поверял свои немудреные тайны в далекие студенческие годы, с которым делился своими замыслами, став инженером. Но к этому чувству примешивалось и нечто похожее на восхищение: он поражался изворотливости ума Татевосова, дерзости его мысли.

ГЛАВА XXIV

Сторож посапывал, свернувшись калачом на лежанке. Видавший всякое, больничный сторож был глух к чужому горю.

— Завтра узнаешь... — не поднимая головы, сказал он Юсифу, когда тот снова постучал в окно.

Юсиф обошел больницу, осмотрел высокие железные ворота, запертые изнутри, вернулся к обшарпанной, с квадратным окошком калитке. Лишь три окна на втором этаже больницы были ярко освещены в этот поздний час. Там — операционная, понял Юсиф. Может быть, люди в белом сейчас склонились над Фатьмой, и ее жизнь — в их руках. Или операция давно окончена? Жива ли она? Что с Павлом?

Юсиф уже знал правду о нем. Чекисты нашли Павла, раненого, в домике Московского поселка. Павел был разведчиком, он жизни не щадил, чтобы помешать врагу. Кудрату это было известно... Павел именем Коммуны заклинал Юсифа не шуметь в храме «Атешга», затеял драку, чтобы спасти ему жизнь. Он в долгу, в большом долгу у Павла!

От одного конца больницы до другого — сто пятьдесят шагов. Он вслух называл цифры, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей.

Юсиф подумал, что больница похожа на тюрьму, в которой сидел отец: такое же темное и мрачное здание с наглухо закрытыми окнами; стекла, наполовину покрашенные белилами, и объявление над окошечком о приеме передач. Он возненавидел сторожа не меньше,

чем надзирателя с красными тупыми глазами, отгонявшего его и мать от тюрьмы.

Облака над Сураханами были еще алые, но временами пламя, отраженное небом, стихало. Денисыч, отпустив его с буровой, сказал: «У тебя все из рук валится, пойди узнай, как там в больнице...»

Свет погас в трех соседних окнах. У Юсифа упало сердце: кончили операцию. Он ожидал, зажгутся ли опять эти окна, — они оставались черными и пустыми. За калиткой храпел сторож, где-то тявкнула и умолкла собака. И больше — никаких звуков. Сторож заерзал, повернулся на другой бок, перестал храпеть. Тишина. Трепетная, пугающая тишина...

Заскрипели ворота. Юсиф бросился к ним, увидел клячу, еле тянувшую дроги. Под серым солдатским одеялом угадывались очертания человеческой фигуры. Он задержал возчика.

— Покойницу везу, — сказал тот.

— Молодая? — Юсиф ощутил, как кровь прилила к лицу.

— Может, молодая, может, нет, — возчик лениво приподнял край одеяла: гляди!

Усилием воли Юсиф заставил себя поднять глаза. Он увидел только волосы — светлые, коротко остриженные волосы, и посторонился, пропуская дроги. Кто это ему говорил, что легче сразу узнать о несчастье, чем ждать его?

Он беспокоится о Фатьме, а как же с Павлом... Павел крепче, но у него и рана опаснее. Хоть бы они были живы, Павел, Фатьма... Хоть бы... — повторяет про себя Юсиф, как заклинание. Фатьма... Павел... Мысль раздваивается, тускнеет.

Чьи-то шаги нарушили тишину ночи. Низенький, нахохлившийся человек шел по тротуару. Словно подбитая галка, подумал о нем Юсиф. Человек был горбат. Дотронуться до горба — к счастью, вспомнил Юсиф старое поверье. Горбун, озираясь, прошел мимо. Юсиф нагнал его, тот шарахнулся, приняв его за пьяного.

В операционной снова вспыхнул свет. Юсиф так долго смотрел на эти окна, что заслезились глаза. Лишь в какое-то мгновенье он заметил неясные тени за столом. Терпение его иссякло. Он подошел к ненавистной калитке, стал бить по ней кулаками. Звякнул ключ в зам-

ке, врач снял с вешалки халат, накинул на плечи Юсифа.

— Случилось несчастье... — убеждал себя Юсиф. Поэтому врач не выговаривал ему за шум, поднятый у дверей, повел его с собой. Юсиф шел следом за хирургом по широкому полутемному коридору и удары шагов громко отдавались в ушах. Он боялся спросить о Павле и Фатьме, был благодарен врачу за молчание. Изогнутые фикусы и пальмы, стоявшие в кадках посреди коридора, выглядели здесь нелепо, — как могли они расти в этом затхлом, пропитанном запахами карболки воздухе?

— Садитесь! — врач показал ему глазами на выкрашенный в белый цвет диванчик. И, поймав немой вопрос Юсифа, добавил: «Операцию перенес, думаю, выживет».

— А как она? — тихо спросил Юсиф.

— Фатьма? — врач нахмурился.

Сколько же ему ждать? Час? Два? Три? В какой из комнат, сообщающихся с коридором, Фатьма? В какой Павел? Почему хирург усадил его именно на эту скамью, такую же, как все другие, выстроившиеся вдоль стен? Или она ближе к тем палатам, в которых поместили Павла и Фатьму. Эти диваны-скамьи хороши для свиданий с ходячими больными, но ждать ночью, сидя на жестких, пахнущих масляной краской и дезинфекцией, досках, невозможно.

Напротив него, в комнате с низкими застекленными шкафчиками, была дежурная сестра. Она то куда-то уходила, то возвращалась. Над дверью висели звонок и лампочка. У звонка был низкий дребезжащий звук, он звонил часто, и, казалось, охрип от натуги. Стоило забить его молоточку, как зажигалась темножелтая, засиженная мухами лампа.

Юсиф знал, что дежурная сестра поведет его, когда будет можно, к Фатьме и Павлу.

Светало, и он вдруг обнаружил, что коридор совсем не такой длинный, каким выглядел ночью. Прижавшись сине-фиолетовыми колокольчиками к стеклу, встречали восход солнца гиацинты, заразительно веселый смех слышался за стеной. Изменилась походка сестры, она засеменила, выбивая каблуками дробь по цементным плиткам коридора. В левой руке она несла гра-

дусник, в правой — шахматную доску. От Юсифа не укрылось, что перед тем, как заглянуть в палату, из которой доносились мужские голоса, сестра спрятала градусник в карман и поправила завитки волос.

Несколько раз Юсиф заходил к ней в комнату, останавливал ее в коридоре, но она заученным тоном твердила: «Ничего нового».

Няни разносили по палатам кувшины и тазы с водой для умывания и это подействовало на Юсифа успокаивающе. Потом они же шли по коридору, толкая впереди себя тележки, на которых стояли горки одинаковых тарелок, а из огромных серых кастрюль поднимался белесый клейкий пар.

— Молодой человек! — Сестра окликнула его. — Ступайте в четвертую палату. Посидите немного, — он еще очень слаб. — Поправив на Юсифе халат, который был ему мал, сказала: «От вас пахнет горелым, как от девушки из Сураханов».

— Мы оба были на пожаре, — пояснил Юсиф, и спохватился, — он говорит ненужное, лишнее, и не решается спросить о Фатьме.

— Сотрясение мозга, перелом ключицы. Ей досталось, — ответила ему сестра.

— Она выживет?

— Сделано все возможное.

С виноватым видом, какой бывает у здоровых при встрече с тяжело больными, входил Юсиф в палату. В комнате было три койки, но он сразу увидел, где лежит Павел. Его поместили близ окна, и свет, падавший сквозь узорчатую ткань листьев, оставлял на одеяле тонкий кружевной рисунок. Рядом с Павлом лежала большая, без единой морщинки и складки подушка, от которой тянулась резиновая трубка.

— Кислородная... Сказали, когда воздуха будет нехватать, чтобы я от нее дышал. — Павел дотронулся кончиками пальцев до этой аккуратной тугой подушки. Он говорил не своим обычным, а каким-то возбужденным прерывистым голосом, выдыхая каждый слог. Одеяло на его груди быстро поднималось и опускалось.

— Как себя чувствуешь? — спросил Юсиф.

— Да, так... Бывает хуже.

— А Комова и Аждара поймали, мы с Суреном видели Комова. Эсер шел, как затравленный волк.

Юсиф подумал, что вот он сидит у Павла, но того, что тяготило его эти два дня, еще не сказал:

— Наделал я глупостей. Ты меня извини...

— Пустое. Ты же не знал.

— Как я мог усомниться в тебе?! Сам не пойму...

— Что было, то прошло. Вылечусь, в Сураханы вернусь. На компрессорную пойду, или к вам на буровую.

— На буровую иди... Кудрат тебе все моторы и насосы поручит! — просиял Юсиф. — Опять, как прежде, будем вместе.

— Пожар потушили? Это правда?

— Почти потушили. А было плохо, море огня было.

В дверях показалась сестра. Она несла пузырь со льдом, с которого стекали капли воды.

— Скорей поправляйся. — Сквозь одеяло Юсиф нащупал руку Павла, бережно пожал ее.

Скамейка в коридоре, на которой ночью сидел Юсиф, была занята. Женщина в мятом байковом халате, прижавшись к плечу умиленного мужчины, гладила русоволосого мальчугана.

Стараясь не видеть, что делается за прикрытыми дверьми палат, Юсиф ходил по коридору. За вешалкой, в темном неуютном углу он заметил Ага Салима. Отец Фатьмы сидел на клеенчатом топчане, и, обхватив голову руками, раскачивался из стороны в сторону. Повернуть или остановиться? — Юсиф растерялся. Ага Салим знал, что это он вместе с Суреном схватил его сына, — захочет ли тартальщик говорить с ним.

Ага Салим поднял усталые, затуманенные горем глаза:

— Беда пришла в наш дом, сосед!

— Фатьма сильная, она не умрет... — сказал ему Юсиф.

— Ко всем идет весна, только ко мне — зима. За что это мне?

Сестра оборвала их разговор.

— Ей чуточку лучше, — сообщила она. — Кто из вас пойдет первым?

Ага Салим встал, беспомощно оглянулся по сторонам и боязливо побрел за сестрой.

Юсиф снова должен был ждать.

...Солнце стояло в зените, когда ему разрешили увидеть Фатьму. Он уже знал эту дверь, отделяющую Фатьму от него, Сураханов, от всего мира. Гладкую белую дверь с большой медной ручкой, похожей на вытянутое лицо длинноносого человека... В отличие от остальных дверей, она не имела номера и это пугало. Комната была слишком велика для одной койки, она была светлее и лучше проветривалась, чем другие, — и это тоже пугало.

Фатьма не шевельнулась, когда он вошел. Снежная шапка бинтов скрывала ее волосы, голова оставляла глубокую вмятину на подушке. Смуглая кожа лица посерела, подбородок и нос заострились. Губы были бескровные, вялые, но вот девушка улыбнулась ему, и он успокоил себя тем, что это — прежняя Фатьма.

— Я бы хотел взять всю твою боль. Чтобы тебе было легче. — Юсиф сидел молча, сдерживая дыхание. Робко дотронулся своей ладонью до ее лба, — он был сухой и теплый. За его спиной незаметно появилась сестра, стала считать пульс Фатьмы, ринулась за шприцем.

— Уходите! — резко сказала она Юсифу.

Звездное небо провожало его на всем пути от больницы до Сураханов. Огненное зарево исчезло, и звезды светили так же ярко, как прежде. Пожалуй, еще ярче. Какая-то звезда шпагой вспорола черный полог и распалась серебром, не долетев до земли. Юсиф успел назвать свое желание. Оно касалось Фатьмы, Павла, Сурена, его самого: «Чтоб мы всегда шли рядом, и верили друг другу!»

ГЛАВА XXV

Скорбная мелодия, вполголоса плачущий хор... Это была песня без слов. Кудрат забыл, что он в чужом городе, в чужой стране, музыка завладела им, перенесла в свой мир. Он пошел в филармонию за компанию с членами делегации, а теперь был благодарен им за концерт. Музыка навевала воспоминания, возвращала в родные места.

Застыла палочка в руке дирижера, он выжидающе повернулся к залу, отвешивая поклон, и волшебство кон-

2904—15

чилось. Нарядная публика вежливо аплодировала, дамы, сверкая брильянтами, выбирались из рядов, чтобы показать в антракте свои туалеты. А Кудрату хотелось остаться в зале.

Но его ждали у выхода в фойе.

— Плохие вести, — сказал Красин. — Из Москвы передали, что в Сураханах был пожар. Он локализован, и большая часть промыслов спасена, но убытки от огня значительные.

— Жертвы были?

— К счастью, пострадавших немного.

— А новые буровые не горели? Отчего был пожар?

— Я запросил Москву. Нам передадут подробности,— ответил Красин.

Нариманов, раньше Кудрата узнавший о пожаре, был подавлен известием. Кудрат нашел его у окна, в малоосвещенной части фойе.

— Может, вернемся в гостиницу? Нет настроения здесь оставаться, — сказал Кудрат.

— А завтра по городу раззвонят, что большевики в панике. Пожар — не случайность, все буржуазные газеты накануне конференции кричали, что нас ждут беды. — Нариманов взял Кудрата под руку, медленно направился с ним в зал.

— Мы с тобой здесь бойцы, и держаться должны, как на фронте, — Нариманов протянул ему телеграмму: «Красные аскеры Азербайджанской Красной Армии, охраняющие кровь советских республик — нефть — на общем собрании... постановили зачислить вас почетным красным аскером этой армии и полагать в служебной командировке в Генуе».

Во втором отделении оркестр играл вальсы, знаменитый тенор пел неаполитанские песни, но музыка больше не властвовала над Кудратом. Он беспокоился за сына, за многих близких ему людей, с тревогой думал о своей буровой. Что, если она сгорела? Сколько пропадет труда! Сколько надежд угаснет! Вместо того, чтобы быть сейчас в своей артели, он сидит на концерте, устроенном в честь участников конференции, а завтра снова будет томиться в большом зале роскошного дворца и, сохраняя спокойствие, выслушивать наглые притязания капиталистов на советскую нефть. Куда проще было идти против них со штыком наперевес, — тогда не

требовалось сдерживать свои чувства... Уехать домой невозможно, — он солдат партии, и ее задание — для него закон. Хоть бы уж скорее пришли подробные сведения из Москвы...

В этот вечер телеграмму о сураханских событиях получил и полковник Бойль. Он ожидал ее уже двое суток, поэтому он так торопил капитана Джорджа Хилла с расшифровкой. Однако, когда Бойль прочел текст депеши, лицо у него искривилось. Санитарный врач бакинской таможни сообщал, что операция, в основном, сорвана, почти вся агентура потеряна, а пожар в Сураханах не дал того эффекта, на который они рассчитывали. Ряд богатых скважин, правда, выведен из строя, но большевикам удалось отстоять нефтяные амбары и, увы, новые буровые. В конце телеграммы врач сообщал, что боится разоблачения и попытается в ближайшие дни уйти в Персию.

— Что вы на это скажете? — Бойль в раздражении смял шифровку.

— Пасхальный сюрприз, — спокойно ответил Хилл.— А, вообще, нужно довольствоваться и малым. Пожар все-таки был, они потерпели немалый урон, и, бесспорно, ослабли.

— Вы это серьезно?

— Вполне. Мы добивались выгодных концессий, — большевики станут уступчивее.

— Будем надеяться... — Бойль искал зацепку, чтобы успокоить себя. Ему предстоял неприятный телефонный разговор с Детердингом. Этот богатый выскочка еще захочет сорвать на нем свой гнев! Но самостоятельного решения в этих сложных условиях полковник принять не мог; в глубине души он, кроме того, сознавал, что Детердинг лучше оценит обстановку и сумеет навязать свое мнение британской делегации.

Телефонный звонок раздался до того, как Бойль заказал разговор. Зычный голос Детердинга рокотал в трубке:

— О пожаре не шумите. Постарайтесь установить контакт с американцами, совместно с ними нажмите на русских. «Дувр» мне нравится, поспешите с ним. Все!

Бойль бросил быстрый взгляд на Хилла: тот, выходит, успел за его спиной обо всем информировать главу

концерна. Хилл не отвел глаза, лицо его было непроницаемо.

— Что сказал сэр Генри? — спросил он.

— Представьте, Детердинг уже знает о том, что произошло в Баку. Хочет, чтобы мы договорились с Рокфеллером и усилили давление на русских. Но это не исключает ранее задуманного.

— Весьма разумно, — сказал Хилл, пропуская мимо ушей замечание о странной осведомленности Детердинга.

Бойль, в свою очередь, вынужден был отдать должное Детердингу: сначала сделать «Стандарт-ойл» своим союзником, а затем, оставаясь в стороне, выключить его из игры, — это блестяще.

...Генерал Гасуэн, к которому звонил Бойль, сказал, что он и личный секретарь Рокфеллера ждут его на загородной вилле.

— Нам лучше встретиться в отеле «Генуя», в центре города, — ответил Бойль.

— Зачем вам нейтральная территория? Соглашайтесь, — шепнул полковнику Хилл.

Вилла, к которой они подъехали, была погружена во тьму. За высокой фигурной решеткой чернел сад, где-то недалеко шумело море. Их словно и не ждали.

— Они слишком дурно воспитаны, — сказал полковник.

— Утешьте себя тем, что последнее слово — за нами. — Хилл сжал автомобильный рожок, и, спустя несколько минут, ворота особняка распахнулись. Генерал Гасуэн небрежно извинился за то, что он и его коллега не успели, как следует, подготовиться к встрече гостей и пригласил их на летнюю веранду, — он любит свежий воздух. Когда они уселись в соломенные дачные кресла, на веранду вышел секретарь Рокфеллера, — угловатый сухой человечек, с острым лисьим лицом. Позади него, улыбаясь, стоял Фрэнк Стоун.

— Как будто, здесь все знакомы, — сказал Гасуэн.

— Приступим к делу, — кивнул головой секретарь Рокфеллера. — Что привело сюда наших партнеров?

— Русская нефть, — ответил Бойль.

...В полночь полковник и Хилл покидали виллу.

— Ваше мнение, капитан? — спросил Бойль.

— Переговоры прошли в обстановке взаимопонимания и дружбы, — усмехнулся Хилл.

— Конкретнее!

— Думаю, они не нарушат джентльменское соглашение.

— Важнее, чтобы мы первыми нарушили его, — сказал полковник. Он обернулся: на веранде удалявшейся виллы свет еще не был погашен. Если бы Бойль услышал, о чем там говорят, то удивился бы, до чего мысли людей могут иногда совпадать.

— Как только русские станут уступчивее, мы вышвырнем англичан за борт, — цедил сквозь зубы секретарь Рокфеллера.

— У меня есть идея... — Стоун спешил поправить свою пошатнувшуюся репутацию и был рад досадить чванливому Бойлю.

— Какая-нибудь чушь... — с кислой миной сказал секретарь Рокфеллера. — Ваши идеи стоили нам немалых денег.

— Пустить слух о банкротстве «Шелла» и попытке самоубийства Детердинга. Выпустить на рынок фальшивые русские акции, объявить, что их реализуют англичане...

— И красные отшатнутся от «Шелла», потянутся к нам, — вставил Гасуэн.

— Это заманчиво... — согласился секретарь Рокфеллера.

...После пленарных заседаний во дворцах Сан-Джиорджио и Палаццо-Реале руководители советской делегации были приглашены на виллу Альберти.

— Неофициальное свидание. Возможно, что оно сдвинет переговоры с мертвой точки, — сказали им.

Во время этих встреч был затронут и нефтяной вопрос.

— Вы получите кредиты на восстановление своего хозяйства. Наши фирмы выделят промышленное оборудование, — говорили англичане.

— Кредиты и товары даст и Америка, — обещал американский посол.

И вновь настаивали на возвращении промыслов бывшим владельцам. В противном случае, — грозили возобновлением блокады.

Советские делегаты терпеливо говорили о своей готовности вести переговоры о концессиях на взаимно выгодной основе.

— А вы вернете собственность наших граждан? — повторяли англичане и французы.

— Или дадите денежную компенсацию? — вопрошали бельгийцы.

— У нас принят закон о национализации... — объяснил Чичерин.

Переговоры зашли в тупик.

Ллойд-Джордж известил Чичерина, что хотел бы приватно встретиться с ним. На загородную дачу к английскому премьеру поехали Чичерин, Литвинов и Красин.

— Россия измучена, разорена, и мы желаем ей помочь. Страна забудет о голоде, холоде, нужде. Вы вернетесь в лоно европейских народов, встанете на путь блага и процветания, — сказал им Ллойд-Джордж.

— А что потребуется от России? — задал вопрос Чичерин.

— Разумеется, уплата старых долгов; возвращение предприятий и банков владельцам — подданным иностранных государств.

— Это исключается.

— Неужели вы всерьез думаете, что можно не платить долгов?! — Ллойд-Джордж пожал плечами. — Я понимаю, — отсрочка, льготы, отказ от процентов... Но тот, кто аннулирует долги, — банкрот. Несостоятельные должники лишаются доверия, их изолируют от общества. Как же вы стремитесь избавиться от изоляции, сдавать концессии и торговать с цивилизованным миром, идя против течения?

— Мы пошли против течения, совершив революцию. Прежний строй с его законами, традициями и договорами канул в Лету. Царизм был чужд и враждебен народу, и трудовым людям надоело носить его ярмо. Так что народные массы России относят царские долги к отошедшей в прошлое, старой исторической эпохе.

— И эти массы надеются, что им не придется платить? — с деланным изумлением засмеялся Ллойд-Джордж.

— У вас к нам — свои претензии, а советский народ выдвинул контрпретензии, — заметил Красин.

— Я знаком с ними и, простите, они абсурдны.

— Концессии, развитие торговли, обширный российский рынок, — разве этого мало?! — всердцах сказал Чичерин.

— Если вы с этим прибыли в Геную, можно было и вовсе не приезжать, — разочарованно протянул Ллойд-Джордж.

Прощаясь с членами советской делегации, он все же выразил надежду, что они еще раз взвесят его предложения.

— Я буду ждать ваш ответ до 20 апреля, — сказал он.

На другой день Чичерин собрал у себя всех членов делегации. В числе экспертов был приглашен и Кудрат. Георгий Васильевич информировал о встрече с Ллойд-Джорджем:

— У меня, у Леонида Борисовича и Максима Максимовича сложилось впечатление, что при нынешних позициях сторон сдвига в переговорах не будет. Чтобы достигнуть прогресса, нужно идти на уступки.

— Начнем с того, что заложим наши фраки в счет погашения долгов, — бросил Рудзутак.

— Мы согласимся на уступки лишь в обмен на ликвидацию царских долгов и долгов Керенского и Родзянко, — продолжал Чичерин. — Выдвинем непременное условие: оказание широкой финансовой помощи стране.

—И что же предоставим взамен? Только концессии? — спросил Нариманов.

— Очевидно, придется дать экс-собственникам — иностранцам ограниченное право пользования их предприятиями. Подчеркиваю, ограниченное. А там, где это невозможно, выплатим вознаграждение. В рассрочку, с учетом уже полученных владельцами прибылей.

— Но это же добровольно лезть в кабалу! — воскликнул Рудзутак.

— Смириться с грабежом?! — поморщил лоб Воровский.

— Не кабала и грабеж, а сделка. Конечно, не от хорошей жизни. Обстоятельства нас вынуждают. Леонид Борисович лучше других осведомлен об экономическом положении страны, он подтвердит это.

— Своими силами нам будет немыслимо трудно встать на ноги. Обречем себя на долгое прозябание и отсталость, — сказал Красин.

— У вас и у Георгия Васильевича интеллигентский скепсис к пролетариату, вы не верите в его могущество, — покачал головой Рудзутак.

— Сумели же бакинцы сорвать заговор буржуазии и эсеров, спасли от страшного пожара промыслы. Все нефтяники были на высоте, — поддержал его Нариманов.

— Я — за мужество, но против шапкозакидательства, — мягко возразил Красин. — Надо трезво смотреть на вещи.

— Ну и ну, Ллойд-Джордж охмурил таких искушенных дипломатов, как Леонид Борисович и Георгий Васильевич. А где ваша большевистская принципиальность?! — Обычно душевный и тонкий Ян Эрнестович был неузнаваем. За стеклами пенсне непримиримо поблескивали светлые сухие глаза, синяя жилка гневно пульсировала на лбу.

— Георгий Васильевич и я отнюдь не так доверчивы и наивны, как полагает Ян Эрнестович. Есть мудрая пословица: за каждым спуском свой подъем. Возьмите Брестский мир... — ответил Красин.

— Тогда мы стояли перед выбором, — жизнь или смерть. Параллели не провести! — возразил Рудзутак.

— Кредиты от европейских стран, широкая поставка товаров, нормальные взаимоотношения нам нужны, как воздух, — сказал Литвинов.

— Грош цена наградам за признание господства капитала!

— В какой-то мере я солидарен с Яном Эрнестовичем: с нами пытаются и заигрывать, и кокетничать, нас соблазняют заманчивыми перспективами, если мы примем условия буржуазии. Точь в точь, как в известной притче, где сатана обещал Иисусу превращение камней в хлебы и власть над царствами за поклон Иисуса сатане. — Чичерин задумчиво теребил цепочку от часов.— Но ведь мы отдавали себе отчет, что будем иметь дело не с ангелами-альтруистами. О бывших российских долгах капиталисты пусть забудут, но кое в чем и нам нужно поступиться.

— Хорошенькое «кое в чем», — вернуть им заводы и шахты! — вспыхнул Рудзутак.

Хотя мнения разделились, за Чичериным было большинство, и он двадцатого апреля дал Ллойд-Джорджу ответ.

— Вы совершили грубую ошибку и я немедленно сообщу об этом Владимиру Ильичу! — заявил Рудзутак.

Кудрат был всецело на стороне Рудзутака, он подумал, что у рабочих, даже самых сознательных, угас бы пыл от сознания того, что они трудятся на промыслах и заводах, частично принадлежащих капиталистам. Лучше ходить голыми и босыми, но работать для себя, чем ишачить на буржуев и получать от них подачки.

Не соглашаясь с Чичериным, Кудрат понимал, что и Георгий Васильевич действует искренне и честно, исходя из высоких и благородных побуждений.

Это — люди мыслящие, и, будучи преданными идее, они имели и общие, и свои, личные взгляды на лучшее ее осуществление. Тоскуя по Сураханам и артели, Кудрат в то же время был рад, что конференция позволила ему близко узнать людей, окружавших Ленина. Какие у него талантливые, умные, яркие соратники, — поражался Кудрат. — Ведь каждый из них — великий человек! Окружение — подстать вождю. А у бездарного, случайного руководителя, так уж бывает, и помощники, обычно, заурядные, серенькие, мелкие, так что, на их фоне даже он кажется величиной.

— Время! — напомнил Хиллу полковник, внимательно следивший за встречами в Альберти.

Хилл выбрал для налета на гостиницу день, когда итальянский король устраивал прием в честь участников конференции. Белогвардейцы были наняты Хиллом через подставных лиц, — они и не знали, в чьих интересах будут действовать. Драка, нарочно затеянная на улице, отвлекла карабинеров, охранявших вход в отель, и белогвардейцы легко проникли внутрь здания. На третьем этаже караул нес полицейский, подкупленный Хиллом: он должен был безропотно позволить связать себя.

Капитан наблюдал за разворотом событий из окна закрытого «Паккарда», стоявшего напротив гостиницы. Автомобиль американской марки был выбран им умыш-

ленно, чтобы скомпрометировать «Стандарт-ойл». Несколько служащих советской делегации, оставшиеся в номерах, не могли, по мнению Хилла, оказать серьезное сопротивление громилам. Да и спохватятся они слишком поздно... Хилл мысленно поднял бокал: «За успех «Дувра»!»

...Кудрат остался в номере. Он делал выписки из материалов об уроне, нанесенном промыслам и заводам Кавказа в результате интервенции. Цифр было много, за каждой из них вставали тяжелые, подчас трагические события, — он вспоминал друзей, которые не дожили до победы и думал, сколько еще жертв потребует борьба за построение нового мира. Сжал кулаки, представив, с каким скучающим видом будут завтра выслушивать эти цифры делегаты — англичане и французы.

Вторая телеграмма из Москвы несколько успокоила его: новые скважины, в том числе и та, которую бурила его артель, были спасены, работа на промыслах, пострадавших от огня, возобновляется.

В коридоре послышалась возня, и смолкла. Кто-то прокрался мимо двери и словно замер. Кудрат открыл дверь: никого. Но вот шаги раздались за стеной. Это насторожило Кудрата: вряд ли кто из советских делегатов успел вернуться с приема, а эксперты, оставшиеся в гостинице, жили в другом конце коридора. В полумраке холла Кудрат заметил, что диван отодвинут от стены. Он подошел поближе, увидел связанного полицейского, с тряпкой, торчащей из разинутого рта. Встревоженный, кинулся к соседнему номеру, нажал ручку двери, и отпрянул.

— Души его! — Трое бросились на Кудрата, пытаясь втянуть его в глубь комнаты. Они повалили его, но он вырвался, успел позвать на помощь, метнулся к лестничной клетке. Откуда-то выскочил заспанный, небритый мужчина в пижаме, схватился с налетчиками, и дал Кудрату возможность добежать до связанного полицейского, выстрелить из его револьвера. Внизу загремела затворами охрана, внезапно во всем отеле погас свет, и наемники Хилла побежали через запасной выход во двор.

Кудрат понял, почему ему показалось знакомым лицо одного из налетчиков — это был офицер-чеченец, который под Астраханью приказал расстрелять его и тата-

рина-коммуниста. Было ясно, налет — белогвардейский. Но кто посылал белогвардейцев сюда? Карабинеры зажгли карманные фонари, пошарили ими по комнате, — громилы не успели похитить документы.

Всю ночь Кудрату снился офицер-чеченец. То он видел его во фронтовом блиндаже, то в генуэзской гостинице. Он испытывал к этому человеку и ненависть, и жалость. Скорее, даже жалость. Ему показалось, что в глазах чеченца была не только злоба, но и растерянность, отчаяние. Горек хлеб на чужбине... Говорят же, что лучше умереть, чем навсегда потерять Родину.

Утром Кудрат столкнулся с еще одним знакомым — Лианозовым. Бывший владелец промыслов подвизался у англичан в качестве эксперта. Он сидел на краешке стула, таращил свои выгоревшие глаза и ежеминутно поправлял съезжающий узелок галстука. Какое у Лианозова лицо, — кожа, словно выстирана и наспех поглажена, со множеством заутюженных складок, — подумал Кудрат. Выступал Лианозов скорее в роли свидетеля, нежели эксперта: — Я со всей ответственностью заявляю, — гундосил он, — что какие бы то ни было претензии к союзным державам за разрушенную на Кавказе промышленность лишены всякой почвы. Оргия разрушения присуща большевистским бунтарям. Еще до войны революционеры толкали рабочих на поджог нефтяных вышек и амбаров.

Кудрата передернуло от этих слов, — он не дал Лианозову закончить:

— Господин эмигрант бесстыдно врет. Но у лжи — короткие ноги. Бывало, что провокаторы-меньшевики подстрекали отсталых тартальщиков поджигать вышки. Только делали они это за ваши деньги и по вашему приказу. Вы на все шли, чтобы иметь повод для расправы с бастующими! Говорю об этом, как свидетель, но у нас имеются и архивные документы, — сказал Кудрат.

Лианозов заморгал глазами: в первую минуту он не узнал Кудрата, тщательно выбритого, надевшего черный бостоновый костюм. Но этот голос он когда-то слышал... В Баку, на своем же сабунчинском промысле.

В перерыве между заседаниями Лианозов остановил Кудрата:

— Я обеднел, ты — разбогател.

— Разве вам плохо заплатили за акции? — Кудрат кивнул в сторону прогуливавшихся в фойе англичан.

— Часть бумаг я оставил себе. Когда вернусь, что будешь делать?

— А мы — хозяева навечно.

— Вернемся — выгонять не будем, вешать будем! — У Лианозова задергалась челюсть. Он повернулся, затем нагнал Кудрата, и уже другим, испитым голосом сказал: — Думаешь, мне мои промыслы жалко, заводы жалко? Чихать я на них хотел! Конюшни жалко, лошади у меня хорошие были...

Ответ из Москвы поверг Георгия Васильевича в смущение. Он был уверен, что Ленин отклонит протест Рудзутака и поддержит его, Чичерина. Но текст ленинской телеграммы, утвержденный политбюро ЦК, не оставлял сомнений: «Мы безусловно не согласны восстановить частную собственность заграничных капиталистов».

Снова побывав на вилле Альберти, Георгий Васильевич постарался смазать значение своего ответа. Благо, Ллойд-Джорджа не удовлетворяли и те уступки, на которые решилась советская делегация. Выйдя на террасу и любуясь морем, он полушутя назвал Чичерина «воплощенным духом смутьянства» и нашел преждевременным созыв Генуэзской конференции.

— Итак, ни мы, ни они не добились своих целей, — собрав делегатов, заключил Чичерин.

— В общем, да. Однако мы уходим из Генуи не с пустыми руками, — сказал Рудзутак. — Мир убедился, что новая Россия — это не вымысел, не абстракция, а государство, умеющее отстаивать свои интересы, готовое жить в дружбе со всеми. Мы завоевали симпатии общественности многих нейтральных стран, которая поняла, что Советы не явились в Геную, дабы взорвать Европу на воздух, а стремятся разоружиться вместе с остальными державами. А недруги почувствовали, что большевики отнюдь не стали ручными.

Красин больше других был расстроен срывом переговоров. Отредактировав справку, составленную Кудратом, он заметил: «печальные, удручающие цифры».

— Грабителей хватало, — англичане, турки, мусаватисты. Растаскивали нефть, разоряли промыслы, — сказал Кудрат.

— С углем, медью, железом еще хуже. Почти весь наш топливный флот затоплен или уведен в чужие порты.

— Выдюжим, Леонид Борисович. Клянусь, выдюжим и отстроимся!

— Я люблю романтиков, Кудрат, может, и сам немного романтик. Но в хозяйстве нужны реальный подход и факты. Три революции совершили мы, мечтая на развалинах и обломках старого мира построить новый. Но развалины — плохой фундамент, а из пламени боев далеко не все вышли очищенными от мерзостей и предрассудков былого. Верно, не хлебом единым жив человек. Но, чтобы он жил, становился лучше и верил, ему нужно дать пищу, одежду, кров. Если с концессиями сорвется, мы еще туже затянем пояса.

— Сами справимся с хозяйством!

— Но денег нет, техники тоже, нас постигла засуха. На что вы полагаетесь, Кудрат?

— На мужество и сознательность рабочих. Мои товарищи работают так же неутомимо и храбро, как воевали на фронте. Восстановим хозяйство и без концессий, без поблажек капиталу.

— Вашими бы устами мед пить. А впрочем... — Красин улыбнулся Кудрату глазами, тихонько пожал его руку.

После этого разговора получить от сына письмо было для Кудрата особенно приятно. Юсиф писал: «Хотел дать тебе телеграмму, — не приняли. А письму я сам открыл дорогу: опустил его в почтовый ящик. Цыган смеялся, говорил, что оно дойдет до Баладжар, и вернется. Но я обратный адрес нарочно не написал, чтобы не расстраиваться. Вдруг, ты все-таки получишь письмо... Вчера мы кончили бурить. Кончили! Совсем! Нефти — пятьдесят тысяч пудов в сутки — вот какой фонтан! Все мы искупались под ним, и очень жалели, что не было тебя. Денисыч сказал: «будем ротором другие скважины бурить, много таких фонтанов и почище этого Кудрат увидит». Мы были черные и мокрые, как черти, но с площадки не хотелось уходить, и мы, взявшись за руки, танцевали, а Алибеков нам хлопал. Павел тоже хлопал, ему еще нельзя танцевать, его эсеры сильно ранили. Он в нашу артель поступил, Фатьма лежит в больнице. После пожара... У нас тут такое было... В газетах

мы читаем, как вы с буржуями деретесь. Все ждут тебя с нетерпением, а я — больше всех».

Кудрат постучал к Нариманову, показал ему письмо.

— Подожди меня. Я о фонтане товарищам расскажу. — Лицо Нариманова просветлело.

Он вскоре вернулся, и сказал Кудрату, что Чичерин и Красин поздравляют его с победой на буровой.

— А Рудзутак на радостях сказал, что бакинский фонтан стоит больше, чем все фонтаны красноречия, которые обрушили на конференции Ллойд-Джордж, Барту и Факто.

— Хочу написать в Баку. Вдруг письмо дойдет? — сказал Кудрат.

— Вряд ли. Я посылал радиотелеграмму, спрашивал, как у нас с урожаем и саранчей, — ответа нет. — Нариманов осмотрел самодельный конверт Юсифа, покрытый множеством печатей, удивленно пожал плечами: сквозь сколько кордонов прошло это письмо из Баку, каким чудом прорвалось оно сюда?

Когда Кудрат ушел, Нариманов открыл в ванной комнате кран, подставил голову под струю холодной воды, растер мохнатым полотенцем. Вода смыла усталость. Ночью, оставаясь в комнате один, он записывал свои впечатления. Открыл книжку, перечел последние записи, беглые, еще не отредактированные. «Генуя с ее очаровательной природой так и располагает к миру: ее синее море, голубое небо с ярко светящимися звездами, лесистые горы с тропическими растениями, лимонные и апельсиновые рощи, аллеи чарующих роз и финиковых пальм, ее грандиозный туннель, свидетельствующие о труде — единственном, что облагораживает человека, — все это зовет к миру, все это как бы хором вторит: «Долой лицемерие! Конец старому миру, если он не ведет к миру человечество!»

Он подумал, что литератор порою берет в нем верх над политиком.

«...Я никогда не был дипломатом. Буржуазная дипломатия — это надувательство. Мерзость делает политику в мире капитала. Это действует на меня удручающе. С тяжелым чувством уеду я отсюда...»

В этой записи — уже только гнев, никаких литературных отступлений. На него повлияли грязные интриги

буржуазных делегатов, налет на гостиницу, грызня между «Шеллом» и «Стандарт-ойлом».

Этой ночью он мог подвести итоги конференции. Оставшиеся заседания будут носить формальный характер. Стороны к согласию не пришли, но советская страна показала свою силу и стойкость. Карандаш, бежавший по бумаге, едва поспевал за движением мысли. Нариманов писал: «Генуя» — это не только название итальянского города, в котором происходит конференция представителей государств. «Генуя» — это уже название одной из советских побед над капиталистическим и империалистическим Западом. «Генуя» — это название одного из поражений, которое потерпел буржуазный Запад в борьбе с советским Востоком. «Генуя» для капиталистов равносильна «Ватерлоо» для Наполеона. Как для Наполеона поражение под Ватерлоо означало необходимость окончательно признать победу противника и отказаться от дальнейшей борьбы с ним, — так и для западноевропейского капитализма «Генуя» означает необходимость сознаться, что Советы победили и что нужно пойти на мировую. Красная дипломатия дала им такой же отпор, какой дала им в свое время Красная Армия».

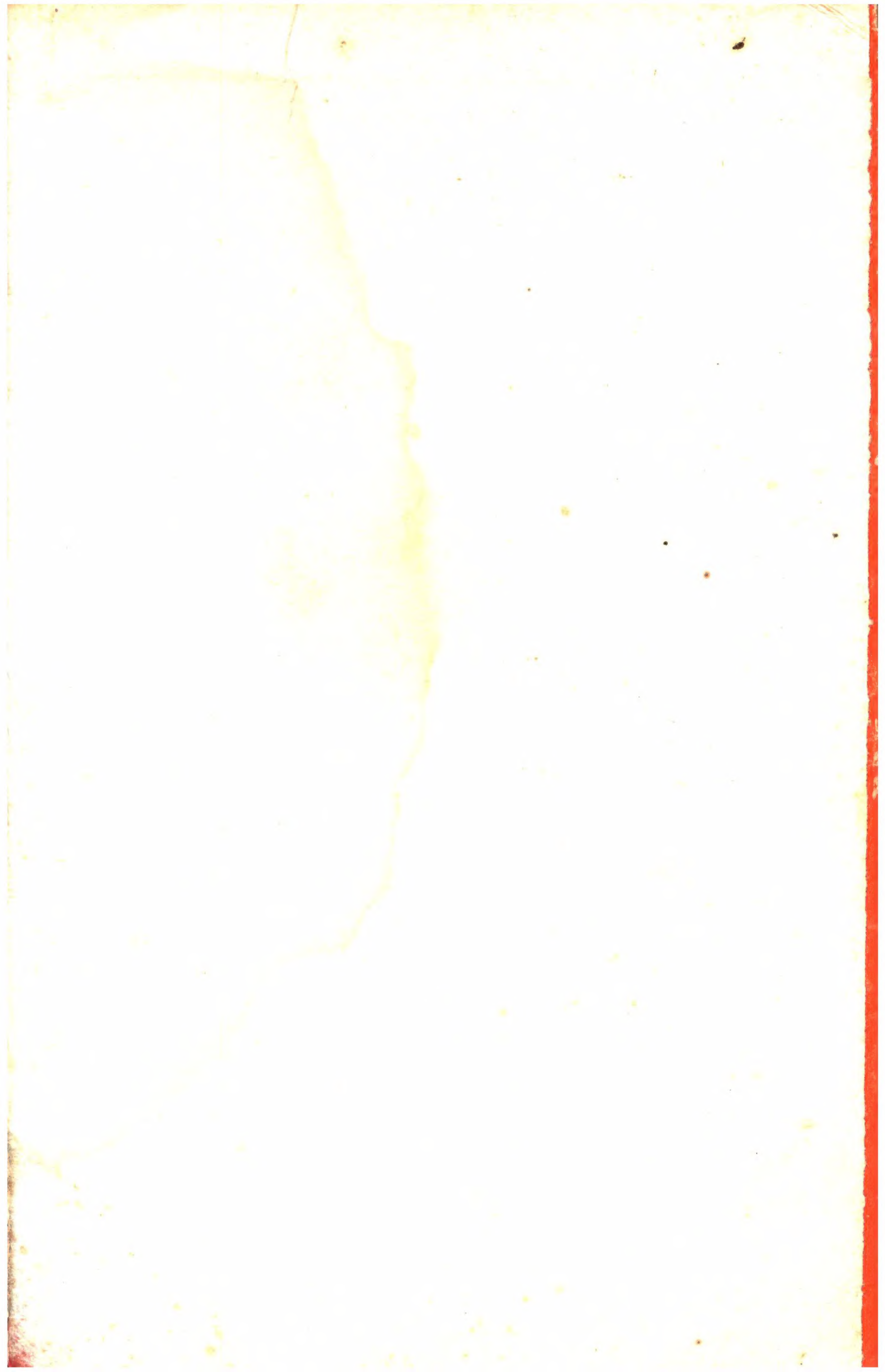
...Шестого мая Нариманов и Кудрат покинули Геную.

* * *

Артель перебралась на новую точку, когда из Москвы пришла телеграмма. Денисыч дал ее прочесть Павлу:

> «В ночь с 9 на 10 апреля враги рабочего класса попытались рядом поджогов уничтожить Сураханские нефтяные промыслы в Баку. Ознакомившись с фактами необычайного героизма и самоотверженности, проявленных рабочими и инженерами промыслов, локализовавших пожар в обстановке огромной опасности для жизни, от имени Советской России считаю своим долгом выразить благодарность рабочим и инженерам Сураханских нефтяных промыслов. Такие факты героизма лучше всего показывают, что, несмотря на все затруднения, несмотря на непрерывные заговоры эсеровско-белогвардейских врагов рабочей республики, Советская республика выйдет победителем из всех затруднений.
>
> *В. Ульянов (Ленин)».*

ОГЛАВЛЕНИЕ




60 коп.

Именем республики

Л. Полонский